

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ΕPISTEMOLOGY
&
ΦHILOSOPHY OF SCIENCE

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ и ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Т. 51 • № 1

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

МОСКВА
2017

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

2017. Том 51. Номер 1

Главный редактор: И.Т. Касавин

(Институт философии РАН, Москва, Россия)

Зам. главного редактора: И.А. Герасимова (Институт философии РАН, Москва, Россия), П.С. Куслий (Институт философии РАН, Москва, Россия)

Ответственный секретарь: Л.А. Тухватулина

(Институт философии РАН, Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.Ю. Антоновский (Институт философии РАН, Москва, Россия), В.И. Аршинов (Институт философии РАН, Москва, Россия), В.А. Бажанов (Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия), Н.И. Кузнецова (Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия), С.М. Левин (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия), Джоан Лич (Университет Куинсленда, Брисбен, Австралия), Дженнифер Лэки (Северо-Западный университет, Чикаго, США), Н.И. Мартишина (Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия), Л.А. Микешина (Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия), И.Д. Невважай (Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия), А.Л. Никифоров (Институт философии РАН, Москва, Россия), С.В. Пирожкова (Институт философии РАН, Москва, Россия), Ханс Позер (Берлинский технический университет, Берлин, Германия), В.Н. Порус (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия), С.Г. Секундант (Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, Одесса, Украина), В.П. Филатов (Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия), Стив Фуллер (Уорикский университет, Ковентри, Великобритания), Я.В. Шрамко (Криворожский государственный педагогический университет, Кривой Рог, Украина)

Редакционный совет:

В.С. Степин (Институт философии РАН, Москва, Россия),

П.П. Гайдено (Институт философии РАН, Москва, Россия),

А.А. Гусейнов (Институт философии РАН, Москва, Россия),

В.А. Лекторский (Институт философии РАН, Москва, Россия),

Ханс Ленк (Технологический институт Карлсруэ, Карлсруэ, Германия),

Том Рокмор (Университет Дюкейн, Питтсбург, США; Пекинский университет,

Пекин, Китай), Ром Харре (Джорджтаунский университет, Вашингтон, США)

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук

Периодичность: 4 раза в год. Выходит с 2004 г.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-57113 от 03 марта 2014 г.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (группа научных специальностей «09.00.00 – философские науки»); Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); Ulrich's Periodicals Directory; ERIN PLUS; Philosophy Documentation Center; Russian Science Citation Index (Web of Science)

Подписной индекс в каталоге Агентства «Роспечать» – 46318

Адрес редакции: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1. Институт философии РАН
Тел.: +7 (495) 697-95-76; e-mail: journal@iph.ras.ru; сайт: <http://journal.iph.ras.ru>

EPISTEMOLOGY & PHILOSOPHY OF SCIENCE

Quarterly peer-reviewed journal

2017. Volume 51. Number 1

Editor-in Chief: Ilya Kasavin (RAS Institute of Philosophy, Russia)

Editorial Assistants: Irina Gerasimova (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Petr Kusliy (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Liana Tukhvatulina (RAS Institute of Philosophy, Russia)

Editorial Board:

Alexander Antonovsky (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Vladimir Arshinov (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Valentin Bazhanov (Ulyanovsk State University, Russia),

Vladimir Filatov (Russian State University for Humanities, Russia),

Steve Fuller (University of Warwick, Great Britain),

Natalia Kuznetsova (Russian State University for Humanities, Russia),

Jennifer Lackey (Northwestern University, USA),

Joan Leach (Queensland University, Australia),

Sergei Levin (National Research University – Higher School of Economics, Russia),

Natalia Martishina (Siberian State Transport University, Russia),

Lyudmila Mikeshina (Moscow Pedagogical State University, Russia),

Igor Nevvazhay (Saratov State Law Academy, Russia),

Alexander Nikiforov (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Sofia Pirozhkova (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Vladimir Porus (National Research University – Higher School of Economics, Russia),

Hans Poser (Technical University of Berlin, Germany),

Sergei Sekundant (Odessa I.I.Mechnikov National University, Ukraine),

Yaroslav Shramko (Kryviy Rih State Pedagogical University, Ukraine)

Editorial Council:

Vyacheslav Stepin (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Piama Gaidenko (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Abdusalam Guseinov (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Rom Harré (Georgetown University, USA),

Vladislav Lektorsky (RAS Institute of Philosophy, Russia),

Hans Lenk (Karlsruhe Institute of Technology, Germany),

Tom Rockmore (Duquesne University, USA; Peking University, China)

Publisher: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

Frequency: 4 times per year. First issue: 2004

The journal is registered with the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Rosskomnadzor). The Mass Media Registration Certificate No. FS77-57113 on March 3, 2014

Abstracting and Indexing: the list of peer-reviewed scientific edition acknowledged by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation; Ulrich's Periodicals Directory; ERIH PLUS; Philosophy Documentation Center; Russian Science Citation Index (Web of Science)

Subscription index in the catalogue of *Rospechat* agency is 46318

Editorial address: 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 697-95-76; e-mail: journal@iph.ras.ru; Website: <http://journal.iph.ras.ru>

TABLE OF CONTENTS



EDITORIAL

- Ilya Kasavin*. Trading zones as a subject-matter of social philosophy of science.....8



PANEL DISCUSSION

- Lada Shipovalova*. Should we conceive science historically?.....18
- Natalia Kuznetsova*. Historical epistemology in search of symbolical status29
- Taras Varkhotov*. Contra relativism: historical epistemology in search of universals.....33
- Igor Dmitriev*. «It is logic, but not thinking» (N. Bohr)39
- Ekaterina Shashlova*. On the meaning of historical epistemology for contemporary philosophy of science.....42
- Olga Stolarova*. Should we conceive science outside the history?.....47
- Lada Shipovalova*. On the possibility of “negotiations” in historical epistemology52



EPISTEMOLOGY AND COGNITION

- Walter Schweidler*. On the sociocultural body of knowledge. Aspects of phenomenological approach to the social philosophy of science56
- Alexander Antonovski*. Social philosophy of science as the guardian of the “incarnation of truth in the world”68
- Anatoliy Rakitov*. Rationality and rehabilitation of relativism.....76



LANGUAGE AND MIND

- Vitaliy Dolgorukov*. Epistemic presuppositions and taxonomy of assertives.....92



VISTA

- Elena Mamchur*. Unobservable entities in modern physics: social constructs or real objects?.....106
- Irina Aseeva*. Axiological priorities of the VI technological mode124



CASE STUDIES – SCIENCE STUDIES

- Grigory Antipov*. On the “Invisible Hand” by Adam Smith and the formation of the scientific picture of the social world138
- Lora Ryskeldieva, Yulia Korotchenko*. Textual approach in social philosophy.....153
- Victor Kupriyanov, Lada Shipovalova*. The crisis of representations. How is a successful outcome possible? The case of scientometrics.....171



INTERDISCIPLINARY STUDIES

- Mikhail Kogalovsky, Ivan Nevolin, Sergei Parinov*. Scholarly communication development as a modernization basis for the research performance assessment and evaluation188

Nikolai Rudenko. “The crisis of representation” in the social sciences in the middle of 1980-1990s: critics of the process of knowledge achievement and sociological narratives.....206



ARCHIVE

Natalia Kuznetsova. “Wonderland” of theoretical epistemology221

Mikhail Rozov. What is the social relay theory.....230



BOOK REVIEWS

Liana Tikhvatulina. Economic theory and legal studies: towards the bilateral dialogue.....240

СОДЕРЖАНИЕ



РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

- И.Т. Касавин.* Зоны обмена как предмет социальной философии науки8



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

- Л.В. Шиповалова.* Стоит ли науку мыслить исторически?18
- Н.И. Кузнецова.* Историческая эпистемология в поисках символического статуса.....29
- Т.А. Вархотов.* Против релятивизма: историческая эпистемология в поисках универсалий.....33
- И.С. Дмитриев.* «Это логика, а не мышление» (Н. Бор).....39
- Е.И. Шашлова.* О значении исторической эпистемологии для современной философии науки42
- О.Е. Столярова.* Стоит ли мыслить науку вне истории?47
- Л.В. Шиповалова.* О возможности «переговоров» в исторической эпистемологии.....52



ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ПОЗНАНИЕ

- В. Швайдлер.* О социокультурном теле знания. Некоторые аспекты феноменологического подхода к социальной философии науки56
- А.Ю. Антоновский.* Социальная философия науки как блюститель «воплощения истины в мире»68
- А.И. Ракитов.* Рациональность и реабилитация релятивизма.....76



ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ

- В.В. Долгоруков.* Эпистемические пресуппозиции и классификация ассертивов.....92



ПЕРСПЕКТИВА

- Е.А. Мамчур.* ненаблюдаемые сущности современной физики: социальные конструкты или реальные объекты?106
- И.А. Асеева.* Аксиологические приоритеты VI технологического уклада124



СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Г.А. Антипов.* О «невидимой руке» Адама Смита и формировании научной картины социального мира138
- Л.Т. Рыскельдиева, Ю.М. Коротченко.* Текстовый подход в социальной философии153
- В.А. Курпьянов, Л.В. Шиповалова.* Кризис репрезентации. Как возможен успешный исход? Случай наукометрии171



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- М.Р. Козаловский, И.В. Неволин, С.И. Паринюв.* Развитие научных коммуникаций как условие модернизации оценки научной результативности.....188

Н.И. Руденко. «Кризис репрезентации» в социальных науках на рубеже 1980–1990-х гг.: критика процесса познания и социологических нарративов.....206



АРХИВ

Н.И. Кузнецова. «Зазеркалье» теоретической эпистемологии.....221

М.А. Розов. Что такое теория социальных эстафет.....230



ОБЗОРЫ КНИГ

Л.А. Тухватулина. Экономическая теория и правоведение: к основаниям для диалога равных240

Зоны обмена как предмет социальной философии науки*

Касавин Илья Теодорович – доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1. Профессор. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Российская Федерация, 603022, г. Нижний Новгород, ул. Гагарина, д. 23; e-mail: itkasavin@gmail.com



В современном обществе знания высока потребность в высококвалифицированных ученых и инженерах. Одновременно условия потребительского общества снижают престиж интеллектуальной деятельности, становящейся одним из многих товаров. Налицо также острое противоречие между растущей специализацией и дифференциацией наук, с одной стороны, и обыденным сознанием, с другой, которое не успевает осваивать достижения науки. Одна из актуальных задач научной политики, поэтому, состоит в преодолении опасных разрывов между наукой как социальным институтом и современным обществом: ее нужно направить на интеграцию науки в культурный социум и на обеспечение условий кадрового воспроизводства науки путем создания новых инструментов (социально-гуманитарных технологий) особого типа – зон обмена трансдисциплинарного и междисциплинарного типа. В настоящий момент технологии такого типа в России не развиты; не разработаны и научные методы их конструирования. Предполагается восполнение этой научной и техносocиальной лакуны путем разработки методов исследования, моделирования и дизайна зон обмена на основе критической социальной эпистемологии (С. Фуллер, И. Касавин), истории и социологии науки (П. Галисон, Г. Коллинз).

Ключевые слова: наука, коммуникация, трансдисциплинарность, зоны обмена, социальные и гуманитарные технологии, социальная эпистемология, социальная философия науки, язык, медиация

TRADING ZONES AS A SUBJECT-MATTER OF SOCIAL PHILOSOPHY OF SCIENCE

Ilya Kasavin – DSc in Philosophy, professor, correspondent member of the Russian Academy of Sciences. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation. Professor. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. 23 Gagarina St., Nizhni Novgorod, 603022, Russian Federation; e-mail: itkasavin@gmail.com

In the modern knowledge society there is a high need for highly qualified scientists and engineers. At the same time the conditions of the consumer society reduce the prestige of intellectual activity, which becomes one of many ordinary goods. There is also a sharp contradiction between the growing specialization and differentiation in the sciences, on the one hand, and everyday consciousness, on the other, which falls behind the scientific advances. One of the urgent tasks of scientific policy, therefore, is to eliminate dangerous gaps between science as a social institution and the modern society. This policy must be directed towards the integration of science into a cultural society and ensuring personnel reproduction in science by creating new tools (social and human technologies) – special types of transdisciplinary and interdisciplinary trading zones. Currently, this type of social technology is not developed in Russia; underdeveloped are the scientific methods of their design as well. It is expected that

* Статья подготовлена при поддержке РФФ, грант № 14-18-02227 «Социальная философия науки. Российская перспектива».



scientific and techno-social filling of the gaps will take place by developing methods of research, modeling and design of trading zones on the basis of critical social epistemology (S. Fuller, I. Kasavin), history and sociology of science (P. Galison, H. Collins).

Keywords: science, communication, interdisciplinarity, transdisciplinarity, trading zones, social & human technologies, social epistemology, social philosophy of science, language, mediation

Новая предметность в философии науки

Предмет философии науки за последние полторы сотни лет претерпел существенную эволюцию от анализа научных понятий в их истории (У. Хьюэлл) до исследования науки как целостного когнитивно-культурного феномена (П. Фейерабенд, И. Элкана, С. Фуллер). Формулировка нового направления под названием «социальная философия науки» [Касавин, 2015] связана с особенной локализацией ее предмета – фокусированием на коммуникативных структурах науки. Тому есть собственно эпистемологическое основание в т. н. коллективной эпистемологии [Касавин, 2016], изучающей роль общения в познании. Помимо этого, причины коммуникативного тренда [Антоновский, 2015] предоставляет сама современная наука, поскольку она выходит далеко за рамки отдельного социального института и начинает программировать и проектировать все пространство современного общества. Это происходит потому, что не только техника в обычном понимании (как увеличение физических возможностей человека в преобразовании природы), но и IT-технологии и социотехнические средства политического, экономического и культурного развития становятся материальной проекцией всего многообразия современных наук. Постепенно осознается даже то обстоятельство, что всякая технология есть социальная технология в том смысле, что ее изобретение и использование изменяет не только природу, но человека и общество.

Однако здесь предстоит сделать еще один решительный мыслительный ход, чтобы расстаться с оптикой, идущей от Т. Куна и его образа науки. Сегодня уже недостаточно понять науку как специфический способ коммуникации, связанный с исследовательской деятельностью. Напротив, на первый план в науке выходят черты, объединяющие ее с другими формами социальной интеракции. И даже более того: наука становится центром всех коммуникаций благодаря как минимум пяти взаимосвязанным факторам. Это а) выделенная роль научных экспертов; б) всеобщность научного образования; в) увеличение интеллектуальной составляющей любой производственной деятельности; г) инновационная ориентации экономики; д) функционирование науки как образца в системе распределенного



знания. Итак, наука сегодня представляет собой едва ли не главную «мягкую силу» [Nye, 2004], и стремление неоллиберальных политиков поставить науку под контроль и даже лишить ее социального авторитета есть, прежде всего, признание исключительной роли науки в современном обществе. И в России задача превращения Российской Академии наук в «клуб ученых» была неявно мотивирована реальным авторитетом науки, значительно превышающим авторитет государства. Наука уже *de facto* стала универсальным общественным клубом, где встречаются все мыслящие люди и где можно найти новаторские решения наиболее сложных социальных проблем. И при этом наука копирует распространенные паттерны коммуникации, применяя их для собственных целей.

К истории понятия и проблемы

Одним из ключевых вопросов концепции STS (Science, Technology, and Society) является вопрос о пересборке инфраструктуры научного знания, связанного, с одной стороны, с быстрым наращиванием темпов развития в области новых технологий, а с другой стороны, с изменением отношений между различными производительными силами в обществе. В силу того, что деятельность научных лабораторий сегодня, как правило, проектно-ориентирована и междисциплинарна, возникает вопрос о специфике коммуникации в коллективе специалистов различных специальностей. Именно здесь формируются зоны обмена – территории активного междисциплинарного взаимодействия как зоны согласования образов реальности для включения субъектов в общую для них профессиональную деятельность.

Понятие «зона обмена» является одним из понятий, используемым для концептуализации коммуникативного содержания науки. Оно введено П. Галисоном [Galison, 1999] и находится сегодня в фокусе социальных исследований науки [Столярова, 2015]. Целью Галисона было разрешение проблемы несоизмеримости парадигм (Т. Кун); ведь если парадигмы в самом деле столь различны, то как возможна коммуникация между учеными, которая *de facto* все же имеет место? Галисон утверждает, что научные парадигмы при всех своих различиях отнюдь не столь монолитны, как полагал Кун. Если бы несоизмеримость действительно имела место, никаких совместных проектов просто не могло бы быть, потому что ученые разных дисциплин и поколений, придерживающиеся разных теорий, не поняли бы друг друга. В реальности имеет место практическое взаимодействие ученых, в котором преодолевается несоизмеримость. Это практическое взаимодействие осуществляется в конкретном пространствен-



ном и временном локусе – в этом смысле оно исторично. Культуры договариваются на практике, а как следствие этого возникает новый язык общения. Галисон выступает как критик «лингвистического поворота» в философии, в рамках которого язык является единственной реальностью и, соответственно, разные языки означают разные, несоизмеримые, культуры (каждая культура видит мир через призму своего языка). У Галисона язык вторичен, а первична практика, совместный труд и товарообмен. Поэтому когда в одном месте собираются разные ученые и вынуждены (или добровольно идут на это) работать бок о бок, то возникает совместный продукт – новые научные теории и практики. Отсюда начинается поиск понятийных средств для описания того сегмента пересечения парадигм, в котором коммуникация все же происходит. Это как раз понятие «зона обмена», т. е. место, где реализуется проблематичная коммуникация. Это именно материальное место, поскольку область пересечения парадигм не находится в сфере теоретического знания: понятия механики Ньютона и механики Эйнштейна действительно различны до несоизмеримости. Коммуникация возможна, по Галисону, в силу своей материальной основы: эксперименты проводятся по одинаковым стандартам и конструирование инструментов также происходит без влияния парадигмы.

И все же стоит вспомнить, что Т. Кун был привержен холистическому пониманию значения научных терминов, заимствованному у Л. Витгенштейна [Kindi, 1995; Sharrock & Read, 2002]. Поэтому если трактовать куновские парадигмы по аналогии с витгенштейновскими формами жизни, то картина изменится. Экспериментам и инструментам могут приписывать разный смысл в до- и послереволюционной науке подобно тому, как одни и те же раковины каури могут рассматриваться неким племенем как фрагмент орнамента, другим племенем – как деньги, а третьим – как вместилище душ предков. Таков аргумент М. Гормана [Gorman, 2011, p. 7], **который считает, что у Галисона нет концептуальных доводов в пользу своей позиции, а он, скорее, апеллирует к факту по принципу «действительно, значит и возможно».** Такой довод выглядит приемлемо для некоторых авторов лишь потому, что они так же поддались дескриптивистскому «культу материального» в социальных исследованиях науки. Однако факт, как известно, не может окончательно обосновать ценность теории; здесь нужны концептуальные аргументы.

Впрочем, с Горманом трудно согласиться в полной мере: у Галисона есть идея механизма функционирования «зоны обмена». Галисон в поисках решения проблемы несоизмеримости использует методологический инструментарий антропологии познания, обращаясь к анализу экономического обмена между племенами аборигенов, принадлежащим к разным культурным общностям. По мысли Галисона, для осмысления зон обмена важен опыт лингвистов-антропологов, рабо-



тающих в пограничных областях межъязыкового взаимодействия. На границах разных дисциплин формируется локальная инфраструктура разделяемых всеми участниками концептов и инструментов, которые функционируют как языки обмена для переговоров между членами различных коллективов, где сложные и тщательно разработанные вопросы трансформируются в описания для обмена информацией [Galison, 2010]. Благодаря подобному переводу возникают своеобразные «кластеры действий и убеждений» [Galison, 1999, p. 146].

Проводя аналогию между коммуникацией в современной науке и коммуникацией в первобытной торговле, Галисон утверждает, что проблема понимания решается в обоих случаях благодаря выработке промежуточных словарей (“in-between” vocabularies). Языки, построенные на таких словарях, различаются по уровню развития и сложности.

Простейшим из них является «жаргон», т. е. использование отдельных лексических единиц, понятных обеим сторонам. Более сложный «пиджин» включает уже готовые обороты речи, а «креол» представляется собой новый язык с лексикой и грамматикой. Данная метафора используется Галисоном для описания развития некоторых технологий (радара, детектора элементарных частиц), в котором коммуникация между физиками и инженерами трактуется как форма поиска межкультурного взаимопонимания. Участники коммуникации вырабатывают особый язык, развивающийся от стадии предъязыка «жаргона» к частично структурированному «пиджину» и, далее, к зрелому языку «креолу», при том что смыслы используемых слов могут не совпадать у разных групп. «Две группы могут согласиться по поводу правил обмена, даже если они приписывают совершенно разное значение (*significance*) **обмениваемым объектам; они даже могут не согласиться по поводу значения (*meaning*) самого процесса обмена.** Тем не менее, партнеры вопреки глобальным различиям могут наладить локальную координацию» [Galison, 1997, p. 783].

В отличие от этих случаев фрагментарного междисциплинарного взаимодействия в рамках отдельных научно-технических проектов, возникновение биохимии, по Галисону, представляет собой иной пример, поскольку приводит две разные культуры химиков и биологов к созданию синтетической культуры, т. е. **новой дисциплины.** Соответствующий новый полноценный «креольский» язык молодые ученые усваивают уже как целостную специфическую культуру.

Метафора зона обмена тесно связана с концептом пограничного объекта. Это такой материальный артефакт или предмет исследования, который, будучи чрезвычайно социально значимым, вместе с тем не вмещается ни в одну конкретно-научную дисциплину и, быть может, даже выходит за пределы научного познания вообще. При внимательном взгляде таких объектов вообще оказывается боль-



шинство. Дисциплины строятся, среди прочего, путем концептуальных и материальных ограничений, но реальность всегда сложна и многогранна. Примером являются такие «предметы», как происхождение и природа вселенной, происхождение и природа живого, происхождение и природа сознания. Они выступают как предмет и множества наук, и теологии, и философии, и искусства. Более частных пограничных объектов много в особенности в сфере интересов социально-гуманитарных наук. Нам уже приходилось обращаться к анализу глобальных проектов, которые являются типичными пограничными объектами. Именно по поводу пограничных объектов и разворачиваются междисциплинарные и трансдисциплинарные исследования, требующие объединения разного рода экспертов. Характерно, что такие исследования не приводят к образованию полноценной дисциплины типа геоботаники, психолингвистики или истории науки, но, скорее, закрепляют некоторый институциональный статус за сферой исследований, в рамках которой продолжают функционировать разные языки и дисциплины. Это, по-видимому, свойственно таким областям, как исследования международных отношений, страноведение, глобалистика, когнитивистика, где сложность предмета провоцирует такую же сложность и диалогичность методологии и коммуникации. И именно здесь возникает вопрос о медиации этой коммуникации, которая не может быть раз и навсегда налажена, но требует постоянного интеллектуального сопровождения и поддержки.

Роль социального ученого-эксперта и «третья волна» в СТС

В основе концепции Галисона – представление о познании и практике как процессов если не в попперовском «третьем мире», то, по крайней мере, в мире социологии научного знания «сильной программы». Зоны обмена для него – особая реальность, подлежащая описанию и пониманию. Коллинз, напротив, сосредоточивает внимание на *конструировании* зон обмена в естествознании и технике и посреднической роли, которую играет в этом процессе ученый-гуманитарий. Коллинз ассоциирует с современными СТС т. н. «вторую волну» в социологии науки и противопоставляет ей свою, более продвинутую программу «третьей волны». Особенность последней в утверждении, что специфическое неявное знание, свойственное ученым естественнонаучного профиля, может приобретаться не только в ходе практической социализации ученого в лаборатории, но и в процессе междисциплинарного общения «лириков» с «физи-



ками». Отсюда граница между естественными и социальными науками оказывается проницаемой, и гуманитарии, не будучи догматически привержены естественнонаучным парадигмам, в состоянии выполнять важнейшие медиаторские функции в ходе междисциплинарных исследований.

«Мы называем “интерактивной экспертизой” такое экспертное знание (expertise), которое перебрасывает мосты между отдельными практиками с помощью совместного дискурса. Эта экспертиза может быть освоена с помощью обычной технологии социального полевого исследования – включенного наблюдения и погружения в дискурс данного сообщества. Наш сильный тезис гласит, что погружение в дискурс ничем не хуже погружения в практику, как скоро целью является приобретение компетенции в таких задачах, в которых практика не нужна. В зоне обмена индивид, овладевший интерактивной экспертизой, способен легко перемещаться между разными социальными группами, “переводя” проблемы одних на язык других и обратно» [Collins, Evans, 2010, p. 3]. Именно это делает возможным одновременно и разделение труда и взаимопонимание в науке.

Галисон подчеркивает, что термин «зона обмена» не следует трактовать расширительно. Он призван обозначить лишь проблемные коммуникативные ситуации, в которых общение сталкивается с существенными трудностями, а преодоление последних может привести к научному достижению. Однако, представляется, что коммуникация познающих субъектов, принадлежащим к разным культурам (компьютерщиков и биологов; математиков и философов; филологов и инженеров; физиков и психологов и т. д.), всегда обременена значительным непониманием. Так, преподавание теории множеств философам первого курса философского факультета МГУ в 1976 г. велось совершенно вне учета тех философских проблем обоснования математики (парадоксов теории множеств), которые обсуждались тремя года позднее, когда тематика первого курса практически выветрилась из головы. Ситуация взаимонепонимания имела место, и его преодоление было бы весьма желательно, но зоны обмена не возникло. Причина крылась в том, что у преподавателя математики отсутствовала всякая гуманитарная культура, в частности, знание и понимание истории математики и, конечно, истории философии. Как ни странно, но аналогичная ситуация имеет место и там, где, скажем, специалист в области компьютерных наук общается с биологом (случай Джеффа Шрагера, описанный в [Gorman, 2010]). Понимание важности перевода и общения есть такой же элемент гуманитарной культуры.

Именно поэтому Коллинз подчеркивает роль гуманитария (или любого специалиста с элементами гуманитарной культуры) для конструирования зоны обмена.



Итоги

Зоны обмена – понятие, представляющее собой историко-социологическую концептуализацию общения применительно к науке. Уточнение и конструктивное развитие этого понятия требует не только его дополнительной интерпретации на конкретном материале, но и более глубокого понимания его общенаучного и философского значения. В частности, это касается роли выделенных субъектов (публичных интеллектуалов, медиаторов, переводчиков, интерпретаторов) познавательного общения. Окрестности обитания таких «гениев общения» представляют собой подлинные «священные места» зон обмена – локусы, где приключаются «встречи», где случаются инсайты взаимопонимания. В их сфере притяжения и происходит событие гештальт-переключения, чреватое научным открытием и социальной инновацией. Примером такой личности может служить Уильям Хьюэлл – изобретатель новаторской терминологии для физиков, химиков, геологов и философов, среди прочего, придумавший и введший в оборот слова «scientist» и «philosophy of science». Историк науки пишет о нем в примечательной статье, название которой можно перевести одновременно как «изобретение терминов» и как «искусство договариваться» [Heilbron, 2002]. Хьюэлла отличала не только компетенция в самых разных областях науки, но и глубокая общекультурная, гуманитарная эрудиция, позволявшая проводить неожиданные аналогии, осуществлять трансляции смыслов между удаленными друг от друга областями знания.

Зона обмена – не только решение проблем междисциплинарного общения, не только ответ на социальную потребность выстраивания крупных социотехнических проектов. В той же мере она является плодом эволюции индивидуальной культурной лаборатории, способности творческой личности заставить реальность говорить *ее* голосом, воплотить в себе *ее* идеи, оформиться по *ее* воле.

Список литературы

- Касавин, 2016 – Касавин И.Т. Социальная философия науки и коллективная эпистемология. М.: Кнорус, 2016. 264 с.
- Касавин, 1998 – Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб: РХГИ, 1998. 408 с.
- Столярова, 2015 – Столярова О.Е. Исследования науки и технологии в перспективе онтологического поворота. М.: Русайенс, 2015. 189 с.
- Антоновский, 2015 – Антоновский А.Ю. Понимание и взаимопонимание в научной коммуникации // *Вопр. философии*. 2015. № 2. С. 45–69.



Collins, Evans, 2010 – *Collins, H., Evans R.* Interactional expertise and the imitation game // *Trading zones and interactional expertise. creating new kinds of collaboration* / Ed. by M.E. Gorman. Cambridge: MIT Press, 2010. 312 p.

Galison, 2010 – *Galison P.* Trading with the enemy // *Trading zones and interactional expertise: creating new kinds of collaboration* / Ed. by M.E. Gorman. Cambridge: MIT Press, 2010. 312 p.

Galison, 1999 – *Galison P.* Trading zone. Coordinating Action and Belief // *The Science Studies Reader* / Ed. by M. Biagioli. N. Y: Routledge, 1999. P. 137–160.

Galison, 1997 – *Galison P.* Image and logic: a material culture of microphysics. Chicago (Ill.): University of Chicago Press, 1997. 982 p.

Heilbron, 2002 – *Heilbron J.* Coming to terms: Caloric, cathode, curium and quark -coinage from the mint of science // *Nature*. 2002. No. 415 (6872). P. 585.

Kasavin, 2014 – *Kasavin I.T.* Interactive Zones: On the Prehistory of the Scientific Laboratory // *Herald of the Russian Academy of Sciences*. 2014. Vol. 84. No. 6. P. 456–464.

Kindi, 1995 – *Kindi V.* Kuhn and Wittgenstein: Philosophical Investigation of the Structure of Scientific Revolutions. Athens: Smiley editions, 1995. 475 p.

Nye, 2004 – *Nye J.* Soft Power: The Means to Success in World Politics. N. Y.: Public Affairs, 2004. 191 p.

Sharrock, Read, 2002 – *Sharrock W., Read R.* Kuhn: Philosopher of Scientific Revolution. Cambridge: Polity, 2002. 248 p.

References

Antonovski A. Yu. “Ponimanie i vzaimoponimanie v nauchnoi kommunikatsii” [Understanding and mutual understanding in scientific communication], in: *Voprosy filosofii*, 2015, no. 2, pp. 45–69. (In Russian)

Collins, H., Evans R. “Interactional expertise and the imitation game”, M.E. Gorman (ed.). *Trading zones and interactional expertise. creating new kinds of collaboration*. Cambridge: MIT Press, 2010. 312 pp.

Galison P. *Image and logic: a material culture of microphysics*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1997. 982 pp.

Galison P. “Trading with the enemy”, M.E. Gorman (ed.). *Trading zones and interactional expertise: creating new kinds of collaboration*. Cambridge: MIT Press, 2010. 312 pp.

Galison P. “Trading zone. Coordinating Action and Belief”, M. Biagioli (ed.). *The Science Studies Reader*. New York: Routledge, 1999. pp. 137–160.

Heilbron J. “Coming to terms: Caloric, cathode, curium and quark -coinage from the mint of science”, *Nature*, 2002, no. 415 (6872), p. 585.

Kasavin I.T. “Interactive Zones: On the Prehistory of the Scientific Laboratory”, *Herald of the Russian Academy of Sciences*, 2014, vol. 84, no. 6, pp. 456–464.

Kasavin I.T. *Migratsiya. Kreativnost'. Tekst. Problemy neklassicheskoi teorii poznaniya* [Migration. Creativity. Text. The problems of non-classic theory of knowledge]. Saint Petersburg: RHGI, 1998. 408 pp. (In Russian)

Kasavin I.T. *Sotsial'naya filosofiya nauki i kollektivnaya epistemologiya* [Social philosophy of science and collective epistemology]. Moscow: Knorus, 2016. 264 pp. (In Russian)



Kindi V. *Kuhn and Wittgenstein: Philosophical Investigation of the Structure of Scientific Revolutions*. Athens: Smiley editions, 1995. 475 pp.

Nye J. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs, 2004. 191 pp.

Sharrock W., Read R. *Kuhn: Philosopher of Scientific Revolution*. Cambridge: Polity, 2002. 248 pp.

Stoliarova O.E. *Issledovaniya nauki i tekhnologii v perspektive ontologicheskogo povorota* [Science and technology studies in the prospect of ontological turn]. Moscow: Rusaiens, 2015. 189 pp. (In Russian)

СТОИТ ЛИ НАУКУ МЫСЛИТЬ ИСТОРИЧЕСКИ?*

Шиповалова Лада Владимировна – доктор философских наук, доцент. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11; e-mail: ladaship@gmail.com



В статье проясняется проблематичность современной исторической эпистемологии, связанная с существующими различиями в понимании ее предметно-методологической и дисциплинарной определенности, а также с неоднозначным истолкованием того, что значит историческое понимание науки. Некоторые модусы этого истолкования ставят исследователя перед лицом опасного релятивизма. Среди этих модусов, во-первых, снятие противоположности внешней и внутренней истории, во-вторых, включение в историческое мышление «не-человеков», в-третьих, выход за рамки презентистского способа писать историю науки, в-четвертых, утверждение изменчивости самих оснований научной деятельности. Тезис состоит в том, что, несмотря на это, науку следует мыслить исторически, с готовностью встречая все релятивистские следствия такого мышления. Релятивизм при этом должен быть понят как необходимый мотив исследований эпистемолога. В заключении рассматривается значение такого исторического мышления о науке в эпистемическом, дисциплинарном и социально-политическом контексте.

Ключевые слова: Историческая эпистемология, релятивизм, история и философия науки, «безжалостный историзм»

SHOULD WE CONCEIVE SCIENCE HISTORICALLY?

Lada Shipovalova – DSc in Philosophy, assistant professor. Saint Petersburg State University. 11 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg, 199034, Russia; e-mail: ladaship@gmail.com

In the article I describe the difficulties of contemporary historical epistemology which are associated with its disciplinary uncertainty and the ambiguity in the understanding of its meaning for the historical interpretation of science. It's argued that some of modes of such interpretation lead researchers to the dangerous relativism. The author emphasizes the removal of the opposition between external and internal history of science, the inclusion "non-humans" to the objectness of the historical thinking, going beyond presentism as the way of describing of the history of science, as well as the approval of variability of the fundamental concepts of scientific activity. The thesis is that, in spite of this, we should conceive science historically, readily meeting all relativistic consequences of this thinking. Also we should understand relativism as the necessary reason of the epistemologist studies. In conclusion, I discuss the importance of this historical thinking about science in the epistemic, disciplinary and socio-political contexts.

Keywords: historical epistemology, relativism, history and philosophy of science, "ruthless historicism"

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 15-03-00572 «Проблема эффективности научных исследований: философский и исторический контексты».



Подступы к проблеме

Мой вопрос находится в поле современной исторической эпистемологии, определенность которого достаточно проблематична. Описание этой проблематичности, а также прояснение смысла и настоятельности вопроса будет представлять собой развернутое введение, подготавливающее ответ.

Прежде всего, следует отметить, что об исторической эпистемологии можно говорить в двух взаимосвязанных смыслах – широком и узком. В первом случае речь идет об утверждении необходимого исторического контекста для исследования проблем познания. Априори трансцендентализма здесь становится историческим априори, описание трансформаций и генезиса эпистем дополняет их предположение в качестве предпосылок познания. Так понятая «историческая эпистемология является историческим исследованием познания и одновременно – теоретико-познавательным анализом истории» [Касавин, 2000, с. 20]. **Само познание понимается в многообразии его форм – научной, художественной, религиозной и др., которые взаимодействуют в синхроническом срезе одной эпохи и оказываются непрозрачными друг для друга в исторической ретроспективе. Историческая эпистемология во втором, узком смысле, который меня в первую очередь интересует, делает своей темой и проблемой именно научное познание в его истории. В этом поле свои действующие лица, свои предметы, свои методологические проблемы¹. Может показаться, что упоминание о широком смысле избыточно, когда в фокус попадает именно научная познавательная деятельность. Однако это не так. Начиная с провозглашения методологического анархизма Фейерабенда и (не) заканчивая современной проблематизацией границ между «научным западноевропейским знанием» и «знанием туземным», сопровождающейся вопросом о том, «что значит принимать туземное знание всерьез» [Ludwig, 2016, с. 36], граница между научным и ненаучным познанием в очередной раз становится нестабильной, а пересечение двух смыслов исторической эпистемологии очевидным. Определение статуса науки в системе различных познавательных практик ставит исследователя перед выбором – признания европоцентричного научного универсализма или уклонение в культурный релятивизм, причем часто не только на уровне дескрипций, но и на уровне нормативности.**

¹ В фокусе проблематики исторической эпистемологии историчность научных объектов и научных концептов, макро-история науки [Feest, Sturm, 2011, с. 200], основные действующие лица в англоязычной традиции – Я. Хакинг, Л. Дастон, Х.-Й. Райнбергер, Ю. Ренн и др. В отечественной традиции к кругу подобных проблем относятся работы И.Т. Касавина, П.П. Гайденоко, М.А.Розова, Н.И. Кузнецовой, А.В. Ахутина, В.П. Зубова, В.Н. Поруса, В.П. Филатова и др.



Второй аспект проблематичности также относится к термину «историческая эпистемология», использование которого может произвести впечатление давно сложившегося союза философии (теории познания, философии науки, истории философии) и истории науки. Однако это впечатление обманчиво. Возникновение термина «по духу» можно возводить к начальным этапам становления социологии и позитивной философии, уделяющим внимание значению исторического контекста науки и историческому исследованию базовых понятий познания (О. Конт, Э. Дюркгейм). «По букве» такое словоупотребление относят к исследованиям науки во французской традиции². Представляется, что «дух» и «буква» взаимосвязаны и прояснение нюансов их взаимодействия далеко от завершения. Существенная двусмысленность, возникающая в употреблении термина, связана с возможным различием в понимании того, какое направление исследований – история или эпистемология – оказывается исходным для предполагаемого союза. Осуществляется ли историзация эпистемологии, т. е. возникает необходимость исследования категорий познания в историческом контексте, или историческое знание разворачивается к исследованию концептов, определяющих научную деятельность? Иначе говоря, является ли историческая эпистемология видом истории или видом эпистемологии? Ряд исследований в данной области во второй половине XX в. ориентированы в первую очередь на решение эпистемологических проблем [Вартовский, 1988; Kmita, 1988]. Но очевидна и противоположная тенденция – понимать историческую эпистемологию как конкретизацию исследований в области истории науки [Feest, Sturm, 2011]. Эта двусмысленность «исторической эпистемологии» важна не только в контексте требования ясности относительно предмета наших речей, особенно если речь идет об именовании собственной деятельности [Gingras, 2010]. Она имеет значение в контексте определения методологической проблематики. В первом случае актуальны дискуссии о значении исторического контекста для науки или о его конкретном понимании, а во втором, например, о возможности преодоления ограничений позиций антикваризма и презентизма³. Самым же важным в этой двусмысленности является то, что в движении к желаемому, но еще далеко не реальному союзу истории и философии науки, задачи работы над достижением взаимопонимания оказываются различными. С одной стороны, смягчению подлежит «историцизм историков», обращающих внимание, прежде всего, на изменчивость своих объектов, с другой стороны, критическая работа

² См. об этом, например: [Lecourt, 1975].

³ См., об этом, например: [Кузнецова, 2009]. В этом случае проблематика исследований науки оказывается близка еще одному направлению, претендующему на имя «исторической эпистемологии», которое можно охарактеризовать общим вопросом «как думают историки?».



направляется на «эссенциализм философов», предпочитающих поиск инвариантного [Kuukkanen, 2016]. Работа над сочетанием этих движений, составляющих общее стремление к добродетельной золотой середине исторической эпистемологии, еще не завершена.

Что значит мыслить науку исторически?

Ответ на этот вопрос, также связанный с неопределенностью исследовательского пространства исторической эпистемологии, обнаруживает различие модусов исторического мышления о науке⁴. При этом наряду с общепринятыми (например, признание релятивности знаний культуре), существуют радикальные модусы, польза от которых не всегда ясна, а вред возможен, потому они порой вызывают в свой адрес критику и отвержение. Именно на естественность переходов, связывающих первые и вторые, хотелось бы обратить внимание в четырех контрверзах, описанных ниже.

1. В *постпозитивистских исследованиях науки* присутствует различие внутренней и внешней истории: первая служит для объяснения логики и роста научного познания, его движения к истине (или от лжи), вторая – для оправдания ошибок и заблуждений. Разделенные функционально, эти две истории обеспечивали возможность строгого анализа «третьего мира» научного знания и учитывали влияние «мира второго». В основании различия лежала предпосылка автономии «третьего мира», которая, при всей своей конструктивности, оставляла открытым вопрос относительно онтологических оснований научного знания и допускала как минимум два варианта ответа, задающих различие позиций социального конструктивизма и реализма. Ответ сильной программы социологии научного знания, провозгласившей *принцип симметрии* в отношении анализа истинных и ложных научных суждений, предполагает, что социальные и исторические условия трансформации и функционирования научного знания являются общим основанием для этого анализа [Bloor, 1976, с. 4–5]. Трудно не заметить, что такой ответ, проблематизирующий границу внутреннего и внешнего, вносит в понимание научной деятельности признание многообразия ее оснований. Очевидна критика этого ответа, в который включены два главных признака релятивизма, со стороны научного реализма⁵.

⁴ Подробнее об этом [Шиповалова, 2013].

⁵ Основной тезис эпистемологического релятивизма включает настаивание на равнозначности различных описаний мира, а также на значении социальных, но не эпистемических оснований достоверности. См. об этом: [Мамчур, 2008, с. 16; Boghossian, 2006, p. 1–7].



2. Так называемая *историография науки*, в качестве общепринятого подхода, предполагает минимум теоретических рисков. Историчность здесь определяет искусственные, созданные человеком объекты, а также способы научного познания того, что не исторично по своему существу. Имеющие историю научные практики при этом рассматриваются «как существенные основания для манифестации научных объектов, но не как необходимые конститутивные условия для объектов самих по себе» [Arabazis, 2003, p. 440]. Историография делает своим предметом и различает истинные и ложные научные описания, при этом истинные характеризуют мир сам по себе, который реален «везде и всегда», а ложные – человеческое понимание, имевшее место «там и тогда». Этот подход сохраняет иерархическое различие субъекта и объекта познания, мира культуры и мира природы, искусственного и естественного. Стремление увидеть подвижность границ, выровнять иерархию, а также актуализация вопроса о «реальности» самой научной деятельности⁶ изменяет положение дел. В контексте принципа «*генерализованной симметрии*» общество и природа, люди и «не-человеки», в равной степени наделенные историчностью, взаимодействуют в производстве научного знания [Латур, 2006, с. 155, 167–171]. Историческое научное событие при этом включает взаимодействие профессионалов, материальных объектов, технических средств и теоретических знаний, а сами научные объекты истолковываются как «одновременно реальные и исторические» [Daston, 2000, p. 3]. **С этим изменением возникает вопрос о том, на каком основании при этом пишется исторический нарратив о мире в целом, какова будет достоверность этого основания и самого нарратива в отсутствии возможности апеллировать к независимому от познания «первому миру»?** Предположение множественности оснований снова ставит нас лицом к лицу с опасным в отношении науки релятивизмом.

3. Считается само собой разумеющимся, что *история пишет-ся победителями*, и история науки не является исключением. Историческое прошлое науки – это прошлое современной науки, оно встроено в настоящее как его подготовка, постепенное очищение от искажений, уточнение формулировок, выделение инвариантного, возрастание результативности. Это «монументальная история» научного прогресса, кумулятивного накопления знаний. Но что делать, если возникает необходимость в «*критической истории*», связанной с возникновением нового знания и утверждением его в противоположность знанию существующему? Не следует ли тогда ученому уподобиться «недобросовестному оппортунисту», рискующему апеллировать к иным правилам познания, к возможности иной парадигмы? Не следует ли тогда снова дать слово тем, чьи научные взгляды уже давно и успешно вытеснены на обочины исто-

⁶ Об этой проблеме см.: [Столярова, 2011].



рии науки? Иная история, написанная в этом случае, будет включать разрывы и принципиальную новизну. А отвечающий за такую историю эпистемолог столкнется с обвинениями в релятивизме. Также проблематичной может оказаться универсальность смысла научной деятельности у «историка-антиквария», обращающегося к многообразию контекстов научности прошедшей эпохи.

4. Как избежать релятивизма, если под взглядом радикально мыслящего историка изменчивыми оказываются не только научные теории, но и базовые категории, которые, собственно, определяют научность науки – объективность, знание, наблюдение, убеждение, факт? В этом случае важны кросс-культурные критерии научности, а также возможность контроля разума над историей [Мамчур, 2008, с. 222]. Тогда «исторические типы научной рациональности» обретают единую логику трансформации, «стили научного мышления» – дополнительность, а научные принципы, подобные принципу объективности, – формальную универсальную значимость. Но если предположить, что такие основания единства существуют и известны, следует спросить: кто является субъектом их определения? Как должна быть понята та разумность, с позиции которой вершится суд над историей? Кроме того, не будет ли это «уже существующее» единство оснований означать, что «пересборка науки» теперь избыточна, что радикальная инновация невозможна, что развитие знания о науке состоит теперь исключительно в наполнении этой универсалии историческим содержанием?⁷ Если же таких оснований нет, если хватает философской критичности, чтобы не иметь права на них впрямую указать, историзм грозит оказаться «безжалостным»⁸, ставя под вопрос научное знание как ценность культуры и возможность практических действий на нем основанных.

О цене и достоинстве «безжалостного историзма»

Мой вопрос, вынесенный в заглавие, касается уместных способов мыслить науку исторически и цены, которую приходится платить за радикализм исторического мышления, при котором «безжалостный историзм» оборачивается релятивизмом⁹. Этот радикализм выходит

⁷ Б. Латур в работе «Пересборка социального», полагает, что акторно-сетевая теория может быть названа «социологией инновации», поскольку ее метод включает обязательную открытость новому [Латур, 2014, с. 22].

⁸ Термин «безжалостный историзм», определяющий одну из проблем современной философии науки, принадлежит П. Галисону [Galison, 2008, p. 122–123].

⁹ Этот вопрос продолжает дискуссию о релятивизме на страницах этого журнала [Микешина, 2004], на мой взгляд, не завершенную не там, ни в современном эпистемологическом дискурсе в целом.



за рамки идеи эволюционного роста науки, кумулятивного накопления знаний, только внешнего значения многообразия; он включает в себя дискретность и подвижность оснований научной деятельности, их связь с общественными практиками, предположение того, что историческая событийность объединяет общество и природу. Стоит ли такое истолкование оснований науки сопутствующим ему опасностям релятивизма? Не следует ли произвести отбор и избавиться историческую эпистемологию от тех форм, которые ведут к релятивизму, и, поставив границы историческому мышлению науки, удерживать себя под контролем универсального разума в непроблематичной историчности? Или же *необходимо* быть готовыми встречаться лицом к лицу с опасными релятивистскими следствиями собственной позиции [Kusch, 2011], **мыслить науку исторически, не избегая радикальных модусов этого мышления?** В этой части статьи будут приведены аргументы в пользу положительного ответа на последний вопрос. Три порядка причин, обосновывающих достоинство исторической эпистемологии, готовой встречаться с опасностями релятивизма, определят то, что можно приобрести, удерживая себя в «поле риска».

Первый порядок эпистемический. Принятие релятивизма как всегда существующей возможности в любом модусе исторического мышления науки необходимо, поскольку он является важным условием и контекстом научной и эпистемологической работы. Только принятый всерьез тезис релятивизма о многообразии и равенстве познавательных позиций, требует работы над их переводом, взаимодействием и совмещением. Эта работа была проделана когда-то Галилеем, который не мог не принять всерьез допущение о сосуществовании двух различных «систем мира». Эту работу прodelьвают историки, «отвечая» на провозглашение Т. Куном идеи «научных революций» описанием пересекающихся, дополняющих друг друга контекстов, делая этот разрыв не столь радикальным [Дмитриев, 2006]. В эту работу включаются критически мыслящие философы, выявляя, с одной стороны, проблематичность концептов эпистемологии (в том числе самой научной рациональности) и, с другой стороны, показывая ограниченность любого конкретного исторического контекста их проявления¹⁰. «Безжалостный историзм» – источник задач и энергии для эпистемологии и провокация для парадигмально успокоенной научности, ожидающей аномалий в качестве повода для трансформации.

Второй порядок, производный от первого, дисциплинарный. Он относится к еще не состоявшемуся, но искомому союзу философии и истории науки, в котором будут равно представлены обе «дисциплины» и наука окажется действительно «разделенной территорией». Одна из причин этого «еще не» состоит в том, что история науки

¹⁰ См. об этом: [Касавин, 2005, с. 12–14; Гайденок, 2003, с. 9–29].



продолжает мыслиться философами как дополнительное по отношению к логике развития науки предприятие [Riesch, 2014]. Известная фраза Лакатоса об отношении истории и философии науки отчасти поддерживает это положение дел. Ведь она отсылает к отношению рассудка и чувственности, и историческое мышление здесь оказывается в служебной роли «наполнения содержанием» того, что в своей спонтанности и единстве по существу не исторично. В этой фразе и в нашем понимании историчности науки, следующем за ней, не хватает признания значения способности суждения. «Безжалостный историзм», признаваемый историками науки, внимательными к «иному» в прошлом, настраивает научный рассудок и философский разум на возможность «иного нового» в будущем. Как таковой «безжалостный историзм» находит свое трансцендентальное обоснование в кантовской рефлектирующей способности суждения, а его эмпирический материал оказывается дополнительным условием широкого мышления, мышления себя на месте другого. Тем самым история науки как дисциплина получает обоснование своего дополнительного значения по отношению к философии науки.

Третий порядок, связанный с первыми двумя, – социально-политический. Для того чтобы он стал ясным, необходимо признать предпосылку о том, что наука и способы организации научной деятельности это то, чему можно и следует учить, то, чему учат по преимуществу. Основания научных практик, оказывающиеся в поле внимания эпистемологов, предъявляемые ими или самими учеными общественному сознанию, могут оказывать на общественные практики в целом нормативное воздействие. Потому важным оказывается то, как эту нормативность увидеть и определить. «Безжалостный историзм», включенный в понимание научной нормативности, должен быть не тем, что наука и эпистемология вытесняет, а тем, с чем они готовы встретиться. Тогда в эту нормативность включается признание того, что единство «еще не достигнуто», а также необходимость постоянного возобновления работы над ним. Способом этой работы над единством будет не выбор и утверждение одной верной позиции (представления), сопровождающийся отбрасыванием других в зону умолчания, но разработка практик перевода, технологий взаимодействия, «зон обмена» между теми, кто готов к разговору (и эта готовность будет единственным условием допуска к сообществу тех, кто претендует на правоту). Так понятая научная нормативность оказывается «органом всемирных переговоров, касающихся относительных универсалий, которые мы создаем на ощупь» [Латур, 2006, с. 190]. Благодаря ее признанию, наука и историческая эпистемология опосредованно учат политике слушания «несогласных» (Ж. Рансьер) во всех сферах общественной жизни и отдают свой голос против «одномерного мышления» и тоталитаризма. Это последнее сообра-



жение принципиально, поскольку здесь идет речь о социальной роли эпистемологии вообще и исторической эпистемологии в частности. Я ожидаю услышать возражение о том, что так понятая научная нормативность и ее значение выводят далеко за рамки основной задачи научной деятельности: познания мира (природы и общества). Тогда я отвечу: нельзя обвинять науку и эпистемологию за их возможную и действительную нейтральность по отношению к бытию этого мира, но следует признать особое достоинство, состоящее в их готовности указанным образом в это бытие включаться.

Список литературы

- Вартовский, 1988 – *Вартовский М.* Модели. Репрезентация и научное понимание. М.: Прогресс, 1988. 507 с.
- Гайденко, 2003 – *Гайденко П.П.* Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 528 с.
- Дмитриев, 2006 – *Дмитриев И.С.* Испытание святого Коперника: ненаучные корни научной революции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 278 с.
- Касавин, 2000 – *Касавин И.Т.* Традиции и интерпретации: фрагменты исторической эпистемологии. СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. 320 с.
- Касавин, 2005 – *Касавин И.Т.* Эпистемология и историческое сознание // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2005. Т. 5. № 1. С. 5–14.
- Кузнецова, 2009 – *Кузнецова Н.И.* Презентизм и антикваризм – две картины прошлого // *Arbor Mundi.* 2009. Вып. 15. С. 164–196.
- Латур, 2014 – *Латур Б.* Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: Издат. дом ВШЭ, 2014. 384 с.
- Латур, 2006 – *Латур Б.* Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во ЕУ в СПб., 2006. 240 с.
- Мамчур, 2008 – *Мамчур Е. А.* Образы науки в современной культуре. М.: Канон+, 2008. 400 с.
- Микешина 2004 – *Микешина Л.А., Розов М.А., Никифоров А.Л. и др.* Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2004. Т. 1. № 1. С. 53–83.
- Столярова, 2011 – *Столярова О.Е.* Исторический контекст науки: материальная культура и онтологии // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2011. Т. 30. № 4. С. 32–50.
- Шиповалова, 2013 – *Шиповалова Л.В.* Безжалостный историзм. Или как возможен суд разума над историей науки // *Вестн. ЛГУ им. А.С. Пушкина.* 2013. Т. 2. № 3. С. 164–173.
- Arabaztis, 2003 – *Arabaztis T.* Towards a Historical Ontology? // *Studies in History and Philosophy of science.* 2003. No. 34. P. 431–442.
- Bloor, 1976 – *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. L.: Routledge & Kegan Paul, 1976. 156 p.
- Boghossian, 2006 – *Boghossian P.A.* Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 160 p.



- Daston, 2000 – *Daston L.* The coming into Being of Scientific Objects. Introduction // *Biographies of Scientific Objects* / Ed. by L. Daston. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2000. P. 1–14.
- Galison, 2008 – *Galison P.* Ten Problems in History and Philosophy of Science // *Isis*. 2008. Vol. 99. No. 1. P. 111–125.
- Gingras, 2010 – *Gingras Y.* Naming without necessity: On the genealogy and uses of the label «historical epistemology» // *Revue de Synthèse*. 2010. Vol. 131. P. 439–454.
- Feest, Sturm, 2011 – *Feest U., Sturm T.* What (Good) Is Historical Epistemology? // *Erkenntnis*. 2011. Vol. 75. No. 3. P. 285–302.
- Kmita, 1988 – *Kmita J.* Problems in Historical Epistemology. Warsaw: Springer, 1988. 185 p.
- Kusch, 2011 – *Kusch M.* Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three Desiderata for Historical Epistemologies // *Erkenntnis*. 2011. Vol. 75. No. 3. P. 483–489.
- Kuukkanen, 2016 – *Kuukkanen J.-M.* Historicism and the Failure of HPS // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2016. No. 55. P. 3–11.
- Lecourt, 1975 – *Lecourt D.* Marxism and epistemology: Bachelard, Canguilhem, and Foucault. L.: NLB, 1975. 223 p.
- Ludwig, 2016 – *Ludwig D.* Overlapping ontologies and Indigenous knowledge. From integration to ontological self-determination // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2016. No. 59. P. 36–45.
- Riesch, 2014 – *Riesch H.* Philosophy, History and Sociology of Science: Interdisciplinary // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2014. No. 48. P. 30–37.

References

- Arabaztis T. “Towards a Historical Ontology?”, *Studies in History and Philosophy of science*, 2003, no. 34, pp. 431–442.
- Bloor D. *Knowledge and Social Imagery*. London: Routledge & Kegan Paul, 1976. 156 pp.
- Boghossian P.A. *Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism*. New York: Oxford University Press, 2006. 160 pp.
- Daston L. “The coming into Being of Scientific Objects. Introduction”, in: L. Daston (ed.). *Biographies of Scientific Objects*. Chicago & L.: The University of Chicago Press, 2000, pp. 1–14.
- Dmitriev I.S. *Iskushenie svyatogo Kopernika: nenauchnye korni nauchnoi revolyutsii* [The Temptation of Saint Copernicus: Non-Scientific Roots of the Scientific Revolution]. Saint Petersburg: SPbSU, 2006. 278 pp. (In Russian)
- Feest U., Sturm T. “What (Good) Is Historical Epistemology?”, *Erkenntnis*, 2011, vol. 75, no. 3, pp. 285–302.
- Gaidenko P.P. *Nauchnaya ratsional'nost' i filosofskii razum* [Scientific rationality and philosophical reason]. Moscow: Progress-Traditsiya, 2003. 528 pp. (In Russian)
- Galison P. “Ten Problems in History and Philosophy of Science”, *Isis*, 2008, vol. 99, no. 1, pp. 111–125.



Gingras Y. “Naming without necessity: On the genealogy and uses of the label ‘historical epistemology’”, *Revue de Synthèse*, 2010, no. 131, pp. 439–454.

Kasavin I.T. “Epistemologiya i istoricheskoe soznanie” [Epistemology and historical consciousness], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2005, vol. 5, no. 1, pp. 5–14. (In Russian)

Kasavin I.T. *Traditsii i interpretatsii: fragmenty istoricheskoi epistemologii* [Traditions and interpretations: Fragments of historical epistemology]. Saint Petersburg: RCHI, 2000. 320 pp. (In Russian)

Kmita J. *Problems in Historical Epistemology*. Warsaw: Springer, 1988. 185 pp.

Kusch M. “Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three Desiderata for Historical Epistemologies”, *Erkenntnis*, 2011, vol. 75, no. 3, pp. 483–489.

Kuukkanen J.-M. “Historicism and the Failure of HPS”, *Studies in History and Philosophy of Science*, 2016, no. 55, pp. 3–11.

Kuznetsova N.I. “Prezentizm i antikvarizm – dve kartiny proshlogo” [Presentism and antikvarizm – two pictures of the past], in: *Arbor Mundi*, 2009, no. 15, pp. 164–196. (In Russian)

Latour B. *Novogo vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoj antropologii* [We Have Never Been Modern]. SPb.: EU in SPb, 2006. 240 pp. (In Russian)

Latour B. *Peresborka social'nogo. Vvedenie v aktorno-setevuju teoriju*. [Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory]. Moscow: HSE, 2014. 384 pp. (In Russian)

Lecourt D. *Marxism and epistemology: Bachelard, Canguilhem, and Foucault*. London: NLB, 1975. 223 pp.

Ludwig D. “Overlapping ontologies and Indigenous knowledge. From integration to ontological self-determination”, *Studies in History and Philosophy of Science*, 2016, no. 59, pp. 36–45.

Mamchur E. A. *Obrazy nauki v sovremennoj kul'ture* [Science images in modern culture]. Moscow: Kanon+, 2008. 400 pp. (In Russian)

Mikeshina L.A., Rozov M.A., Nikiforov A.L. i. dr. “Relyativizm kak epistemologicheskaya problema. Panel'naja diskussija” [Relativism as an epistemological problem. Panel discussion], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2004, vol. 1, no. 1, pp. 53–83. (In Russian)

Riesch H. “Philosophy, History and Sociology of Science: Interdisciplinary”, *Studies in History and Philosophy of Science*, 2014, no. 48, pp. 30–37.

Shipovalova L.V. “Bezhalostnyj istorizm. Ili kak vozmozhen sud razuma nad istoriej nauki” [Ruthless historicism, or how can history of science be judged by reason], in: *Vestnik LGU– Herald of LSU*, 2013, vol. 2, no. 3, pp. 164–173. (In Russian)

Stoljarova O.E. “Istoricheskij kontekst nauki: material'naja kul'tura i ontologii” [The historical context of science: material culture and ontologies], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2011, vol. 30, no. 4, pp. 32–50. (In Russian)

Wartofsky M. *Modeli. Rerezentaciya i nauchnoe ponimanie* [Models: representation and scientific explanation]. Moscow: Progress, 1988. 507 pp. (In Russian)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ В ПОИСКАХ СИМВОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА

Кузнецова Наталия Ивановна – доктор философских наук, профессор. Российский государственный гуманитарный университет. Российская Федерация, 125993, г. Москва, Миусская площадь, д. 6; Главный научный сотрудник. Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Российская Федерация, 117861, г. Москва, ул. Обручева, 30а; e-mail: cap-cap@inbox.ru

Утверждается, что анализ предмета и проблем исторической эпистемологии неэффективно начинать с упорядочивания практики употребления основных ее терминов. Важно показать, что историко-научные исследования приводят к необходимости принять дескриптивную познавательную установку. Описывая достижения прошлых эпох, надо оказаться от оценки их с позиций современной науки, чем грешит сложившаяся практика историографии науки и эпистемологии.

Ключевые слова: историческая эпистемология, историография науки, релятивизм, нормативная установка, дескриптивная установка

HISTORICAL EPISTEMOLOGY IN SEARCH OF SYMBOLICAL STATUS

Natalia Kuznetsova – DSc in philosophy, professor. Russian State University for Humanities. 6 Miusskaya sq., Moscow, 125993, Russian Federation. Head research fellow. S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of Russian Academy of Sciences. 30a Obrucheva Str., Moscow, 117861, Russian Federation; e-mail: cap-cap@inbox.ru

The author argues that the analysis of the matter and problems of historical epistemology is ineffective when it begins with the ordering of the key notions. N.I. Kuznetsova claims that it's important to show the necessity of the descriptive point of view in considering the historico-scientific problems. Description of the previous epochs requires the researcher's refusal to assess them from the modern prospects. The author considers the absence of this refusal as one of the biggest failures of the contemporary historiography of science and epistemology.

Keywords: historical epistemology, relativism, normativity, descriptive method

Несомненное стилистическое достоинство представленного для дискуссии текста Л.В. Шиповаловой – попытка сохранить *проблематичность при обсуждении самой проблемы*. Стоит ли мыслить науку исторически? – спрашивает автор, а не утверждает, что это делать необходимо. Основной тезис статьи, тем не менее, состоит в том, что историчность науки буквально вторгается в наши привычные представления, однако это грозит релятивизмом и антиреализмом. Необходимо искать и искать новых представлений при важнейшем требовании – сохранить научный реализм и веру в истинность научного знания (иначе говоря, сохранить так называемую *стандартную концепцию науки*). В противном случае просто собьем с толку честного ученого, от работы которого зависит столь многое в современной цивилизации. Как же быть?.. Необходимо, утверждает автор, постоян-



но возобновлять работу по поискам диалога между представителями крайних философских позиций перед лицом несомненного факта – историчности самой науки. Эпистемология должна стать площадкой для выслушивания «голосов несогласных», «зоной обмена» различных концептов. Каковы же, спрашивается, собственные задачи исторической эпистемологии, которые она призвана решать? Ответа на данный вопрос у автора (по крайней мере, в данной работе) просто нет. Зато Лада Владимировна очень четко указывает на два различных словоупотребления: «историческая эпистемология» может пониматься как проникновение историчности в саму эпистемологию, с одной стороны, и как изучение исторической методологии в рамках эпистемологии, с другой. «Осуществляется ли историзация эпистемологии, т. е. возникает необходимость исследования категорий познания в историческом контексте, или историческое знание разворачивается к исследованию концептов, определяющих научную деятельность? Иначе говоря, является ли историческая эпистемология видом истории или видом эпистемологии?» Термин, как говорится, амбивалентен. И это просто фиксация, хотя и в виде вопроса.

Отсюда и стилистика дальнейшего текста, его основных тезисов. Автор в своих выводах не настаивает на своем, а, скорее, пытается убедить: надо признать историчность знания и науки, однако уйти от релятивизма в понимании истины. Каким же образом? Автор утверждает: «Принятие релятивизма как всегда существующей возможности в любом модусе исторического мышления науки необходимо, поскольку он является важным условием и контекстом научной и эпистемологической работы». Или более кратко: «Релятивизм при этом должен быть понят как необходимый мотив исследований эпистемолога».

Допустим, что так. Однако что же мы получаем в результате таких наставлений? Мне кажется, автор пытается навести порядок в несколько, действительно, сбивчивом словоупотреблении, которое сложилось у эпистемологов, относительно «имен» их позиций, предметов изучения и соответствующих проблем. Но употребление имен – это самая-самая верхушка айсберга, суть дела лежит в «подводной» части. Какие, собственно, исследовательские практики заставляют историзировать понятие науки (и знания!), какие неотложные вопросы довели эпистемологию к необходимости признавать как «туземные» знания, наряду с «европейскими», так и «ложные» концепции, наряду с теми, которые современная наука признает «истинными»?

Релятивизма здесь, конечно, можно избежать, если принять положение, согласно которому «ошибка» – явление историческое, проходящее, а не явление «третьего мира», где остаются только «вечные истины», неподвластные времени. И все же узнать про то, как «неправильно» видит мир туземец – это так интересно! Читать про географические «ошибки» Колумба, про алхимические опыты Ньютона и «неверные» допущения Дарвина – это так увлекательно!.. Как изобра-



жение пороков в основном привлекательнее проповеди добродетелей, так и демонстрация «истинных путей» научного познания (*история пишется победителями*, называет это Лада Владимировна), кажется, просто надоело читателю. Вот так, собственно, «земным путем» и можно зафиксировать трудности в развитии историографии науки. В принципе Мишель Фуко очень метко обозначил основную методологическую проблему историко-научных исследований следующим образом: до тех пор, пока историки науки будут в своих трудах демонстрировать «Эпифанию Истины», никакого релятивизма не будет! Но их добросовестность заставляет сомневаться в том, что сложившаяся практика историографии науки – действительное изображение исторического пути научного познания¹.

С чего же начинать при разборе собственных проблем «исторической эпистемологии»? Мне кажется, с анализа той необходимости, которая заставляет «добросовестных исследователей» как в сфере историко-научных, так и в эпистемологии, говорить об историзации основных представлений о путях научного поиска, о том эмпирическом базисе эпистемологии и философии науки, который заставил отказаться от чисто нормативных представлений и перейти к дескриптивным установкам. Иными словами, сменить модусы исследовательской практики: перейти *от категорий должностования – к категориям существования*. Это произошло не вчера. Об «антиисторических стереотипах» историко-научных исследований очень ярко и выразительно писал еще Томас Кун. Надо менять нормативы историографии науки, искать новую оптику, иную рецепцию прошлого. О «*дескриптивной установке*» после Куна писал Бруно Латур (а также его сторонники как Парижской, так и Ланкастерской школы), Майкл Малкей, да и другие видные эпистемологи и философы науки конца XX и начала XXI вв. Неоднократно об этом писал М.А. Розов, обосновывая необходимость так называемой «надрефлексивной позиции» при исследовании познания [Розов, 2008, с. 146–148]. Сошлюсь хотя бы на такого авторитетного автора, как Эдвардо Агацци: «Переходя теперь к эпистемологии (понимаемой как общая теория познания), надо отметить, что она всегда включала два аспекта, которые можно назвать дескриптивным и нормативным. Нормативный аспект является предварительным, поскольку он состоит, во-первых, в каком-либо определении понятия знания, т. е. достаточным уточнении того, *что такое знание*, а это, во-вторых, определяет также, каким требованиям *должно* удовлетворять то, что мы хотели бы квалифицировать как знание.

Дескриптивный аспект состоит в выяснении того, *как* добывается знание, какими шагами, при каких условиях и согласно каким критериям можно убедиться в его получении, и это применительно к различным предметам, которые мы хотели бы знать» [Агацци, 2010, с. 64].

¹ См. интереснейшие наблюдения по этой теме в работе: [Вжосек, 2012, с. 254–255].



Короче, почему бы не начать с конца – с пристального изучения самосознания (рефлексии) историков науки и эпистемологов, которые более не удовлетворяются прежними нормативами своей работы? И дело, конечно, не в том, чтобы прояснить сложившееся в эпистемологии употребление терминов, а в том, чтобы показать, какие неотложные проблемы за этими словами стоят. Только тогда эти термины будут фиксировать то, *что есть*, а не то, чего хотелось бы *избежать* (антиреализма, например) или *использовать* в качестве мотива (релятивизм). Начнем, как простые труженики – отвечая на скромный вопрос, «*что происходит?*», не пытаясь пока энергично провозгласить «*что делать?*». (Удачное различие этих двух совершенно разных вопросов, напомним, принадлежит П. Фейерабенду.) Мне представляется, что Лада Владимировна стилистически пытается говорить о первом вопросе, но, по сути, все-таки отвечает на второй.

Можно назвать обсуждаемый ныне, содержательно очень насыщенный текст Л.В. Шиповаловой попыткой конструирования символического статуса «исторической эпистемологии». Однако – своевременно ли? Плодотворно ли? Вспоминается в этом контексте как-то брошенная в полемике реплика Дмитрия Быкова. Обсуждая некую ситуацию в литературоведении, он выразился так: «Это всё равно, что перед наводнением мыть полы».

Список литературы

Вжосек, 2012 – *Вжосек В.* Культура и историческая истина. М.: Кругъ, 2012. 336 с.

Розов, 2008 – *Розов М.А.* Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М.: Новый хронограф, 2008. 352 с.

Агацци, 2010 – *Агацци Э.* Эпистемология и социальное: петля обратной связи // *Вопр. философии.* 2010. № 7. С. 58–66.

References

Wrzosek W. *Kul'tura i istoricheskaya istina* [Culture and historical truth]. Moscow: Krug, 2012. 336 pp. (In Russian)

Rozov M. *Teoriya sotsial'nykh estafet i problemy epistemologii* [Social relay theories and the problems of epistemology]. Moscow: Novyi khronograf, 2008. 352 pp. (In Russian)

Agazzi E. “Epistemologiya i sotsial'noe: petlya obratnoi svyazi” [Epistemology and the social: a feedback loop], in: *Voprosy filosofii*, 2010, no. 7, pp. 58–66. (In Russian)

ПРОТИВ РЕЛЯТИВИЗМА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛИЙ

Вархотов Тарас Александрович – кандидат философских наук, доцент. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; e-mail: varkhotov@gmail.com

В статье представлены возражения против сближения исторической эпистемологии с релятивизмом и защищается тезис о независимости социокультурного генезиса и когнитивной ценности эпистемологических объектов, а также высказывается предположение о возможности реализации исторической эпистемологии в качестве проекта поиска эпистемологических универсалий.

Ключевые слова: историческая эпистемология, наука, универсализм, знание

CONTRA RELATIVISM: HISTORICAL EPISTEMOLOGY IN SEARCH OF UNIVERSALS

Taras Varkhotov – PhD in Philosophy, associate professor. Lomonosov Moscow State University. 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; e-mail: varkhotov@gmail.com

In the article the author presents an argument against the convergence of historical epistemology with relativism and defend the independence of epistemic objects' cognitive value from their socio-cultural genesis. The author make an assumption of the possibility of realization of historical epistemology as a project of search for the epistemological universals.

Keywords: Historical Epistemology, science, universalism, knowledge

Я бы хотел сосредоточиться на трех тезисах Л.В. Шиповаловой, которыми, разумеется, вовсе не исчерпывается ее позиция, но которые представляются мне принципиальными как для обсуждаемой статьи, так и для проекта исторической эпистемологии как некоторой возможной исследовательской практики.

Первый тезис с некоторым упрощением может быть сформулирован следующим образом: историческая эпистемология есть форма самоопределения в системе координат «европоцентричный объективизм и универсализм – культурный релятивизм».

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что «объективизм», «универсализм» и «европоцентризм» – совершенно разные вещи, которые не обязаны идти в связке, хотя на определенном этапе развития исследований знания они такую связку образовывали. Демонстрация исторической изменчивости семантики и регулятивного применения понятия «объективность», весьма убедительно проделанная разными исследователями [Megill, 1994; Daston, Galison, 2007], практически не затрагивает универсализма как теоретической установки на поиск значимых инвариантов (хотя вскрывает существенные сложности в ее реализации и требует осторожности в обращении с обнаруженными на этом пути «находками»).



Что же касается европоцентризма, понимаемого в данном случае как безусловное предпочтение европейской науки и принятие ее за эталон научности как таковой, то здесь всего лишь нужно избавиться от путаницы, связанной с термином «наука». Конечно, если под «наукой» понимать «хорошее знание», то претензии европейской интеллектуальной культуры обладать монопольными правами на него выглядят дискриминационными по отношению к иным формам знания. Однако слово «наука» давно уже обозначает вполне конкретную историческую форму интеллектуальной культуры, – собственно, как раз европейскую интеллектуальную культуру Нового времени, с опытно-экспериментальным естествознанием в качестве эпистемологического и исторического ядра.

Вопрос о «научности» или «ненаучности» в такой ситуации, действительно, привязан к конкретной исторической форме интеллектуальной культуры и решается на основании установления 1) изоморфизма имплицитной эпистемологии претендующей на признание формы знания эпистемологической структуре новоевропейского интеллектуального проекта и 2) признания продуктивной автономии соответствующего поля в структуре социального поля науки (и, опосредованно, культуры в целом) со стороны «ключевых стейкхолдеров» (прежде всего – самих ученых, а также инвесторов, органов власти и т. д.) [Бурдые, 2005, с. 498-504]. И этот вопрос вовсе не предполагает дискриминации других, «ненаучных» форм знания, что подтверждается примерами весьма успешной институционализации психоанализа, не имеющего статуса науки, растущей социальной популярностью религиозных форм знания или, наконец, столь же выразительным успехом нетрадиционных форм медицины.

Историческая монополия на научность давно уже не означает эпистемологической монополии на истину, хотя методологам позитивистской традиции удалось довольно убедительно показать, что уровень контроля осведомленности о характере своих отношений с реальностью у научных (европейских) форм знания беспрецедентно высок, чем, как правило, и обосновывается особый статус европейской интеллектуальной культуры.

Обращаясь ко второму полюсу представленной выше в первом тезисе оппозиции, мы обнаруживаем в качестве альтернативы «научному универсализму» «культурный релятивизм», что отсылает нас ко второму принципиальному тезису Л.В. Шиповаловой – методологическому требованию «принятия всерьез тезиса релятивизма о многообразии и равенстве познавательных позиций».

В этой формулировке союз «и» представляется, как минимум, необязательным. Допущение (исторического) многообразия познавательных позиций в настоящее время является «истиной факта», – типичным примером может служить точка зрения С. Шейпина, который считает



«само собой разумеющимся, что всякая наука имеет свою историческую локализацию, а значит, и социальные рамки и может быть понята только в контексте своего возникновения» [Шейпин, 2012, с. 325].

Переключение фокуса внимания с готовых результатов и «лучших образцов» на повседневное воспроизводство и инфраструктурные механизмы науки, ставшее отправной точкой для конструктивистской революции в науковедении в последней четверти XX в., заставило обратить внимание на тесное переплетение идей, репрезентаций и практик. Это привело к изменению представлений об устройстве и «материи» науки и, соответственно, о предметности науковедческих исследований, которые теперь должны иметь дело со сложной сборкой (assemblage) «объект-репрезентация-практика» [Stengers, 1997, p. 204], описывающей структуру подвижных, не устойчивых, историчных объектов, причины существования и механизмы стабилизации которых выходят далеко за рамки классической дихотомии «истинное/ложное» [Law, 2004].

Именно к поиску таких причин и механизмов призывал приступить исследователей науки еще 40 лет назад Д. Блур своей «сильной программой». Однако он же совершенно ясно показал, что принятие многообразия и стратегии его каузального объяснения вовсе не предполагает какой-либо конкретной содержательной оценки элементов этого многообразия – наблюдаемое состояние знания как предметного поля аналитика и наличие причин у этого наблюдаемого состояния ничего не говорит о когнитивной ценности содержимого этого поля [Bloor, 1976, p. 14].

Поэтому признание историчности и многообразия форм знания вовсе не предполагает релятивизма в смысле отказа от оценки качества этих форм и перехода к той или иной версии «методологического анархизма». Мы вполне можем признавать и объяснять наличный плюрализм, не принимая тезиса о равной ценности его элементов и о принципиальном отсутствии вертикальной организации, чисто горизонтальном упорядочении наличных эпистем.

И здесь мы подходим к третьему тезису – об исторической эпистемологии как политике обучения «слушанию несогласных» и допуска к консенсусу всех, кто «готов к разговору». Этот тезис наглядно иллюстрирует идею Дж. Дюпрэ о невозможности морально нейтрального знания [Dupré, 2012] – историческая эпистемология обнаруживает здесь свое морально-регулятивное измерение. Конечно, идея открытого консенсуса в сообществе, где каждый может быть услышан, а притязания на истину ограничены методологическим скепсисом и внимательным взглядом других участников, выглядит чем-то вроде очень привлекательной платано-кантовской утопии «вечного мира» под управлением философов (воспитанных исторической эпистемологией интеллектуалов).



Однако на практике мы вынуждены вернуться к предыдущему тезису: фактический плюрализм, даже при наличии у него вполне осязаемых исторических причин и культурной укорененности, вовсе не означает равенства участников этого плюрализма в каком бы то ни было смысле. И именно так смотрят на этот вопрос те, кто является фактическим носителем предметности для исторической эпистемологии – представители конкретных наук. Как отметил в своей речи на вручении литературной премии Александра Солженицына выдающийся филолог А.А. Зализняк, «в наши дни, к сожалению, вышли из моды две старые, банальные идеи: 1) истина существует, и целью науки является ее поиск; 2) в любом обсуждаемом вопросе профессионал в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им сегодня противостоят новые, гораздо более модные положения: 1) истины нет, есть множество мнений; 2) ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то иного» [Марков, 2010]. Симптоматично, что это лаконичное описание речи знаменитого лингвиста приводит в качестве выражения собственной позиции авторитетный биолог. И здесь уместно будет вспомнить мнение Платона о неизбежности эволюции демократии в тиранию и работы исследователей, отмечающих растущую власть над наукой тех, кто должен обеспечивать в ней гласность и коммуникативное равенство – журналистов [Пэнто, 1996].

В заключение хотелось бы вернуться к тезису основателя исторической эпистемологии, М. Вартофского: историческая эпистемология не может быть «простой историей идей», целью является «выявление связей между познанием и действием, между теоретической и прикладной практикой, между сознанием и поведением» [Вартофский, 1988, с. 20]. С учетом марксистского бэкграунда этого автора, предлагаемый путь ведет отнюдь не к релятивизму и возрастанию роли коллективного консенсуса, а в прямо противоположном направлении – к созданию новых инструментов оценки и сопоставительного анализа различных форм знания через реконструкцию его исторического генезиса и анализа инфраструктурного обеспечения, а также поиску новых инвариантов («универсалий») в рамках обогащенной инструментами анализа практик и комплексных сборок универсальной эпистемологии.



Список литературы

- Бурдые, 2005 – *Бурдые П.* Поле науки // *Бурдые П.* Социальное пространство: поля и практики. М.; СПб., 2005. С. 473–517.
- Вартовский, 1988 – *Вартовский М.* Модели. Репрезентация и научное понимание. М.: Прогресс, 1988. 507 с.
- Марков, 2010 – *Марков А.В.* Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы. М.: Астрель, 2010. 527 с.
- Мегилл, 2007 – *Мегилл А.* Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. 480 с.
- Пэнто, 1996 – *Пэнто Л.* Философская журналистика // S/Λ'97. Социологос постмодернизма. Альманах Российско-франц. центра социол. исслед. ин-та социологии РАН. М., 1996. С. 30–56.
- Шейпин, 2015 – *Диар П., Шейпин С.* Научная революция как событие. М.: Новое лит. обозрение, 2015. 571 с.
- Bloor, 1976 – *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. L.: Routledge & Kegan Paul, 1976. 157 p.
- Daston, Galison, 2007 – *Daston L., Galison P.* Objectivity. N. Y.: Zone Books, 2007. 501 p.
- Dupré, 2012 – *Dupré J.* The Inseparability of Science and Values // *Dupré J.* Processes of Life. Essays in Philosophy of Biology. N. Y.: Oxford University Press, 2012. P. 55–69.
- Law, 2004 – *Law J.* After Method: Mess in Social Science Research. L.: Routledge, 2004. 196 p.
- Megill, 1994 – *Rethinking Objectivity* / Ed. by *A. Megill*. L.: Duke University Press, 1994. 342 p.
- Stengers, 1997 – *Stengers I.* Power and Invasion. Situating Science. L.: University of Minnesota Press, 1997. 270 p.

References

- Bloor D. *Knowledge and Social Imagery*. London: Routledge & Kegan Paul, 1976. 157 pp.
- Bourdieu P. “Role Nauki” [La champ scientifique], in: Bourdieu P. *Socialnoye prostranstvo: polya i praktiki* [Social Space: Fields and Practices]. Moscow: Aleteia, 2005, pp. 473–517. (In Russian)
- Daston L., Galison P. *Objectivity*. New York: Zone Books, 2007. 501 pp.
- Dear P., Shapin S. *Nauchnaya revolyutsiya kak sobyitiye* [Scientific Revolution as Event]. Moscow: NLO, 2015. 571 pp. (In Russian)
- Dupré J. “The Inseparability of Science and Values”, Dupré J. *Processes of Life. Essays in Philosophy of Biology*. New York: Oxford University Press, 2012, pp. 55–69.
- Law J. *After Method: Mess in Social Science Research*. London: Routledge, 2004. 196 pp.
- Markov A. *Rozhdeniye slozhnosti. Evolyutsionnaya biologiya segodnya: noezhidannye otkrytiya i novye voprosy* [The Birth of Complexity. Evolutionary Biology Today: Unexpected Discoveries and New Questions]. Moscow: Astrel', 2010. 527 pp. (In Russian)



Megill A. *Istoricheskaya epistemologia* [Historical Epistemology]. Moscow: Kanon, 2007. 480 pp. (In Russian)

Megill A. (ed.). *Rethinking Objectivity*. London: Duke University Press, 1994. 342 pp.

Pinto L. “Filosofskaya zhurnalistika”, [Philosophical journalism], in: *S/A '97. Socio-Logos postmodernisma* [The Socio-Logos of Postmodernism]. Moscow: Institut eksperimental'noi sotsiologii, 1996, pp. 30–56. (In Russian)

Stengers I. *Power and Invasion. Situating Science*. London: University of Minnesota Press, 1997. 270 pp.

Wartofsky M. *Modeli. Rerezentacija i nauchnoe ponimanie* [Models: representation and scientific explanation]. Moscow: Progress, 1988. 507 pp. (In Russian)

«ЭТО ЛОГИКА, А НЕ МЫШЛЕНИЕ» (Н. БОР)*

Дмитриев Игорь Сергеевич – доктор химических наук, профессор. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11; e-mail: isdmitriev@gmail.com

В статье представлены несколько замечаний по поводу позиции Л.В. Шиповаловой. Замечания касаются недостаточности линейного подхода к историческому описанию. Утверждается, что стремление к такой линеаризации лежит в основе классического иллюзорного представления о задаче исторической наррации: рассказать как было «на самом деле».

Ключевые слова: релятивизм, история и философия науки, линеаризация истории

“IT IS LOGIC, BUT NOT THINKING” (N. BOHR)

Igor Dmitriev – DSc in Chemistry, professor. Saint Petersburg State University. 11 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg, 199034, Russia; e-mail: isdmitriev@gmail.com

The author suggests some comments about the article by L. Shipovalova. The point is made for a failure of a linear approach to the historical description. The author claims that the history of thought cannot be linearized. He argues that attempts at such linearization constitute the classical illusion of the task of a historical narrative: to tell the story of what allegedly really happened.

Keywords: relativism, history and philosophy of science, linearizations of history

Мне бы хотелось сказать несколько слов, по поводу, главным образом, первого и второго из трех, вкратце охарактеризованных Ладой Владимировной, «порядков причин, обосновывающих достоинство исторической эпистемологии, готовой встречаться с опасностями релятивизма». История научных (и не только научных) революций показывает, что перед тем, как начнут оформляться контуры новой теории (шире – новой парадигмы), имеет место более или менее длительный «пролог», герои которого (Галилей, Н. Бор и т. д.) не только дарят миру новые конкретно-научные открытия, но и разрабатывают новые методологические принципы, которые затем будут положены в основание постреволюционной науки (примерами могут служить метод искусственно-изолирующего эксперимента Галилея, принципы соответствия и дополненности Н. Бора и др.). Задача, решаемая этими учеными – проблематизация предшествующей парадигмы, ее всесторонний анализ и выявление в ней тех положений, которые «не замечались» (т. е. не были отрефлексированы) их предшественниками (скажем, допущение классической физики о том, что физические процессы происходят «сами по себе» и не возмущаются актом наблюдения) и/или не были (не могли быть) предметом критического анализа. При этом наряду с

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 15-03-00572 «Проблема эффективности научных исследований: философский и исторический контексты».



обсуждением не анализировавшихся ранее несущих конструкций старой парадигмы, эти герои зачастую использовали такие приемы, как окарикатуривание взглядов своих далеких предшественников (скажем, Галилей, рассуждая о законе свободного падения, приписывал Аристотелю те идеи и мнения, которые тот никогда не высказывал), или, как это сделал Н. Коперник, предъявление к наличной хорошо работающей теории (геоцентрической теории К. Птолемея) тех методологических и эстетических требований, которым она по условиям времени своего создания не удовлетворяла и удовлетворять не могла и т. п. А после того, как дым интеллектуальных битв рассеивался, философский релятивизм, сыгравший свою роль в период «бури и натиска», уходил (как мавр, сделавший свое дело) в тень, ибо наступало иное время – эра победителей, которые писали нужную им историю их побед (характерный пример – лекции по истории органической химии А.М. Бутлерова, где он изложил всю историю этой науки как путь к торжеству его теории химического строения, т. е. изложил прошлое органической химии как продукт ее отсроченного будущего). В этот период на релятивизм смотрят уже косо, т. к. куда уместнее выглядит кумулятивистский нарратив шествия героев-победителей «по партитуре напролом» к алтарю истинной теории. В этой ситуации история науки выполняет фактически функцию пропаганды победившей парадигмы.

Как же в этой ситуации обстоят дела с союзом философии и истории науки? Лада Владимировна справедливо отмечает трудности этого союза, который, на мой взгляд, если будут сохраняться нынешние методологические установки, вообще никогда не будет достигнут, хотя бы с силу того, что большинство историков не согласится поселиться на вершине философской башни, с высоты которой не разглядеть деталей местности, а философы в большинстве своем вряд ли захотят надолго покидать эту вершину, потому как внизу им не будет хватать обзора. Но дело не только в этом (в конце концов есть приятные исключения, скажем, Т. Кун или С. Тулмин). О каком союзе идет речь? Союз между какой философией и какой историей? За философию говорить не буду, поскольку не философ, а что касается истории науки, то, как мне представляется, ее задача – не столько оценивать те или иные теории, высказывания и суждения на предмет их истинности, сколько попытаться понять, что именно двигало исследователями прошлого, каковы были их мотивации, их принципы и стратегии. Иными словами, сверхзадача истории науки – изучение исторически-обусловленных усилий человека познать то, что по своей сути не исторично. Но ведь, – предвижу возражение, – историк науки сам принадлежит определенной эпохе, ему присущи свои мировоззренческие позиции и т. д., и как же тогда относиться к его утверждениям? Да, разумеется, мы всегда имеем спектр интерпретаций, спектр оценок. И, кстати, не только в области гуманитаристики.



Мне представляется, что трудности достижения союза философов и историков науки (а я бы говорил о заинтересованном внимании их к мнениям друг друга – это уже немало!), о которых писала Лада Владимировна, обусловлены не в последнюю очередь тем, что в основе классического иллюзорного представления о задаче исторической наррации лежит тенденция к линейаризации истории. И в парадигматических, и в кумулятивистских моделях развития научного знания наука рассматривается как нормативный процесс с присущей ему хронологической связанностью. Ученые и многие историки в своих ретроспективных оценках склонны упрощать и рационализировать последовательность событий. Новое при таком подходе оказывается чем-то латентно присутствующим уже в начале исследования как его цель. Однако, чем детальнее историки изучают микродинамику научной деятельности, тем проблематичнее становятся в их глазах указанные линейаризованные модели.

На мой взгляд, вряд ли возможно выявить онтологически и методологически обоснованную логику развития науки, а потому линейаризация того, что называется историческим процессом – не более, чем фикция. История, построенная на таком основании, разумеется, может быть адаптирована к той или иной философской схеме, однако развитие истории науки требует более гибкого и нелинейного («историального» по терминологии [Rheinberger, 1994]) мышления.

Список литературы

Rheinberger, 1994 – *Reinberger H.-J. Experimental Systems: Historiality, Narration, and Deconstruction // Science in Context. 1994. Vol. 7. No. 1. P. 65–81.*

References

Reinberger H.-J. “Experimental Systems: Historiality, Narration, and Deconstruction”, *Science in Context*, 1994, vol. 7, no. 1, pp. 65–81.

О ЗНАЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Шашлова Екатерина Игоревна – кандидат философских наук, доцент. Южный федеральный университет. Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42; e-mail: eishashlova@sfnu.ru

В статье анализируется историческая эпистемология и понятие исторического априори. Французская историческая эпистемология предстает в своем узком значении в виде традиции французской философии. Предлагается рассматривать историческую эпистемологию не как релятивистскую концепцию истории и философии науки, но как стратегию против нормативности знания, его легитимации и иных способов установления истины.

Ключевые слова: историческая эпистемология, Мишель Фуко, историческое априори, релятивизм, нормативность, легитимация, Гуссерль

ON THE MEANING OF HISTORICAL EPISTEMOLOGY FOR CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF SCIENCE

Ekaterina Shashlova – PhD in Philosophy, assistant professor. Southern Federal University. 105/42 Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation; e-mail: eishashlova@sfnu.ru

The article analyzes historical epistemology and the notion of historical a priori. French historical epistemology appears in a narrow sense as a tradition within French philosophy. I will consider the tradition of historical epistemology not as a relativistic approach towards history and philosophy of science, but as a strategy against the standard view on normativity and legitimation of knowledge.

Keywords: historical epistemology, Foucault, historical a priori, relativism, normativity, legitimation, Husserl

Центральное понятие в статье Л.В. Шиповаловой – историческая эпистемология. Однако непонятно, что такое *современная* историческая эпистемология и каковы ее границы? Если, отвечая на вопрос «Стоит ли науку мыслить исторически?», обратиться к эклектичному образу исторической эпистемологии, вбирающей в себя практически все современные концепции теории познания от О. Конта до Б. Латура, то можно упустить специфику каждой частной аргументации. Представляется, что речь идет об исторической эпистемологии, описываемой И.Т. Касавиным, который называет историческую эпистемологию «неотъемлемым ракурсом всякого философского взгляда на познание» [Касавин, 2005, с. 7]. Исходя из этого предельно широкого основания, вопрос Л.В. Шиповаловой теряет свой смысл.

Шестидесятые годы XX в. указываются исследователями как начало исторического анализа в философии науки Т. Куна, его последователей и оппонентов. Однако в это же время были сформированы иные парадигмы исследования знания, демонстрирующие релятивизм/скептицизм как альтернативу поиска истины в качестве



конечного результата познания. К этим новым парадигмам можно отнести П. Бергера и Т. Лукмана, описавших механизм институционального конструирования любого типа знания и способы его легитимации, а также археологические и генеалогические исследования Фуко, закрепившие французскую историческую эпистемологию на поле философии науки.

Само выражение «историческая эпистемология» в качестве наименования французской традиции появляется в 1969 г. книге Д. Лекура, который позаимствовал его у Ж. Кангилема, описывающего философию науки Г. Башляра. Между тем Л.В. Шиповалова использует предельно широкую трактовку данного термина, даже когда говорит о его узком значении.

Солидаризируясь с автором в необходимости обращения к исторической эпистемологии, мы попытаемся показать, что понятие исторического априори является ключом к пониманию того, почему такого рода подход к истории науки сопровождается страхом перед «опасностями» и «безжалостностью историцизма». Но хотелось бы еще более радикально определить значимость исторической эпистемологии, которая, на наш взгляд, заключается не в релятивизации научных истин, а в отказе от истинности и в противостоянии нормативности научного знания.

Л.В. Шиповалова касается понятия исторического априори, говоря об исторической эпистемологии в широком смысле: «Априори трансцендентализма здесь становится историческим априори, описание трансформаций и генезиса эпистем дополняет их предположение в качестве предпосылок познания». С точки зрения Фуко, историческое априори демонстрирует историчность самого трансцендентального априори. Историческое априори у Фуко не дополняет трансцендентализм, а отрицает его. Именно поэтому сторонники трансцендентализма и априоризма в кантовском, даже в феноменологическом смысле могут критиковать историческую эпистемологию за историцизацию того основания, которое само было призвано выступить основой всякого познания, в том числе и исторического. Действительно, историцизм в познании способствовал релятивизации универсальных понятий, лишив их сущностной и необходимой вневременной основы. Об этом пишет Гуссерль в статье «Философия как строгая наука»: «...историцизм рождает к жизни релятивизм, весьма родственный натуралистическому психологизму и запутывающийся в аналогичные же скептические трудности» [Гуссерль, 2005, с. 222]. Представляется, что «сторонники» исторической эпистемологии, схожим образом определяющие зависимость релятивизма от историцизма, вторят Гуссерлю и не оставляют места продуктивной критике априорного познания.



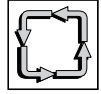
И.Т. Касавин говорит об историческом априори у Гуссерля, стоящем в одном ряду с универсалиями культуры Шпенглера и эпистемами Фуко [Касавин, 2005, с. 11]. **Однако Гуссерль не релятивизирует априори.** Понятие «Априори истории» не лишает само «априори» его сущностного значения. За каждым историческим фактом обнаруживаются не только исторические инварианты, но и абсолютное Априори. В заключение анализа понятия «Априори истории» в работе «Начала геометрии» Гуссерль пишет: «Примем как абсолютно достоверно следующее: окружающий человека мир является в сущности все тем же, сегодня и всегда» [Гуссерль, 1996, с. 245]. **В противоположность этому, историческое априори у Фуко демонстрирует, что существуют только лишь исторические единичности.** Нет никакой сущности (или априори, пусть и «Априори истории», в гуссерлевском смысле) за единичными фактами, которые мы обнаруживаем в ходе исторического исследования.

Употребляемое Л.В. Шиповаловой понятие исторического априори скорее всего отсылает к определению И.Т. Касавина, которое основывается на истории культуры. Такое смешение под «историческим априори» позднего Гуссерля, Шпенглера и Фуко, лишает историческую эпистемологию ее реального значения и содержания.

На наш взгляд, слишком широкое определение исторической эпистемологии не позволяет Л.В. Шиповаловой показать, в чем же заключается достоинство «опасных» исторических исследований в науке. Историческая эпистемология дает нам пример критики оснований познания, заставляя сомневаться в собственных обобщениях и универсализациях. В этом и состоит задача исторической эпистемологии: показать средствами исторического анализа, что за истинами науки нет вневременных сущностей.

Такой аспект исторических исследований связан с вопросом о ценностях и нормах в науке. Автор статьи помещает в заглавие вопрос, который продиктован возможностью встречи с «опасным релятивизмом», «безжалостным историзмом» и прочими радикальными версиями истории науки. Анализируя современные российские исследования в области эпистемологии и философии науки, можно отметить, что именно такого рода оценочная терминология сопровождает включение современного зарубежного эпистемологического дискурса в поле отечественной истории науки.

Продуктивный путь анализа исторической эпистемологии, соответствующий современным социально-политическим исследованиям знания и науки, помещает саму историческую эпистемологию в социальный контекст и вычленяет механизмы ее институционального и политического формирования. Институциональное в таком случае следует понимать в духе социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана, а политическое в смысле постфукольдианских исследований власти. Под таким углом зрения мы обнаруживаем, что историче-



ская эпистемология, как и любой другой способ анализировать историю науки, подчиняется политике знания (или власти-знания), но в первой половине XX в. она начала выполнять критическую функцию по отношению к самому анализу науки. Причем историческую эпистемологию М. Фуко следует назвать критикой самой этой критики.

Так чем же опасен релятивизм и историзм? Л.В. Шиповалова пишет, что «историзм грозит оказаться “безжалостным”, ставя под вопрос научное знание как ценность культуры и возможность практических действий на нем основанных». Можно возразить против этого утверждения, что историзм не ставит под вопрос культурную ценность научного знания, но наоборот, трактует науку как одну из ценностей культуры; историзм не ставит под сомнение возможность практических действий, основанных на научном знании, но утверждает историческую обусловленность категорий и понятий. Историки науки добились лишь того, что научное знание лишилось таких критериев, как априорность и абсолютная истинность, эти последние понятия скорее будут характеризовать неверифицируемое и нефальсифицируемое знание.

Самым ярким аргументом против «опасности» релятивизации научного знания является развитие естественных наук, не только принявших множество релятивистских постулатов (неэвклидовы геометрии, теория относительности в физике, конвенциональный характер разнообразных таблиц периодических систем химических элементов и пр.), но и совершающих открытия на основе этих постулатов. Все эти оценочные понятия «опасность релятивизма», «безжалостный историзм» и пр. возможны именно в области философии науки, особенно у тех ее представителей, кто направляет свой анализ на защиту универсальных ценностей и нормативности. Такое обоснование становится не логическим, но «политическим» аргументом, не имеющим реальной связи с современными научными исследованиями. В социальных науках «политическая аргументация» защитников эссенциализма и универсализма более очевидна и проявляется в самой методологии социальных наук. И именно о такого рода «политическом» характере знания говорит историческая эпистемология, призванная развенчать иллюзию чистых априорных оснований науки. В этом смысле историческая эпистемология встроена в общую критическую тенденцию, присущую философии XX в. Поставленный автором вопрос: «Стоит ли науку мыслить исторически?», на наш взгляд, является отражением этого философского страха перед разрушением трансцендентализма и априори, которое собственно и свершилось, закрепившись в многообразных неклассических «радикальных» концепциях истории знания и философии науки.

В настоящее время термин «радикальный» имеет негативный оттенок, это связано с противостоянием нормативности и с социально-политическим характером самой эпистемологии, но не в том смысле,



о котором пишет Л.В. Шиповалова («способы организации научной деятельности»), а в смысле социальных условий формирования знания и социальной сущности знания, а также в значении политики научного дискурса.

Следует упомянуть, что нормативность является тем ключевым моментом, отсылающим к проблеме опасности релятивизма, который посредством разрушения априорных оснований исключает норму в самом широком смысле из перечня критериев научного знания. И здесь снова стоит упомянуть французскую традицию исторической эпистемологии, в которой Ж. Кангилем формулирует проблематику современного научного знания вокруг понятия нормы.

Мы видим, что дискурс об опасностях релятивизма характеризуется неприятием отказа от нормативности как критерия научного знания. Нормативность и легитимация – понятия, неотделимые от критического анализа науки в исторической эпистемологии. Таким образом, можно заключить, что неотъемлемой характеристикой исторической эпистемологии является не релятивизм в вопросе оснований познания, а нечто более ценное – борьба против установления истины путем институциональной легитимации или другой формы политики знания.

Список литературы

Гуссерль, 1996 – Гуссерль Э. Начала геометрии // Гуссерль Э. Начала геометрии. Введение Ж. Деррида. М., 1996. С. 210–245.

Гуссерль, 2005 – Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Избр. работы / Сост. В.А. Куренной. М., 2005. С. 185–240.

Касавин, 2005 – Касавин И.Т. Эпистемология и историческое сознание // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2005. Т. 5. № 1. С. 5–14.

Lecourt, 2016 – Lecourt D. Georges Canguilhem. 2-ème éd. P.: PUF, 2016. 128 p.

References

Husserl E. “Nachala geometrii” [The Origins of Geometry], in: Husserl E. *Nachala geometrii. Vvedenie Derrida* [The Origins of Geometry. Introduction by J. Derrida]. Moscow: Ad Marginem, 1996, pp. 210–245. (In Russian)

Husserl E. “Filosofiya kak strogaya nauka” [Philosophy as Rigorous Science], in: Husserl E. *Izbrannye raboty* [Selected works]. Moscow, 2005, pp. 185–240. (In Russian)

Kasavin I.T. “Epistemologiya i istoricheskoe soznanie” [Epistemology and historical consciousness], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2005, vol. 5, no. 1, pp. 5–14. (In Russian)

Lecourt D. *Georges Canguilhem*. 2-ème éd. P.: PUF, 2016. 128 pp.

СТОИТ ЛИ МЫСЛИТЬ НАУКУ ВНЕ ИСТОРИИ?*

Столярова Ольга Евгеньевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail: olgastoliarova@gmail.com

Анализируются два модуса исторического подхода к науке, которые Л.В. Шиповалова обозначила как «непроблематичный» и «безжалостный». Показано, во-первых, что эпистемология неизбежно становится исторической, когда обращается к науке, потому что исторический подход соответствует самому ее предмету – науке. Во-вторых, показано, что связь между «непроблематичной» и «безжалостной» историчностью можно рассматривать как связь «тождественного» и «иного» в онтологической концепции истории науки Эмиля Мейерсона.

Ключевые слова: история и философия науки, историческая эпистемология, логический позитивизм, научные революции, историзм

SHOULD WE CONCEIVE SCIENCE OUTSIDE THE HISTORY?

Olga Stoliarova – PhD in Philosophy, senior research fellow. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation; e-mail: olgastoliarova@gmail.com

This paper analyzes the two modes of historical approach to science which L.V. Shipovalova puts as “unproblematic” and “ruthless”. First, it is shown that epistemology inevitably becomes historical when it addresses itself to science, because a historical approach meets the demands of the subject (science). Second, it is shown that the relationship between “unproblematic” and “ruthless” historicisms can be considered as the relationship between “identity” and “difference” as this relationship is presented in Émile Meyerson’s doctrine of ontological history of science.

Keywords: history and philosophy of science, historical epistemology, logical positivism, scientific revolutions, historicism

Открытая Л.В. Шиповаловой на страницах журнала дискуссия по проблемам исторической эпистемологии имеет насущный характер. Это не означает, что социогуманитарные науки до сих пор не ставили вопроса об историчности науки и научной рациональности, о культурной обусловленности знания и научного познания. Наоборот, в последние пять-шесть десятилетий эти вопросы были, пожалуй, самими обсуждаемыми. Однако среди безбрежного моря социокультурных и релятивистских подходов, концепций и направлений историческая эпистемология не только не потерялась, но заявила о себе как о сложившейся дисциплине, выстроившей широкую институциональную сеть и вербующей все больше сторонников. При этом львиная доля усилий адептов исторической эпистемологии, среди которых не только философы, но и представители других социогуманитарных, а

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-03-00033 «Эмпирическая метафизика и условия ее возможности».



также естественных, наук, направлена на то, чтобы прояснить теоретические и практические основания этой дисциплины и ответить на вопрос: что же такое историческая эпистемология и в чем секрет ее востребованности [Feest, Sturm, 2011; Nasim, 2013].

В панорамной картине проблематики исторической эпистемологии, которую представила Л.В. Шиповалова, я бы хотела вслед за Ладой Владимировной выделить следующий принципиальный вопрос: стоит ли историческое рассмотрение науки той цены (релятивизма), которую приходится за него платить? Но я сформулирую этот вопрос противоположным образом: стоит ли мыслить науку вне истории и какова цена, которую пришлось бы заплатить за такое рассмотрение? Я говорю: *пришлось бы*, потому что считаю, что вне истории наука никогда и никем из эпистемологов не мыслилась, но при этом я хочу сохранить аксиологическую модальность вопроса, поставленного Ладой Владимировной, модальность, подразумевающую возможность выбора в пользу одной или другой позиции.

Для начала я приведу соображения по поводу первой части моего предыдущего высказывания, а именно, что «вне истории наука никогда никем из эпистемологов не мыслилась». Не ставит ли такое решительное отрицание под вопрос само предприятие *исторической эпистемологии*, которая заявляет о себе как критика *неисторической* (классической) эпистемологии? Классическая эпистемология рассматривает знание «с точки зрения Бога», т. е. как обладающее абсолютными характеристиками (к которым относятся условия, источники, структура, пределы), не зависящими от времени и места. Она занимается логическим, а не фактическим обоснованием знания. Таковы намерения классической эпистемологии, но удалось ли их реализовать в отношении науки, которая, отделившись от философии, стала главным предметом рассмотрения теории познания?

Основатель трансцендентального метода в теории познания Кант начинает с исторического факта появления новой науки (экспериментально-математического естествознания), априорные условия которой он определяет в «Критике чистого разума». Новая наука, вставшая после «быстро совершившейся революции» на «широкий путь» [Кант, 1993, с. 19], находится в начале этого пути, что обещает приращение знаний в будущей истории человечества. Новая наука оправдала обещания и исправно поставляла новые факты и теории до тех пор, пока философы не зафиксировали в первой трети XX в. новую научную революцию, которая опять совершилась *во времени*, как исторический (пусть и растянутый на десятилетия) факт и снова потребовала от философов определить условия своей возможности (опустим для экономии места микро-революции и философскую работу по их осмыслению). Неисторический подход в философии науки и эпистемологии обычно связывают с логическим позитивизмом,



который «стремился к нейтральной системе формул, символике, освобожденной от засорений исторически сложившихся языков» [Карнап, Ган, Нейрат, 2005, с. 17]. Но усилия логического позитивизма были инспирированы именно историей науки и направлены на установление связей между ньютоновской классической механикой, получившей трансцендентальное обоснование в критической философии Канта, и новейшими открытиями в физике и математике (теория относительности, неевклидовы геометрии, теоремы Геделя), которые требовали пересмотра трансцендентальных оснований. Релятивизированные априорные принципы научного познания, изменяющиеся вместе с развитием науки, были сформулированы Рейхенбахом и Карнапом [Friedman, 1999, с. 68–69] с целью сделать *историю* науки предметом рационального осмысления. «Наше понимание логического позитивизма... должно быть фундаментально пересмотрено, когда мы вернем позитивистов в их оригинальный интеллектуальный контекст, контекст революционного развития науки и столь же революционного развития философии того времени» (Friedman, 1999, ch. XV). Когда эпистемология обращается к науке, она неизбежно становится *исторической*. А поскольку наука есть главный предмет ее попечения, она почти без остатка исчерпывается этой проблематикой. Как подчеркивал Поппер, «центральной проблемой эпистемологии *всегда* была и до сих пор остается (курсив мой. – О.С.) проблема роста знания» [Поппер, 2004, с. 15].

Какова могла бы быть цена *неисторического* рассмотрения науки? Для ответа на этот вопрос я сошлюсь на концепцию Э. Мейерсона, одного из основателей французской эпистемологической школы (школы, наследницей которой считает себя современная историческая эпистемология). С точки зрения Мейерсона, развитие науки определяется двумя противоположными тенденциями (началами) – стремлением разума к отождествлению различного (т. е. сведением многообразия ощущений к одним и тем же объектам и структурам) и иррациональностью действительности, которая остается всегда иной по отношению к каждому установленному тождеству и требует новых попыток отождествления. Новые попытки приведения иного к тождественному (приведения добытого посредством индукции к объясняемому посредством дедукции) возникают потому, что исходная формула тождества $A=A$ является не аналитической (чистой тавтологией), а синтетической, включающей в себя иное как возможность (Мейерсон опирается на диалектическую логику Гегеля) [Mejerson, 1991, с. 102–142]. Вследствие диалогического устройства разума, который изначально открыт иному, наука непрерывно занимается заполнением иррациональной бреши между тождественным и действительным, что и составляет историю науки [Мейерсон, 1912]. Невозможность полного отождествления будущего с прошлым, новых фактов с предше-



ствующими теориями, апостериорного с априорным подтверждается, считает Мейерсон, открытой Карно необратимостью термодинамических процессов. Необратимость развития природы объясняет науку как историческое предприятие, изучающее это развитие [Meyerson, 1991, с. 153–155]. Если бы эпистемология помыслила науку вне истории, она не вышла бы за пределы тождественного, за которые наука постоянно выходит. Ценой такого рода рациональности стала бы потеря эпистемологией своего предмета – науки.

Исходя из вышесказанного, я соглашусь с выбором Лады Владимировны в пользу исторического подхода к науке, и я думаю, что этот выбор отвечает самому предмету эпистемологического рассмотрения – науке. Ценность исторической эпистемологии заключается в признании такого положения дел. Отсюда и разгадка ее востребованности в наше время, когда развитие науки (и техники) столь явно умножает ряды нетождественного.

Вопрос, вынесенный Ладой Владимировной в заглавие, касается, однако, не столько истории науки в общем, сколько радикальных форм историзма в отношении науки, которые автор квалифицирует как «безжалостный историзм». С точки зрения автора, опасность возникает тогда, когда исторический подход выходит за рамки кумулятивизма, «сохраняющего только внешнее значение многообразия», и «включает в себя дискретность и подвижность оснований научной деятельности». Эта опасность, впрочем, считает автор, успешно компенсируется достоинствами такого подхода.

Я думаю, что связь между двумя видами историзма – «непроблематичным» и «безжалостным» – такая же, как между двумя противоположными тенденциями развития науки, выделенными Мейерсоном. Стремление удержать историю науки под контролем разума равносильно приведению иного к тождественному, а иррациональный зазор, который остается после дедуктивного объяснения индуктивно добываемых историками сведений, выражает сопротивление исторической реальности рациональному закону тождества. Вновь и вновь возобновляемое преодоление этого сопротивления обеспечивает движение мысли и развитие эпистемологических теорий. Поэтому, я полагаю, что Лада Владимировна права в том, что ««безжалостный историзм» – источник энергии для эпистемологии», и хочу добавить, следуя Мейерсону, что этот источник питается из источника историчности науки, который, в свою очередь, питается из источника историчности природы.



Список литературы

- Кант, 1993 – *Кант И.* Критика чистого разума. СПб.: Тайм-Аут, 1993. 477 с.
- Карнап, Ган, Нейрат, 2005 – *Карнап Р., Ган Г., Нейрат О.* Научное миропонимание – Венский кружок // Логос. 2005. Т. 47. № 2. С. 13–26.
- Мейерсон, 1912 – *Мейерсон Э.* Тождественность и действительность. Опыт теории естествознания как введение в метафизику. СПб.: Шиповник, 2012. 498 с.
- Поппер, 2004 – *Поппер К.* Логика научного исследования. М.: Республика, 2004. 447 с.
- Feest, Sturm, 2011 – *Feest U., Sturm T.* What (Good) Is Historical Epistemology? // *Erkenntnis*. 2011. Vol. 75. No. 3. P. 285–302.
- Friedman, 1999 – *Friedman M.* Reconsidering Logical Positivism. N. Y.: Cambridge University Press, 1999. 276 p.
- Meyerson, 1991 – *Meyerson É.* Explanation in the Sciences // *Boston Studies in the Philosophy and History of Science*. Vol. 128. B.: Springer: Science + Media, B.V., 1991. 623 p.
- Nasim, 2013 – *Nasim O.* Was ist historische Epistemologie? // *Nach Feierabend* / Ed. by M. Hagner and C. Hirschi. Zurich; B.: Diaphanes, 2013. P. 123–144.

References

- Feest U., Sturm T. “What (Good) Is Historical Epistemology?”, *Erkenntnis*, 2011, vol. 75, no. 3, pp. 285–302.
- Friedman M. *Reconsidering Logical Positivism*. New York: Cambridge University Press, 1999. 276 pp.
- Kant I. *Kritika chistogo razuma* [Kritik der reinen Vernunft]. Saint Petersburg: “Taym-Aut”, 1993. 477 p. (In Russian)
- Carnap R., Hahn H., Neurath O. “Nauchnoe miroponimanie – Venskiy kruzhok”, [Wissenschaftliche Weltauffassung – Der Wiener Kreis], in: *Logos*, 2005, no. 2 (47), S. 13–26. (In Russian)
- Meyerson É. “Explanation in the Sciences”, *Boston Studies in the Philosophy and History of Science*, Vol. 128. Berlin: Springer: Science + Media, B.V., 1991. 623 pp.
- Meyerson E. *Tozhdestvennost’ i deystvitel’nost’*. *Opyt teorii estestvoznaniya kak vvedenie v metafiziku* [Identité et réalité]. Saint Petersburg: “Shipovnik”, 2012. 498 pp. (In Russian)
- Nasim O. “Was ist historische Epistemologie?”, M. Hagner and C. Hirschi (eds.). *Nach Feierabend*. Zurich, Berlin: Diaphanes, 2013, pp. 123–144. (In German)
- Popper K. *Logika nauchnogo issledovaniya* [The logic of scientific discovery]. Moscow: Respublika, 2004. 447 pp. (In Russian)

О ВОЗМОЖНОСТИ «ПЕРЕГОВОРОВ» В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

Шиповалова Лада Владимировна – доктор философских наук, доцент. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11; e-mail: ladaship@gmail.com

В тексте описывается возможность совместимости позиций участников дискуссии о современном проекте исторической эпистемологии. В качестве одной из значимых проблем этого проекта определяется напряжение между его дескриптивным и нормативным элементом. Выдвигается предположение о философском характере исторической эпистемологии, который не умаляет, но поддерживает историчность мышления науки.

Ключевые слова: многообразие, равенство, рефлексия, автономия

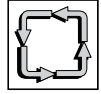
ON THE POSSIBILITY OF “NEGOTIATIONS” IN HISTORICAL EPISTEMOLOGY

Lada Shipovalova – DSc in Philosophy, assistant professor. Saint Petersburg State University. 11 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg, 199034, Russia; e-mail: ladaship@gmail.com

This paper describes the possible compatibility of positions of the discussion participants on the current project of historical epistemology. The tension between descriptive and normative elements of this project is determined as one of the most important issue. I make an assumption of a philosophical nature of historical epistemology that does not detract from, but supports the historicity of thinking science.

Keywords: diversity, equality, reflection, autonomy

Мои уважаемые оппоненты в своих комментариях очертили поле и отметили несколько значимых пунктов исторической эпистемологии, определяющих ее собственные актуальные задачи. Это и нелинейность мышления историков, обращающихся к микродинамике научной деятельности (И.С. Дмитриев), и закономерность отхода от вне-исторического мышления оснований науки (Н.И. Кузнецова, О.Е. Столярова), и эпистемическое значение провоцирующего научное мышление «иногое» (О.Е. Столярова), и стремление обнаружить инвариантное в многообразии материала научных практик (Т.А. Вархотов). Может создаться впечатление, что это поле распадается, подчиненное различным установкам. С одной стороны – необходимой чувствительности к амбивалентному, многообразному в научной деятельности, что задает направление движения в сторону «безжалостного историзма». С другой стороны – стремлению удержаться в «непроблематичном историзме», либо сохраняя «нейтральную» дескриптивную позицию, о которой пишет Наталья Ивановна, либо, утверждая возможность выстраивать иерархию познавательных отношений, на которой настаивает Тарас Александрович.



Само разнообразие точек зрения участников дискуссии, на мой взгляд, адекватным образом определяет историческую эпистемологию. Мне хотелось бы показать, что возможны «переговоры» между этими позициями, *равная* значимость которых должна быть признана. Равенство различных позиций, к которому подозрительно относится Тарас Александрович, разделяя эту подозрительность с представителями эпистемологического реализма, означает для меня одно: отсутствие априорных предпочтений и стремление услышать Другого. Однако релятивизм, предполагающий признание такого равенства, следует рассматривать как вызов и провокацию, но не как последний пункт исследований. Ответ на этот вызов - не выбор одной правильной установки, но попытка сборки их всех. Сборки, которая не исключает ни появления новых возражений, ни возможности последующих «пересборок». Это так, поскольку в исторической эпистемологии, выступающей против вневременного характера всякой нормы и всякой истины никакая позиция, определяющая условия сборки, не является окончательной. В признании этого моя точка зрения отчасти совпадает с той, которую обнаруживает Е.И. Шашлова¹. В противном случае, речь бы шла только о логике, но не о мышлении.

Хотелось бы поддержать тезис Ольги Евгеньевны о том, что историческая эпистемология выявляет существенную черту бытия науки – заполнение «бреши между тождественным и действительным», а также близкий ему по духу тезис Игоря Сергеевича о том, что установки релятивизма и реализма дополняют друг друга и уместны в разные периоды развития науки. То есть совсем не обязательно, более того, не желательно ограничивать позиции «представителей конкретных наук» только реализмом и стремлением к «тождественному». Конечно, если мы признаем, что представители конкретных наук не только решают задачи, но работают с проблемами².

Необходимо согласиться также с принципиальным значением проблемы, обозначенной Натальей Ивановной: напряжение между нормативным и дескриптивным элементом исторической эпистемологии. Действительно, этот проект по преимуществу настаивает на дескриптивном характере собственных задач, отличающих его от философии науки, определяющей требования, предъявляемые к научному знанию. Причем этот характер историческая эпистемология обнаруживает в отношении не только к своему предмету – науке в ее истории, но и к самой себе. Следует, однако, признать, что научное

¹ Однако исторический характер норм не значит их отрицания. Так, Л. Дастон и П. Галисон делают своим предметом «эпистемические добродетели» или «нормы знания», которые могут возникать и со временем уходить из очевидности, сменяясь другими [Daston, Galison, 2010, p. 41].

² О близости некоторых тезисов А. Эйнштейна «релятивистской» позиции Т. Куна и П. Фейрабенда см. [Oberheim, 2016].



описание, так же как и описание науки как «предмета исследования», всегда нагружено – определенная установка задает выбор фактов, констелляцию образов, способ установления связей и разрывов. То есть нормативность всегда присутствует в работе эпистемолога, даже если он противопоставляет себя философу. Подчеркивая собственную задачу дескрипции, историческая эпистемология порой оставляет без внимания рефлексии по поводу собственной нормативности³. Представляется, что такая рефлексия, исторически определенный ответ на вопросы «что делать?» и «зачем делать?» не должна быть упущена. Именно она обнаруживает философскую составляющую исторической эпистемологии и делает ее мышлением, а не только описанием.

Казалось бы, отвечая на эти вопросы, необходимо выстраивать иерархию познавательных отношений. Казалось бы, работа продуктивного воображения исторической эпистемологии, поставляющего многообразный материал научных практик, неизбежно приводит к обнаружению инвариантного смысла предметности. С одной стороны, следует согласиться с Тарасом Александровичем в том, что стремление к единству и поиск универсалий неустраним из научного познания и может определять проект исторической эпистемологии. Не следует преуменьшать значение «тождественного» в ущерб вниманию к «иному». С другой стороны, следует подчеркнуть одну существенную альтернативу – можно полагать истину уже существующей и открываемой или же считать ее собираемой и конструируемой, не без участия всех потенциальных участников события научного познания, в том числе познаваемой природы и общества. Если историческая эпистемология, по своей сути, лишает любую истину и норму ее вечного статуса, то событие «создания относительных универсалий», о котором пишет Латур, остается всегда открытым, причем не только возобновляющимся верификациям, но и возможным конструктивным фальсификациям и, следовательно, трансформациям того истинного смысла предметности, который на первый взгляд казался установленным окончательно. Более того, поскольку «тождественное» разума порой оказывается агрессивно диктующим норму, я полагаю более значимой защиту «иного».

Эта защита, отчасти, определяет и метод – выстраивание переговоров. Именно потому необходимо, как это верно подмечает в моем тексте Екатерина Игоревна, обращаться к широкому контексту традиции, даже когда мы говорим о ее узком смысле. Современная историческая эпистемология в том узком смысле, который я проясняла в

³ Так, М. Куш, обращаясь к дескрипции многообразия понимания научных ценностей в работе Л. Дастон и П. Галисона, отмечает отсутствие выраженной рефлексии относительно их собственного «способа смотреть». Несложно обнаружить, что главной ценностью для самих авторов является «верность природе», утверждает М. Куш, однако причины этого остаются не проясненными [Kusch, 2011, p. 487].



начале первого текста, ищет и находит собственную связь, например с философией М. Хайдеггера, французской исторической эпистемологией, герменевтикой и постпозитивизмом. Потому и мы, раскрывая этот смысл, не можем не учитывать его контекста. Не только и не столько противопоставление позиций, сколько привлечение союзников и обнаружение совместимости взглядов дает силу.

В завершении этого текста, но не в завершении работы над определением проблематического статуса исторической эпистемологии хотелось бы отметить следующее. Мы, конечно, далеки от реализации «платоновско-кантовского» идеала мира под управлением философов. Однако если мы будем отказывать этой идее в регулятивном применении, другие будут управлять нами, и философия в форме исторического мышления науки утратит право на автономию, а значит и на саму себя.

Список литературы

Kusch, 2011 – *Kusch M.* Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three Desiderata for Historical Epistemologies // *Erkenntnis*. 2011. Vol. 75. No. 3. P. 483–489.

Oberheim, 2016 – *Oberheim E.* Rediscovering Einstein’s legacy: How Einstein anticipates Kuhn and Feyerabend on the nature of science // *Studies in History and Philosophy of Science*. 2016. No. 57. P. 17–26.

Daston, Galison, 2010 – *Daston L., Galison P.* Objectivity. N. Y.: Zone Books, 2010. 501 p.

References

Kusch M. “Reflexivity, Relativism, Microhistory: Three Desiderata for Historical Epistemologies”, *Erkenntnis*, 2011, vol. 75, no. 3, pp. 483–489.

Oberheim E. “Rediscovering Einstein’s legacy: How Einstein anticipates Kuhn and Feyerabend on the nature of science”, *Studies in History and Philosophy of Science*, 2016, no. 57, pp. 17–26.

Daston L., Galison P. *Objectivity*. New York: Zone Books, 2010. 501 pp.

ON THE SOCIOCULTURAL BODY OF KNOWLEDGE. ASPECTS OF A PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO THE SOCIAL PHILOSOPHY OF SCIENCE*

Walter Schweidler – PhD
in Philosophy, professor.
Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt. 26
Ostenstraße, 85072 Eichstätt,
Germany; e-mail: walter.
schweidler@ku.de



The author defends the anti-representationalist claim that the formation of the proper names (and as a consequence – scientific terms or notions) cannot happen through certain ostensive pointing at some objects given here and now (like in B. Russell's theory) or through perceptions which are generalized inductively or by means of Kantian apperception or Anschauung. In order to answer the question about the concepts formation we have to take into account the historical and socio-cultural background of the genesis of proper names which form the foundation and boundary of all classifications including the scientific ones. The author claims that there is an important difference between a personal belief or propositional knowledge and some implicit or background knowledge of the language community in its historical development. The first one could be evaluated on its truth / falseness. The second one however – being the foundation for the first one – cannot be evaluated in this manner. It simply is as it is.

Keywords: anti-representationism, proper names, language community, knowledge

О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ТЕЛЕ ЗНАНИЯ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Вальтер Швайдлер – доктор
философии, профессор.
Католический университет
Айхштет-Ингольштадт. 26
Ostenstraße, 85072 Айхштет,
Германия; e-mail: walter.
schweidler@ku.de

Автор разделяет антирепрезентационистское убеждение, согласно которому формирование имен собственных (равно как и научных терминов и понятий) невозможно расселовским путем оstenсивного указания на какие-либо объекты, данные здесь и сейчас, или через обобщение восприятий по принципу кантовской апперцепции. Исследование генезиса понятий требует учета исторических и социокультурных условий их формирования. Автор полагает, что существует важное различие между личным убеждением, или пропозициональным знанием, и некоторым фоновым знанием языкового сообщества, существующем на определенном историческом этапе его развития. Если первая разновидность знания может быть оценена на предмет своей истинности или ложности, то вторая, находясь в основании первой, не подлежит подобной оценке.

Ключевые слова: антирепрезентационизм, имена собственные, языковое сообщество, знание

* Статья написана при поддержке РФФИ, проект № 15-03-00872 «Языковые универсалии в построении картины мира человека», а также РФФИ, проект № 14-03-00811, «Эволюционно-биологические, системно-теоретические и формально-логические основы теории коммуникации».



Implicit knowledge and the ground of truth

Whoever claims to work on the social philosophy of science will have to face the objection that he is directing our attention to a historical perspective which may open a more or less interesting field of research, but which is fruitless when we deal with the logical problems of the discovery and justification of scientific knowledge. Kuhn's figure of "normal science" and the constructivist position of Goodman in his "Fact, Fiction, and Forecast" [Goodman, 1983] may be seen as examples for such immense conceptual challenges, which were to a certain degree dismissed by the mainstream of Philosophy of Science by pushing them away from the logical into the historical perspective. It is therefore highly important to start the sociocultural reflection of science at a level on which the connection between the logical and the historical perspective is obvious. One important example for the work at this level is Kripke's theory of proper names as *rigid designators*, i.e. as expressions which get their reference to the objects they designate not by any kind of description they stand for, but by their connection to the original act of giving the name to the singular object to which they refer and to which we refer by means of them [Kripke, 1991]. It is this original act by which a person is "called" by her name which fixes the reference of that name, and it is our repetition of that original act when we refer to that person by her name: "whatever this relation of calling is", according to Kripke, "really what determines the reference and not any description" [Kripke, 1991, p. 70] by which the name could possibly be replaced. In order to characterize that relation, Kripke spoke of an act of "initial baptism" and a "chain of communication" that reaches from the baptizing act up to our use of the name.

To point out the relevance of this well-known position for our context, I have at first to remind us of the critical aspect of Kripke's analysis. It was especially Russell's theory of proper names as abbreviations of descriptions that Kripke opposed by his view of rigid designation. For our context, it is one presupposition of that Russellian position which is of genuine importance. We can call that presupposition the "representationalist" view of the designating power of our expressions. What I mean by that is simply that for Russell that designating power is logically grounded in a momentary situation which connects the consciousness of a speaking subject with the object of his speaking which is in the world out there; the world is represented by him here and now, in the moment of speaking. Russell claimed therefore that the only pure proper names of our language have to be found in the demonstrative pronouns "this" and "that" when they are used in a situation of the subject's pointing at the actually present object to which he refers. What Russell neglects when he in this model postulates a logical relation between our ordinary "names" and these instruments of immediate



pointing is exactly the historical background that leads back to a past event through which the name of somebody was given to him, an event that is not represented in any psychological or logical sense, but *repeated* in our use of a name.

What makes that opposition to the “representationalist” view of reference especially important for the issue of a social philosophy of science is, however, the second step: Kripke applied the “baptism” theory of proper names to our terms for natural kinds as the second and extremely important example of “rigid designators”¹. When we use a term as a designator of a natural kind, e.g. gold, we “as part of community of speakers have a certain connection between ourselves and a certain kind of thing. The kind of thing is *thought* to have certain identifying marks”. But, even if the identifying marks of such a thing change radically, if, e.g., we would discover some day that it is only an optical illusion that causes mankind to perceive gold as a yellow metal and that its colour is actually blue, we would not say that gold does not exist; we would say that gold is different from what we thought it to be. The reference of the term “gold” is not fixed by any set of descriptions which the term stands for, but by the initial grounding act of our connection to gold by calling it “gold”. Therefore, according to Kripke, the decisive line by which we are connected linguistically with the world is not an ideal logical transition line between our everyday use of names or terms for natural kinds and a largely fictional act of immediate pointing at some present thing, but it is the line that leads us back through the history of our speaking community to the initial event of grounding it, and thereby our own, contact with the world. And, of course, the “initial baptism” is an event which we neither can remember nor revise nor correct because we cannot judge it by any categories of “true” and “false”. For us, to know how to use our terms for natural kinds means to have acquired our society’s implicit knowledge about the world’s structure which is constitutive for its composition of species and other kinds of entities. It is implicit knowledge that can be characterized, as Polanyi did in his *Tacit Dimension* [Polanyi, 1966], as “tacit knowing”: we can know more than we can tell². It is exactly the historical dimension which justifies such a characterization: by this implicit knowledge we are ahead of everything what we can tell here and now as we are behind of everything that could be corrected by any actual discovery; the word “we” here refers to a sociocultural entity which is essentially and necessarily reaching back behind and ahead of our individual existence. It is that entity which constitutes the kind of contiguity by which our speaking and thinking keeps us in touch with the world. And it is the relation of our personal existence to that entity which makes the genuine difference between such implicit knowledge and any personal

¹ “According to the view I advocate, then, terms for natural kinds are much closer to proper names than is ordinarily supposed” [Kripke, 1991, p. 127].

² Cf.: [Davies, 2001].



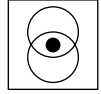
state of belief: as we do when we claim explicit knowledge, when we speak of our belief we refer to an act with a propositional content that can and must be true or false. Implicit knowledge, however, gives us the connection to that ground of language and thinking of which Wittgenstein said in *On Certainty*: “If the true is what is grounded, then the ground is not *true*, nor yet false” [Wittgenstein, 1971, § 205]. Implicit knowledge is the cognitive basis of that “picture of the world” which, according to Wittgenstein, “I did not get... by satisfying myself of its correctness; nor do I have it because I am satisfied of its correctness. No: it is the inherited background by which I distinguish between true and false” [Wittgenstein, 1971, § 94]. For our context, it is of special importance to understand the sense in which in this phrase Wittgenstein uses the sociocultural term “inherited”. This will bring us to what we can call a sociocultural body of knowledge as the genuine connecting element of the logical and the historical component of scientific thinking.

Implicit knowledge and symbolic life

In order to do this we must follow a much recommendable demand which Roger C. Poole formulated when commenting on analogies between some passages of Lévi-Strauss and “the problems that Wittgenstein was wrestling with all by himself in a different milieu of thought, and regret that English philosophy has never thought it worth while to examine the immense richness of structural linguistics and structural anthropology for a possible set of solutions to Wittgenstein’s hermetically sealed-off problems...” [Poole, 1966, p. 530]. This demand should be considered not only with regard to Wittgenstein. Ten years before Kripke’s *Naming and Necessity*, it had been Lévi-Strauss who in *The Savage Mind* anticipated the same critical perspective on the representationalist view of our linguistic connection with the world and gave a considerably deeper reconstruction of the link between the sociocultural practice of giving names to persons and things and the structure of the world to which we refer in our terms for natural kinds. In one of the most central chapters of the book, “The Individual as a Species”, Lévi-Strauss follows the way in which a “savage” society manages to establish the original connection between natural kinds and proper names. This way is based on the continuity between the signification of natural entities and its transformation into the names of the society’s individual members. In this we find an act of transformation which presupposes, but also transcends, the logical aspect of signification: “all the members of the species *Homo sapiens* are logically comparable to the members of any other animal or plant species. However, social life effects a strange transformation in this system, for it encourages each biological



individual to develop a personality; and this is a notion no longer recalling specimens within a variety but rather types of varieties or of species, probably not found in nature...” [Lévi-Strauss, 1966, p. 214]. In our context we cannot go into the question about the ontological nature of that development of personality; what counts for us is that, according to Lévi-Strauss, the decisive source which allows the society to make that transformation is the available stock of designations of natural kinds which it takes and exploits as a natural reservoir of the genuine cultural task to classify and organize the positions of its members within the social system. The endpoints of that work of classification are the proper names given to its members. “From a formal point of view”, according to Lévi-Strauss, “there is thus no fundamental difference between the zoologist or the botanist who allots a recently discovered plant the position *Elephantopus spicatus*... and the Omaha priest who defines the social paradigms of a new member of the group by conferring the available name *Old-bison’s-worn-hoof* on him. They know what they are doing in both cases” [Lévi-Strauss, 1966, p. 214], and the kind of “knowledge” which they practice by their actions is directed by the system of transition between natural and cultural structures. The name is implied by the system, and the necessity of the system is inherited from – not at all caused by – the natural forces which form the relations between individuals and their species. That means, however, that the connecting principle between natural kinds and proper names is a logical, and at the same time social, capacity which could never be performed by any kind of ostensive pointing in a present moment, namely the capacity of *classification*; “proper names thus form the fringe of a general system of classification: they are both its extension and its limit. When they come on the stage the curtain raises for the last act of the logical performance. But the length of the play and the number of acts are a matter of the civilization, not of the language... To say that a name is perceived as a proper name is to say that it is assigned to a level beyond which no classification is requisite, not absolutely but within a determinate cultural system. Proper names always remain on the margin of classification” [Lévi-Strauss, 1966, p. 214]. And that he did not understand this was, according to Lévi-Strauss, the decisive mistake committed “by Russell...in believing that he had discovered the logical model of proper names in demonstrative pronouns. This amounts in effect to allowing that the act of naming belongs to a continuum in which there is an imperceptible passage from the act of signifying to that of pointing. I hope that I have succeeded in showing that this passage is in fact discontinuous although each culture fixes its thresholds differently” [Lévi-Strauss, 1966, p. 215]. It is the sociocultural community which we belong to and its history that forms the scheme of connection between our speaking and thinking and the objects they allow us to refer to and which is implicit in the whole process within by which we make the difference between the true and false explication of all what we know or believe to know.



When we now, at this point, turn directly to the question why this “anti-representationalist” view of the relation between naming and classification is relevant for the social philosophy of science, we will have to bring in phenomenology. The core of phenomenology consists in the insight that all scientific knowledge is grounded not in any theoretical capacity of the total dissolution of phenomena into conceptual representation but that, on the contrary, the relation of our whole conceptual system of science to the world we live in is rooted in our practical manners and strategies by which we manage to let ourselves be taught by nothing other than the phenomena themselves. The endpoint of the work of classification of nature which we are occupied with in all our scientific descriptions of the world does not consist in any kind of logical deduction, but in the sociocultural practices of taking the given phenomena as irreducible factors of all knowledge. For Lévi-Strauss, it was a clear result of anthropological research that the astonishing ability of “savage” societies to classify the zoological and botanical species of their natural environment was rooted in the strictly ruled forms of naming and description in which a tribe organized the process of the original designation of any natural phenomenon. [Lévi-Strauss, 1966, p. 44]. To me it seems obvious that the decisive point of Wittgenstein’s “paradox of rule following” consists in the insight that the rules we are following in our linguistic contact with the world can never be found in any momentary sphere of present, actual representation of external objects in an individual subject, because these rules are embedded in the historical background of our speaking community and in the implicit knowledge about the world which is always already contained in our forms of immediate perception. It would be a very important project of the social philosophy of science to investigate this connection. In our context I cannot do that and will turn into another direction.

I will just remind us of the very important concept by which Ernst Cassirer in his “Phenomenology of Knowledge” [Cassirer, 1957] marked the substance of the relation between explicit and implicit knowledge as the condition of the unity of our living experience, namely the concept of “symbolic pregnancy”. In the development of that concept, Cassirer referred explicitly to Paul Natorp who in his *Allgemeine Psychologie* had directed his attention to the aspect of implicit knowledge embedded in language: “[I]n their vocabulary, their syntactical relations, in each and every one of their components, the highly developed languages contain an inexhaustible treasure of primitive cognitions. ... Cognitions, hence objectifications, which, within the limits of their own purpose, are scarcely inferior in sharpness and pregnancy to those of science” [Natorp, 1912, p. 91]. In his own analysis of this constellation, Cassirer shaped his concept of “symbolic pregnancy” in a way which can be read as the genuine answer to our question about the meaning in which Wittgenstein spoke of the “inherited” picture of our world. “By symbolic pregnancy”, states Cassirer, we mean



the way in which a perception as a sensory experience contains at the same time a certain nonintuitive meaning which it immediately and concretely represents. Here we are not dealing with bare perceptive data, on which some sort of apperceptive acts are later grafted, through which they are interpreted, judged, transformed. Rather, it is the perception itself which by virtue of its own immanent organization, takes on a kind of spiritual articulation – which, being ordered in itself, also belongs to a determinate order of meaning. In its full actuality, its living totality, it is at the same time a life ‘in’ meaning. It is not only subsequently received into this sphere but is, one might say, born into it” [Cassirer, Manheim, 1970, p. 202]. In order to understand this concept of “symbolic pregnance” it is absolutely decisive to see that for Cassirer the reference to the organic life here is essentially not a metaphorical one. What comes in here is the counterpoint of metaphoric speech, the specific symbolic relation which Cassirer took from Goethe and which is the key to almost all the substance of his phenomenology of knowledge: *metonymy* [Schweidler, 2014, p. 9-50]. What we can learn from Cassirer even more than from Wittgenstein or Lévi-Strauss is the crucial importance which the metonymic relation has for the social philosophy of science. This relation is not the one by which a present act of perception connects the perceiving subject and the perceived object but it is the relation by which this singular momentary act let us recognize the specific *kind or the type of intuition into the world* which is reinstated in this actual moment. “The problem of representation and the building of the intuitive world”: This is the title of the fundamental chapter which Cassirer in the *Phenomenology of Knowledge* has placed before the analysis of the structures of scientific reasoning. For him the “intuitive world” is, in contrast to Husserl’s “Lebenswelt”, not a complement to our scientific world view but rather the symbolic reverse of any perception on which our forming of this world view is based; it is, similar to Natorp’s “primitive cognitions”, an inexplicable system of orientation that forms a whole, a unity of implicit knowledge which we will never fully understand but which is embedded in our language so that we *recognize* it through our perceptions. “This act of recognition is necessarily bound up with the function of representation and presupposes it. Only where we succeed, as it were, in compressing a total phenomenon into one of its factors, in concentrating it symbolically, in ‘having’ it in a state of ‘pregnance’ in the particular factor—only then do we raise it out of the stream of temporal change; only then does its existence, which had hitherto seemed confined to a single moment in time, gain a kind of permanence: for only then does it become possible to find again in the simple, as it were, punctual ‘here’ and ‘now’ of present experience a ‘not-here’ and a ‘not-now’. Everything that we call the identity of concepts and significations, or the constancy of things and attributes, is rooted in this fundamental act of finding-again. Thus it is a common function which makes possible, on the one hand, language, and



on the other hand, the specific articulation of the intuitive world. The question of whether the articulation of the intuitive world must be conceived as preceding or following the genesis of articulated language the question of whether the first is the cause or the effect of the second—must here be regarded as falsely formulated. What can be demonstrated is no ‘earlier’ or ‘later’ but only the inner relationship subsisting between the two fundamental forms and trends of spiritual articulation” [Schweidler, 2014, p. 114]. I think that we can read this long methodological passage as the key to the understanding of a metonymical relation between the individual and the life of the sociocultural community by which science receives the irreducible basis which Cassirer calls “the intuitive world” and which we found marked by Wittgenstein as the “inherited” picture of the world as the framework of any search for truth. So, the notion of metonymy can direct our attention to the relation between *biological* and *symbolic life* as a key for the task of a social philosophy of science.

Implicit knowledge and indirect communication

With the topic of the “intuitive world” and the specific role that names play within the transformation process between our momentary perceptions and the act of recognition, i.e. the kind of memory of an inexplicable whole they stand for, we are not very far from the most famous and most philosophical passages of Proust’s *Recherche du temps perdu*. In the immortal “madeleine” episode or in his reference to the “Celtic belief”, according to which the souls of the ones we have lost are waiting for us to recognize them in some concrete singular object of perception, Proust pointed out in the most concentrated form the grounding thesis of his work: that our access to the world we live in is essentially only the one part of a dialogue in which we answer the implicit messages that are directed to us through the symbolic forms in which we need to explicate that access. There are at least two crucial insights revealed in this famous literary vision which, from a phenomenological point of view, should be of highest orientating power for a social philosophy of science. The first is that knowledge is never the static result of a one sided enterprise of discovery, as if an expedition into unknown areas had returned with the trophies which we now possess as the composing parts of our picture of the world; knowledge essentially contains a process of indirect communication with that world into which we have entered and through which we are led by that which it gave and gives us to “know”. And the second is that, if I may speak metaphorically for a moment, the picture of the world which we draw from our knowledge is a picture which inevitably must be painted by us, that is to say: it is a product of our body and its



acquired abilities and therefore a witness of the forms of life that we, as bodily beings, have inherited from the sociocultural community from which we stem.

I can only indicate the implications of and the connection between these principal insights by a short reference to the great author who, in his ontology of knowledge, has pointed them out as the deepest philosophical guidelines of scientific research: Maurice Merleau-Ponty. From him we learn that it is our body which is at the same time the element of our communication with the others who belong to our speaking community and the indirect communication with the world. As he writes in the *Phenomenology of Perception*: “The communication or comprehension of gestures comes about through the reciprocity of my intentions and the gestures of others, of my gestures and intentions discernible in the conduct of other people. It is as if the other person’s intention inhabited my body and mine his... Communication is achieved when my conduct identifies this path with his own. There is mutual confirmation between myself and others” [Merleau-Ponty, 1962, p. 185]. And more general: “It is through my body that I understand other people, just as it is through my body that I perceive ‘things’” [Merleau-Ponty, 1962, p. 186]. In *The Visible and the Invisible* he refers to Bergson with the thesis that “my body extends to the stars” and he characterizes the reciprocity of body and world with expressions as “reversibility”, “Chiasma”, “reduplication of body and things” and even “promiscuity” [Schweidler, 2008, p. 305–342]. And the element which allows and constitutes the indirect communication of the world and our bodies is time: The subject and the object of “representation” are endpoints of a process. “The chiasm is not only a me other exchange (the messages he receives reach me, the messages I receive reach him), it is also an exchange between me and the world, between the phenomenal body and the “objective” body, between the perceiving and the perceived: what begins as a thing ends as consciousness of the thing, what begins as a “state of consciousness” ends as a thing” [Merleau-Ponty, 1968, p. 215]. And the time in which this process happens is not an abstract or ideal medium, it is the time of *lives*, or the symbolic life as that time is incorporated in my body and opens my eyes for the meaning of all being which is always going behind and ahead of what is directly represented in the present moment. For my present consciousness the eye through which I enter the world remains essentially a *punctum caecum*, a blind spot: “*What* it does not see it does not see for reasons of principle, it is because it is consciousness that it does not see. *What* it does not see is what in it prepares the vision of the rest (as the retina is blind at the point where the fibers that will permit the vision spread out into it). *What* it does not see is what makes it see, is its tie to Being, is its corporeity, are the existentials by which the world becomes visible, is the flesh wherein the object is born” [Merleau-Ponty, 1968, p. 248].



The concept of “flesh” (*la chair*) which Merleau-Ponty uses here as the natural *pendant* to his thesis of the “incarnation” of the world in our bodies as the constitutive process for what we call knowledge can be of key importance for the understanding of a social philosophy of science as the *systematic reflection of the metonymical relation between scientific thinking and the sociocultural body as its ground*. It is crucial to understand the non-metaphorical, but metonymic, sense in which Merleau-Ponty speaks of the “flesh of time” [Merleau-Ponty, 1968, p. 111] that connects organically the surface of our present perception with the history of the speaking community from which we have inherited our forms of symbolic representation of the world to which we belong. If we regard the organic exchange between our knowledge and the world as a way of indirect communication about the ground from which we receive the message of the world which we have to *interpret, not to replace* by the truths we search for in science, then we can understand that the scientific community will find the rules which constitute and legitimize our claim to “be to the world” (*être au monde*) not primarily as meta-principles or causal laws behind the phenomena, but rather as largely *practical* and to a certain degree *ethical* guidelines of the care for the organic unity of the sociocultural body as the metonym of the much greater body of a mankind from which it is still encompassed. The rules which allow and force us to represent within our knowledge its implicit ground may then turn out essentially as rules by which the scientific community has to understand itself as the institution which has been appointed by a necessarily particular sociocultural community as guardian of that community’s responsibility to mankind as the incarnation of truth in the world. The understanding of that metonymical relation between the scientific community and the human “Dasein” can then be even a key to the highly paradoxical but fundamental constellation between truth and humanity which Heidegger has marked in “Being and Time” as follows:

“Dasein... is essentially in the truth... ‘There is’ truth only in so far as Dasein is and so long as Dasein is. Entities are uncovered only when Dasein is; and only as long as Dasein is, are they disclosed. Newton’s laws, the principle of contradiction, any truth whatever – these are true only as long as Dasein is. Before there was any Dasein, there was no truth; nor will there be any after Dasein is no more. For in such a case truth as disclosedness, uncovering, and uncoveredness, *cannot* be. Before Newton’s laws were discovered, they were not ‘true’; it does not follow that they were false, or even that they would become false if ontically no discoveredness were any longer possible [...] To say that before Newton his laws were neither true nor false, cannot signify that before him there were no such entities as have been uncovered and pointed out by those laws. Through Newton the laws became true; and with them, entities became accessible in themselves to Dasein. Once entities have been



uncovered, they show themselves precisely as entities which beforehand already were. Such uncovering is the kind of Being which belongs to ‘truth’” [Heidegger, 1962, p. 269].

Список литературы

- Cassirer, 1957 – *Cassirer E.* The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. II: The phenomenology of Knowledge. New Haven: Yale University Press, 1957. 548 p.
- Cassirer, Manheim, 1970 – *Cassirer E., Manheim R.* The philosophy of symbolic forms. Vol. 3. The phenomenology of knowledge. New Haven: Yale University Press, 1970. 528 p.
- Davies, 2001 – *Davies M.* Knowledge (Explicit and implicit): Philosophical aspects // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 12 / Ed. by N.J. Smelser and P.B. Baltes. Amsterdam: Elsevier Science Ltd., 2001. P. 8126–8132.
- Goodman, 1983 – *Goodman N.* Fact, Fiction, and Forecast. Fourth Edition. N. Y.: Harvard University Press, 1983. 160 p.
- Heidegger, 1962 – *Heidegger M.* Being and Time. N.Y.: Harper & Row, 1962. 529 p.
- Kripke, 1991 – *Kripke S.* Naming and Necessity. N.Y.: Wiley-Blackwell, 1991. 184 p.
- Lévi-Strauss, 1966 – *Lévi-Strauss C.* The Savage Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1966. 310 p.
- Merleau-Ponty, 1962 – *Merleau-Ponty M.* Phenomenology of Perception. L.: Routledge, 1962. 500 p.
- Merleau-Ponty, 1968 – *Merleau-Ponty M.* The Visible and the Invisible (Studies in Phenomenology and Existential Philosophy). Chicago: Northwestern University Press, 1968. 282 p.
- Natorp, 1912 – *Natorp P.* Allgemeine Psychologie in praktischer Hinsicht. Tübingen: Mohr, 1912. 313 p.
- Polanyi, 1966 – *Polanyi M.* The Tacit Dimension. L.: Routledge and Kegan Paul, 1966. 465 p.
- Poole, 1966 – *Poole R.* Indirect Communication. 1. Hegel, Kierkegaard and Sartre // New Blackfriars. 1966. Vol. 47. No. 554. P. 532–541.
- Schweidler, 2008 – *Schweidler W.* Die ontologische Bedeutung des Leibes nach Merleau-Ponty // Schweidler W. Das Uneinholbare. Beiträge zu einer indirekten Metaphysik. Freiburg; München: Alber, 2008. P. 305–342.
- Schweidler, 2014 – Zeichen – Person – Gabe. Metonymie als philosophisches Prinzip / Ed. by W. Schweidler. Freiburg; München: Alber, 2014. 273 p.
- Wittgenstein, 1972 – *Wittgenstein L.* On Certainty (English and German Edition). N.Y.: Harper & Row, 1971. 192 p.



References

- Cassirer E. *The Philosophy of Symbolic Forms, vol. III: The phenomenology of Knowledge*. New Haven: Yale University Press, 1957. 548 pp.
- Cassirer E., Manheim R. *The philosophy of symbolic forms. Vol.3. The phenomenology of knowledge*. New Haven: Yale University Press, 1970. 528 pp.
- Davies M. “Knowledge (Explicit and implicit): Philosophical aspects”, N.J. Smelser and P.B. Baltes (eds.). *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 12*. Amsterdam: Elsevier Science Ltd., 2001, pp. 8126–8132.
- Goodman N. *Fact, Fiction, and Forecast. Fourth Edition*. New York: Harvard University Press, 1983. 160 pp.
- Heidegger M. *Being and Time*. New York: Harper & Row, 1962. 529 pp.
- Kripke S. *Naming and Necessity*. New York: Wiley-Blackwell, 1991. 184 pp.
- Lévi-Strauss C. *The Savage Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1966. 310 pp.
- Merleau-Ponty M. *Phenomenology of Perception*. London: Routledge, 1962. 500 pp.
- Merleau-Ponty M. *The Visible and the Invisible (Studies in Phenomenology and Existential Philosophy)*. Chicago: Northwestern University Press, 1968. 282 pp.
- Natorp P. *Allgemeine Psychologie in praktischer Hinsicht*. Tübingen: Mohr, 1912. 313 pp.
- Polanyi M. *The Tacit Dimension*. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 465 pp.
- Poole R. “Indirect Communication. 1. Hegel, Kierkegaard and Sartre”, *New Blackfriars*, 1966, vol. 47, no. 554, pp. 532–541.
- Schweidler W. “Die ontologische Bedeutung des Leibes nach Merleau-Ponty”, W. Schweidler. *Das Uneinholbare. Beiträge zu einer indirekten Metaphysik*. Freiburg/München: Alber, 2008, pp. 305–342.
- W. Schweidler (ed.). *Zeichen – Person – Gabe. Metonymie als philosophisches Prinzip*. Freiburg/München: Alber, 2014. 273 pp.
- Wittgenstein L. *On Certainty (English and German Edition)*. New York: Harper & Row, 1971. 192 pp.

SOCIAL PHILOSOPHY OF SCIENCE AS THE GUARDIAN OF THE “INCARNATION OF TRUTH IN THE WORLD”*

Alexander Antonovski – DSc in Philosophy, senior research fellow. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation. Assistant professor. Lomonosov Moscow State University. 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; e-mail: antonovski@hotmail.com

In his paper the author establishes some arguments against the thesis of professor Walter Schweidler. The latter defends the anti-representationalist claim that not every kind of knowledge is to evaluate on its truth and falsehood. The author maintains the opposite thesis that the all knowledge including the one about social premises of any kind of science may be evaluated (although not eventually proved) on their truth or falseness.

Keywords: truth, social philosophy of science, representationism, knowledge



СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАК БЛЮСТИТЕЛЬ «ВОПЛОЩЕНИЯ ИСТИНЫ В МИРЕ»

Антоновский Александр Юрьевич – доктор философских наук, старший научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1. Доцент. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Российская Федерация,

В своей статье А.Ю. Антоновский выдвигает ряд тезисов в опровержение аргументации профессора Швайдлера, защищающего антирепрезентационистскую позицию. Последняя состоит в том, что не всякое знание может быть оценено с точки зрения истинности и ложности. Автор отстаивает противоположный тезис: всякое знание, включая то, что касается социальных предпосылок науки, может быть рассмотрено на предмет своей истинности или ложности.

Ключевые слова: истина, социальная философия науки, репрезентативизм, знание

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 15-03-00872 «Языковые универсалии в построении картины мира человека», а также РФФИ, проект № 14-03-00811, «Эволюционно-биологические, системно-теоретические и формально-логические основы теории коммуникации».



119991, Москва, Ленинские
горы, д. 1 e-mail: antonovs-
ki@hotmail.com

Prof. Schweidler has regarded several problems and each of them is highly relevant for the social philosophy of science.

The author defends the anti-representationalist claim that the formation of the proper names (and as a consequence – scientific terms or notions) cannot happen through certain ostensive pointing at some objects given here and now (like in B. Russell's theory or through perceptions which are generalized inductively or by means of Kantian apperception or Anschauung).

Schweidler suggests that in order to answer the question about the concepts formation we have to take into account the historical and socio-cultural background of the genesis of proper names which form the foundation and boundary of all classifications including the scientific ones.

For justification of this general approach Prof. Schweidler brings together several ideas that have to be regarded and evaluated in details.

1. The idea of the implicit knowledge in sense of Polanyi and Wittgenstein

The author claims that there is an important difference between a personal belief or propositional knowledge and some implicit or background knowledge of the language community in its historical development. The first one could be evaluated on its truth/falseness. The second one however – being the foundation for the first one – cannot be evaluated in this manner. It simply is as it is.

What is meant here is probably that some of proper names that were formed once in the past (through the mystic transition from so called “nature kinds” to personal names) now function as our common words and even as scientific concepts.

One question we might ask however is whether that knowledge of names (the historical naming of things in the past) is not the same as notorious analytical judgments of the type “Something is as it is” solely in a slightly modernized form “Something is as it was named”.

If it is so, then we seem to return to the Kantian a priori judgments, and also cannot do without this unloved apperception – although not in the mind but in the history of mind.

I would like to argue against the claim that such background knowledge has to be implicit. The fact of existence of our discussion here in Moscow itself presupposes a possibility of elucidation of the social ground of scientific knowledge.

And Prof. Schweidler could be sure that his reconstruction of such implicit knowledge has been expounded in his contribution sufficiently explicit, and we can evaluate and appreciate it as the true one.



This implicit knowledge undoubtedly exists but I do not see any reasons why it should not share the destiny of any other knowledge.

After all, every contemporary piece of knowledge existed once being realized in its implicit form (say, the water was known as a liquid, soaking and drinkable substance which was once named in some transition from “natural kind”) and now it could be realized explicitly (in its deeper structure) as a chemical formula – H_2O .

Whether it is implicit or not only depends on an observer. A chemist treats her subject matter in explicit form of her true or /false – propositions.

And an epistemologist does the same (also in the form of explicit true or false propositions) when she refers to these sociocultural premises of the knowledge acquiring. Some of these premises could be then evaluated as a useful or harmless, and scientifically valid (true). And the claim of Prof. Schweidler obviously expresses such implicit premise of science that could be formulated explicitly as follows:

The science has its roots in some transition from “natural kinds” by a historical naming of things by some proper names.

So, the social premises of any kind of science may be evaluated (although not eventually proved) on their truth or falseness.

2. Symbolic life and capacity of classification

The author claims that the nature should be regarded as a reservoir of “nature kinds” (“stock of designations”) that serves as a condition of the socio-cultural processes and, at the same time, as a ground for logical process of naming.

But here we locate ourselves onto the level of very uncertain causality. What is the cause and what is the effect? Do some natural kinds (say, the names of animals and plants as the types of things that could be realistically considered for such role) produce the required capacity of classifications? Or does this classificatory capacity, on the contrary, generates these “natural types” – as it was stated in the nominalistic approach?

According to Schweidler and also Levi-Strauss, it is the system of natural classifications that has once determined social hierarchies and development of personality of their members through its symbolic mediation.

But given that we do not have all the required anthropological data why should we not share Emile Durkheim’s view that, just on the contrary, the available social hierarchies (say, system of kinship or neighborhoods or settlements), i.e. available “classification of men”, determines “the classification of things”. In any case, neither the natural kinds nor the social hierarchies could appear without this already existing (even minimal) capacity of classification.



The author also argues that there were some natural forces that ensured logical and also social “connection between natural kinds and proper names” and therefore formed the capacity of classification.

The difficulty here seems to me to be that these natural kinds (as all “ideal types” in sense of M. Weber) are always performed as media of a certain observer. And such an observer uses those means in order to construct her observed objects. The natural kinds as such (birds, mammals, penguins) cannot be found in the nature outside the observing perspectives. The observer cannot simply select such natural kind as the penguin. It should first choose its observing optics i.e. the required instrumental distinctions, for example mammalian/not-mammalian or egg-planting/not egg-planting. Only depending on this choice of an observer the penguin would be constructed as a “natural kind” (say, as a bird or as a mammal).

There is another issue with this idea that I would like to raise. If we remain on the level of “assigning proper names” (as we do, according to the proclaimed idea of sociocultural determination of knowledge), then how could we pay attention to the main scientific task which is to explicate unobserved correlations and generalizations?

How should we explain the reduction of some empirical correlation (say, the laws of the ideal gas with all its everyday-known variables – heat, pressure, volume) to the deeper level of the Kinetic Molecular Theory, some variables of which have no observed correlations in everyday or social-cultural reality?

Such empirical values as heat, pressure, volume could be very well regarded as undoubted consequences of socio-cultural dynamic of a language community. But other basic variables of the molecular theory often have no connections with those language communities whatsoever.

My worry is that this would force Prof. Schweidler to confine his interest to the justification of science at the level of the phenomenal (and not the theoretical) grounds of sciences.

3. Idea of the phenomenal justification of science

The main thesis is as follows: “all scientific knowledge is grounded not in any theoretical capacity of the total dissolution of phenomena”... “but..., on the contrary, the relation of our whole conceptual system of science to the world we live in is rooted in our practical manners and strategies”.

I would have to disagree with this view because the thesis that all scientific knowledge is grounded on the capacity of the theory to do the total dissolution of every phenomenon would be equally correct. What is left of any concrete phenomena in the laws of Newton – except for such qualities as material points with mass, acceleration, position in the space and time?



I agree that naming of things by proper names and resulting taxonomies and descriptions of phenomena form a very important part of the science, and exactly here we could reveal the impact of the language rules of everyday praxis of the language communities. Nevertheless any science in its significant aspects consists of the theoretical praxis of reduction of these phenomena to some unobserved (= not previously named by any historical communities) ideal objects and models that often have nothing in common with everyday images and representations and the language rules.

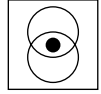
4. Following the language rules as a factor of inclusion into the science community

Schweidler writes: “The rules we are following in our linguistic contact with the world can never be found in ...actual representation of external objects in an individual subject, because these rules are embedded in the historical background of our speaking community and in the implicit knowledge about the world which is always already contained in our forms of immediate perception”.

I would readily agree with the statement that the rules of uses of language expressions should be located and searched in the history of the long and successful application of such words and their meanings. Thus, words like “green”, “plus”, and “water” have a long “track record” in the history of language rules development and can be evaluated as really “entrenched predicates” in sense of Nelson Goodman and as pretty adequate as far as common language rules concern.

This successful “track record” really distinguishes them from some strange words like “grue” (Goodman) and “quus” (Kripke), and “twater” (Putnem) that could be logically correctly used in the language of science instead of traditional “green”, “plus”, and “water”. Here Professor Schweidler has his right to refer to the historical generation of language rules as a social solution of a logical problem.

The difficulty however seems to be that science radically changes the everyday sense of its concepts. The best-known instances of such a transformation are the changed meanings of “space”, “time”, and “matter” in the General Relativity Theory (in comparison to their previous everyday meanings). And secondly, the main interest of the advanced science consists in finding the new rules for applying new concepts. The proclaimed legitimation of these old traditional predicates by means of their social and cultural “rootedness” is very important in discrimination of such “new-comers” as “grue”, “quus”, and “twater”. But this legitimacy refers exclusively to the some framework notions and concepts and by no means to some new and actual scientific knowledge.



5. The idea of the “symbolic pregnancy” of perception (articulation of intuitive world)

According to Schweidler “everything that we call the identity of concepts and significations, or the constancy of things and attributes, is rooted in this fundamental act of finding-again”... in “metonymical relation between the individual and the life of the sociocultural community by which science receives the irreducible basis which Cassirer calls “the intuitive world”.

I cannot agree with the proclaimed availability of the irreducible world as a ground of contemporary science.

There is nothing that science could not reduce to some deeper layers or levels or compounds of reality. Moreover this Metonymy as the manifestation of sociocultural patterns and meanings (symbolic life) and their transition into the human perception (biological life) cannot be an exclusion from this of scientific practice. It is exactly this dissolutive capacity of science that makes it possible to observe things that have no connection with the common human perception and traditional or sociocultural notions.

Thus, for instance we, of course, could still speak about the idea of in-divisible atom as a concept rooted in everyday life, but also in mythical, philosophical and even political images. But how can we maintain that our perception of atom (or rather of its effects on the technical instruments of its observation) could be symbolically mediated by means of social and cultural symbolical forms (Cassirer)? We can only wonder how far the contemporary science (in constructing its objects) withdraws from the capacity of human perception.

6. About means of the indirect communications: the bodyness (Merleau-Ponty) and the truth as aletheia (Heidegger)

“The picture of the world which we draw from our knowledge is a product of our body and its acquired abilities and therefore a witness of the forms of life that we, as bodily beings, have inherited from the sociocultural community from which we stem”- claims Professor Schweidler together with Merleau-Ponty.

Thus (and I would share this view) the body manifests as the principal condition of knowledge and at the same time – as blind spot of the human cognition.

But should we stop here in our searches for such latent premises of cognition? I would add to these invisible communicative tools also the main instrument of communicative construction of science, namely truth



or rather distinction between truth and falsehood as one of latent means of scientific communication (Niklas Luhmann) which in its turn forms the blind spot of science.

The truth is what we are fully entitled to define as a symbolic form which mediates the access to the perceived world in the sense of Cassirer. Precisely this symbolic form (or the selection mechanism) allows us to characterize one piece of knowledge as a new, scientifically relevant, and also worth of communicating in further communication and another one as false, and also worth of rejecting.

I agree with Prof. Schweidler that the truth cannot be considered as the representational fact/judgment-relation. It should be understood purely in terms of constructivism as a symbolic medium of communication, as its implicit symbol (a filter and an evolutionary mechanism for the knowledge selection) and a way of constructing the scientific social system.

However, why should this truth/false-distinction be regarded as an implicit and blind spot of scientific communication? It is so because a regular researcher usually knows pretty well which belief is true but he or she doesn't know what it means to be true. All processed knowledge should be accepted as true per definition and this truth is latent (or *zuhanden* in sense of Heidegger). And solely falsehood, error or mistake could become explicit for the researcher (or *vorhanden* in the Heidegger's sense) because the detected falsehood can trigger some reflexive mechanism of correction of scientific communication. Only now it becomes evident that not all knowledge is true as it was presupposed by the standard ("tripartit") definition of knowledge. So the latent becomes the patent (and *Zuhandenes wird zum Vorhandenen*). And in this sense the truth could be really understood as a-letheia.

Conclusion: Philosophy of Science as a Guardian of Science

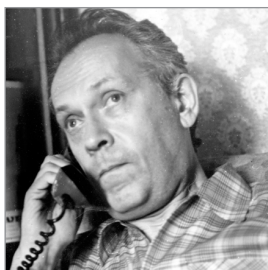
In the last part of Prof. Schweidler's paper he discusses a very interesting idea of the reflexivity of science which is capable to reconstruct the implicit knowledge as its own ground, and eventually to make explicit what once was implicit. It is an institution of special appointment with special responsibility – to follow "the incarnation of truth in the world". It is the social philosophy of science that can be regarded as this special scientific communication observing in its communications this implicit ground of the common scientific communication. It manifests in the function of the "guardian of scientific community". Thus, what is functioning as the blind spot of the science and its implicit ground becomes patent and accessible for this part or subsystem of science.



Nevertheless precisely this approach contradicts the proclaimed requirement to search for historical and sociocultural factors in the contemporary names and concepts of science. It seems to be incompatible with the special status of the contemporary science as a peculiar observer – as a product of the long out-differentiation of the communication of a very special kind that uses its unique tools or the communication media. And that media are not used by any other language community in our society.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЛЯТИВИЗМА

Ракитов Анатолий Ильич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник. Институт научной информации по общественным наукам РАН. Российская Федерация, 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 51/21; e-mail: rakit1@yandex.ru



Проблема рациональности знаний и предметно-практической деятельности особенно широко обсуждалась во второй половине XX и начале XXI в. Особый интерес вызывала научная рациональность. Сторонники концепции постнеклассической науки считают, что она фиксирует не только состояние объективной реальности и предметной практики, но и культурные, исторические и ценностные характеристики человеческой деятельности и ее отражение в эпистемологии и философии науки. В статье оспаривается эта позиция. Автор соглашается с исследователями, скептически относящимися к методологической, социальной, предметно-практической и эпистемологической значимости понятия «рациональность» и к рационализму как ее обоснованию. Структурно четкая, формализованная схема науки и научного исследования в виде эпистемологического квадрата позволяет считать, что более адекватное обоснование структур и процессов научного исследования дают концепции релятивности и релятивизма. На ряде примеров из области естественнонаучного и социального познания автор показывает, что релятивность присуща всем сложным когнитивным системам. В этом отношении релятивизм в широком философском смысле выступает как концепция, подчеркивающая, что знания – от обыденных до научных – содержат в себе большой элемент условности, конвенциональности. Это создает большой простор для свободы выбора научных гипотез, моделей объяснения и предвидения. Релятивизм не приводит автоматически к агностицизму и субъективизму. Он открывает большее пространство для свободы интеллектуального творчества. В этом отношении квалификация философского и эпистемологического релятивизма как опасности для науки неадекватна. Автор считает, что всесторонний анализ эпистемического потенциала релятивизма мог бы стать важным вопросом для широкого обсуждения специалистами в области эпистемологии и философии науки.

Ключевые слова: рациональность, рационализм, эпистемологический квадрат, релятивность, релятивизм

RATIONALITY AND THE REHABILITATION OF RELATIVISM

Anatoliy Rakitov – DSn in Philosophy, chief research fellow. Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science. 51/21 Nakhimovsky Prospekt, Moscow, 117418, Russian Federation; e-mail: rakit1@yandex.ru

The problem of the rationality of knowledge and subject-practical activities were widely discussed in the second half of XX and early XXI century. Special attention was attracted to scientific rationality. Supporters of the concept of *post-non-classical science* consider that it captures not only the status of objective reality and subjective practice, but some cultural, historical and value characteristics of human activity and its reflection in epistemology and philosophy of science. The author aims to challenge this position. He agrees with the researchers who are skeptical concerning methodological, social, subjective, material and epistemological significance of the concept of “rationality”,



and rationalism itself as its basis. The concept of epistemological square suggests structurally clear, formalized scheme of science and scientific research and shows that concepts of relativity and relativism provide as a rule more adequate basis for structures and processes of scientific research. Some examples from natural and social sciences show that relativity inherent to all complex cognitive systems. Relativism in a broad philosophical sense is a concept that emphasizes that knowledge as ordinary as scientific contains a significant element of tradition and conventionality. This creates greater scope for freedom of choice of scientific hypotheses, models of explanation and prediction. Relativism does not automatically lead to agnosticism and subjectivism. On the contrary it opens a greater space for freedom of intellectual creativity. So the qualification of the philosophical and epistemological relativism as a danger for science is inadequate. The author believes that a comprehensive analysis of the epistemic potential of relativism could become an important issue for discussion by experts in the field of epistemology and philosophy of science.

Keywords: rationality, rationalism, epistemological square, relativity, relativism, properties and relations

Единственное, пожалуй, общепризнанное заключение по поводу проблемы рациональности состоит в признании ее дискуссионности.

И.Т. Касавин

Дав своему питомцу порезвиться, дрессировщик из собачьего питомника отдает короткую команду: «Ко мне!». Пес немедленно поворачивается к нему, подбегает справа, обходит вокруг со спины и останавливается слева так, чтобы его грудной киль находился на уровне левого колена дрессировщика. И команда, и ее исполнение точно соответствуют принятым в служебном собаководстве стандартам и правилам. На этом основании человек, наблюдающий за действиями дрессировщика и собаки, может сказать, что и команда дрессировщика, и поведение собаки вполне рациональны. Возможно, он воспользуется термином «разумно», являющимся точным переводом латинского *ratio*. Но каким бы термином ни пользовался наблюдатель, выражения «рациональное поведение», «рациональное действие», «рациональная команда» – означают в данном контексте одно и то же, а именно – что они соответствуют некоторым правилам, стандартам и эталонам деятельности, принятым в определенном сообществе специалистов. В данном случае я выбрал заведомо тривиальный пример. Но в современной литературе по философии науки и эпистемологии термин «рациональность» используется главным образом для оценки и характеристики интеллектуальной и прагматической деятельности профессионалов высшего уровня, ученых, инженеров, политических



деятелей, врачей, юристов, бизнесменов и даже обычных обывателей, принимающих решения и осуществляющих в связи с ними действия, которые маркируются как рациональные или нерациональные, и даже иррациональные, т. е. прямо противоположные рациональным, противоречащие им.

С середины, и особенно со второй половины XX в., человечество вступило на путь непрерывно убыстряющегося научно-технического прогресса (НТП). В конечном счете от него зависит общее благополучие населения Земли в глобальном масштабе. Этот прогресс, как известно, с одной стороны, стимулируется развитием науки и научно-фундированных технологий, а с другой, – сопровождается цепочкой почти непрерывно происходящих экономических, политических и экологических кризисов. Философы, экономисты, политические деятели, социологи и политологи, пытающиеся осмыслить эти процессы, стараются найти алгоритмы оптимальных, сбалансированных, «правильных» решений, которые помогли бы, сохраняя позитивные последствия НТП, избавиться от его негативных последствий. Здесь коренится источник острого интереса философствующей братии к проблеме рациональности. Этим термином обычно маркируют все «хорошее», удачное, целесообразное, соответствующее желаниям и намерениям тех, кто принимает то или иное решение. Термином «нерациональное» маркируют то, что индифферентно по отношению к целям, намерениям и желаниям лиц или групп, принимающих соответствующее решение. И, наконец, термином «иррациональное» обозначают то, что несовместимо с ожидаемым рациональным результатом, противоречит ему и исключает всякую рациональность. При этом главное внимание уделяется проблемам научной рациональности, так как именно ускоренное развитие науки является главным стимулятором НТП.

Любая наука представляет собой систему особым образом построенных знаний, предназначенных для решения определенных проблем. Научное исследование есть деятельность, результатом которой является создание этих знаний. Любая научная дисциплина имеет четырехкомпонентную структуру и образует, если воспользоваться графической аналогией, «эпистемологический квадрат» [Ракитов, 2016]. Для того чтобы читатель мог наглядно представить себе функционирующую научную систему, ему следует представить себе квадрат. Обозначим левую вершину этого квадрата буквой Т (теоретические знания), правую вершину обозначим буквой П (проблемы), нижний угол квадрата – буквой Ф (факты, эмпирические знания) и левый нижний угол – буквой М (метод). Компоненты Т, П, Ф и М соединены двояко заостренными прямыми линиями. Вершины квадрата соединяются также двояко заостренными диагоналями. Двоякая заостренность схематически означает двустороннее движение информа-



ции и знаний от одного компонента к другому. Компонент П включает в себя знания о целях познавательной деятельности в ее предмете и объекте о нерешенных задачах, об ограничениях и условиях, при которых должно осуществляться научное исследование. Компонент Т включает в себя научные законы и гипотезы, а также знания о процедурах объяснения и предсказания изучаемых явлений, процессов и событий. Компонент Ф содержит эмпирические знания, знания о фактах, полученных с помощью научного метода, наблюдений и измерений, результаты которых подвергаются математической обработке. Наконец, компонент М содержит знания о правилах, используемых в исследовательской деятельности, о математических процедурах, применяемых для обработки эмпирических данных и для формулирования законов и гипотез, а также в интеллектуальных схемах, используемых для объяснения и предвидения.

Теперь введем еще два важных понятия – «объект» и «предмет научного исследования». Поставим в точку пересечения диагонали нашего воображаемого эпистемологического квадрата ножку циркуля и начертим две концентрических окружности. Большая окружность символизирует объект данной науки, меньшая – ее предмет. Для пояснения смысла этих понятий я, в качестве примера, сошлюсь на географию. Объект географии – планета Земля. Ее предмет – описание расположенных на ее поверхности материков, островов, гор, плоскогорий, долин, маршрутов рек, форм и очертаний береговых линий рек и озер, описание маршрутов расположенных на поверхности Земли транспортных магистралей, расположение городов и других населенных пунктов и т. д. Объект географии – Земля. Тот же самый, что и у геологии и геофизики, но предметы исследования этих наук более или менее существенно различаются. Чтобы география была полезна для практической деятельности людей, она должна давать максимально полные и объективные знания о своем предмете, используя при этом наиболее современные и точные методы его изучения. Две других науки – геология и геофизика – имеют тот же объект исследования, что и география, но предметы их изучения другие. Геология изучает недра, состав, строение и закономерности развития Земли. А геофизика, представляющая собой комплекс наук, изучает физику океанов, физику вод суши и подземных вод, а также физику атмосферы. Таким образом, имея общий объект, указанные науки различаются предметами исследования.

Теперь посмотрим, какое отношение все это имеет к проблеме рациональности. Так как знания, сосредоточенные в компонентах Т, П, Ф и М всех этих наук более или менее значительно отличаются друг от друга, то, соответственно, их оценка в качестве рациональных предполагает множество различных критериев рациональности. Например, рациональное описание железнодорожных линий в раз-



личных регионах какой-либо страны существенно для экономической географии, пытающейся ответить на вопрос, как повлияют на экономическое развитие региона новые железнодорожные пути, совершенно не имеет общих точек пересечения с критериями рациональности знаний, относящихся к компетенции компонентов Т, П, Ф и М геофизики земной атмосферы. Поэтому обсуждение вопроса рациональности определенных подсистем знаний даже этих трех наук, связанных единством объекта, но различающихся своим предметом исследования, оказывается достаточно сложным. Попытка найти единый критерий рациональности знаний, заключенных во всех эпистемических компонентах перечисленных выше наук о Земле, в большинстве случаев невозможна. А что можно сказать о стремлении найти единую концепцию рациональности, необходимую для соответствующей маркировки знаний, проблем, исследовательских методов и научно установленных фактов, а также теоретических знаний в таких далеко стоящих друг от друга науках, как история Древнего Египта, квантовая механика, астрофизика, литературоведение и т. д.? **Вразумительного** ответа на подобные вопросы в философских исследованиях о рациональности в современной литературе найти невозможно.

Более того, дело осложняется при попытке рассмотрения эволюции понятия «научная рациональность». За последнее время в российской философской литературе значительное распространение получила концепция постнеклассической науки. Вот, что пишет один из авторов этой концепции В.С. Степин о научной рациональности: «*Классический тип научной рациональности*, центрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности... *Неклассический тип научной рациональности* учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной рефлексии... *Постнеклассический тип научной рациональности* расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотношенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями» [Степин, 2000].

Интерпретация научной рациональности, содержащаяся в приведенной цитате, вызывает ряд дополнительных сложностей. Рассмотрим в качестве примера вопрос о рациональности некоторых математических утверждений. Еще из школьных уроков математики всем известна знаменитая теорема Пифагора, утверждающая,



что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов. Одной из распространенных интерпретаций рациональности является признак логической доказательности того или иного утверждения. Теорема Пифагора доказана логически безупречно. И поэтому с точки зрения классической научной рациональности в том виде, как она излагается в приведенной выше цитате, она рациональна. Но в то же время она не удовлетворяет требованию постнеклассической научной рациональности, т. к. не связана ни с какими особенностями исторических или национальных культур или различных ценностей, за исключением единственной ценности – логической доказательности.

С другой стороны, известно, что в первой половине XX в. в Германии широкое распространение получила теория абсолютного превосходства арийской расы по отношению ко всем остальным расам и нациям. В пользу арийской теории и оправданию права арийцев на мировое господство было написано множество трудов, претендовавших на строгую научность и доказательность. В то же время еще до поражения гитлеровской Германии во Второй мировой войне было опубликовано немало работ, опровергавших арийскую теорию. Но, вплоть до момента уничтожения гитлеризма, если не у всего населения Германии, то по крайней мере у значительной его части существовало твердое убеждение, что арийская концепция верна, представляет собой высшее выражение арийского духа и соответствует определенным культурным ценностям, является строго научной и уже в силу этого вполне рациональной.

Нетрудно заметить, что если в математических науках понятие «рациональность» является синонимом понятия «логическая доказуемость» или «точность вычислений», то в естественных науках оно является синонимом «эмпирической проверяемости теорий»¹, а в общественно-гуманитарных науках – синонимом целого веера понятий, таких как ценность, культурная детерминация, историческая обусловленность, идеологическая нагруженность, документальная подтверждаемость и т. п. Каждая сформировавшаяся наука строит свой эпистемологический квадрат. Если группу научных дисциплин, имеющих общий объект исследований, но отличающихся своими предметами познаний, можно еще объединить в общий таксон, то объединить все таксоны в некую единообразную целостную систему с общим объектом и предметом исследований просто невозможно. При попытке такого объединения специфика каждой науки и каждого научного таксона просто бы исчезли, и оставалось бы сказать, что

¹ Я считаю, что процедуры верификации и фальсифицируемости не исключают друг друга, а являются дополнительными и используются для определения применимости, частичной применимости или полной неприменимости тех или иных теоретических конструкций.



речь идет о совокупности разнородных знаний, решающих различные проблемы и полученных различными методами, но не более того. Все это, как признают многие авторы, делает невозможным выработку единого понятия рациональности не только в применении к науке, но и к обычной бытовой, экономической, политической, производственной, инженерно-технологической практике.

Поэтому я склонен присоединиться к оценке методологической и шире общефилософской значимости понятия «рациональность», которую дают И.Т. Касавин и З.А. Сокулер. Вот несколько достаточно категоричных высказываний, принадлежащих этим авторам [Касавин, Сокулер, 1989].

1. «Прежде всего, нельзя упускать из виду, что понятие рациональности имеет ярко выраженный оценочный характер. Данное понятие относят только к тому кругу явлений, которые мы склонны принять и оценить положительно, а противоположное понятие – “иррациональное” – к явлениям, которые, напротив, представляются нежелательными, неприемлемыми и заслуживающими отрицательной оценки» [Касавин, Сокулер, 1989, с. 29].

2. «...рациональность можно назвать также и *псевдометодологическим* понятием» [Касавин, Сокулер, 1989, с. 31].

3. «... рациональность является и *псевдосоциальным* понятием, поскольку создает видимость того, что характеризует какую-то определенную социальную структуру в отличие от других, иррациональных» [Касавин, Сокулер, 1989, с. 31].

4. «Рациональность является псевдопредметным понятием, которое может относиться к различным объектам и явлениям, в случае если мы занимаем по отношению к ним аналогичную ценностную установку» [Касавин, Сокулер, 1980, с. 32].

За два с половиной десятилетия, прошедших с тех пор, как была опубликована цитируемая монография, поток публикаций, посвященных проблеме рациональности и в особенности рациональности научной, продолжал расширяться. Д.О. Труфанов в своей работе [Труфанов, 2013] демонстрирует обширную коллекцию определений рациональности, из которой отчетливо следует, что ни одно из них не является универсальным и более или менее точно позиционируется лишь по отношению к ограниченной группе явлений и процессов, образующих предмет исследования какой-то одной научной дисциплины или предмет и объект исследования группы смежных дисциплин. Поэтому я склонен считать совершенно обоснованной позицию В.Н. Поруса, который, после тщательного исследования вопроса о возможности найти однозначное, ясное и эффективное определение рациональности, замечает: «Прежде чем ответить, констатируем терминологическую неопределенность. Ключевое понятие – “рациональность”. Попробуйте отыскать в соответствующей литературе обще-



принятое определение этого понятия!» [Порус, 1999]. В подстрочном примечании к этим словам Порус выносит окончательный вердикт: «Впрочем, в последнее время становится все яснее, что “общепринятого определения” просто не может быть». Я бы даже усилил этот вывод, сказав, что понятия рациональности вообще и научной рациональности в частности являются избыточными. Они лишь добавляют словесный мусор в соответствующие эпистемологические исследования, и без них можно спокойно обойтись, так же как в современной науке обходятся без аристотелевского понятия энтелехии.

Все сказанное выше вплотную подводит меня к проблеме релятивизма. В философском языке термин «релятивизм» чаще всего является страшным клеймом. Релятивизм – враг устойчивых, надежных, стабильных, абсолютно прочных, монолитных систем. В советском догматическом марксизме обвинение в релятивизме было почти что синонимом антинаучности, субъективного идеализма, агностицизма и даже аморализма². Следы достаточно бескомпромиссного и негативного отношения к релятивизму заметны и в недавно вышедшей под редакцией и при авторском участии В.А. Лекторского монографии «Релятивизм как болезнь современной философии» [Лекторский, 2015]. Справедливости ради отмечу, что негативное отношение к релятивизму прослеживается и у многих зарубежных авторов. К. Поппер, например, в известной монографии «Открытое общество и его враги» писал: «Интеллектуальный и моральный релятивизм – вот главная болезнь философии нашего времени» [Поппер, 1992, с. 441]. Однако я считаю полезным отметить, что за последние два десятилетия в России и за рубежом ряд исследователей отмечал, что релятивизм имеет право на существование и даже основание в самой объективной реальности, поскольку она изменяется, развивается, эволюционирует и включает в себя все признаки объективного историзма. В подтверждение я сошлюсь на статью Л.А. Микешиной «Релятивизм как эпистемологическая проблема» [Микешина, 2004]. В этой статье она занимает достаточно либеральную позицию, подчеркивая законное право релятивизма на существование в семье эпистемологических категорий, понятий и методологических схем. Что касается зарубежных авторов, то я сошлюсь на статью извест-

² См., например, §: «Усиление тенденции релятивизма в современной буржуазной общественной теории», «Моральный кризис капитализма и актуализация проблемы этического релятивизма» (Гл. I); «Классификация форм этического релятивизма. Разновидности буржуазной релятивистской моральной теории» (Гл. II) и др. в книге [Пазенок, 1982]. Отголоски негативного отношения к релятивизму встречаются и в трудах современных авторов: «Концепция релятивности, будучи полностью адекватной реальной научной практике, давно замечена и зафиксирована в историко-научных и методологических исследованиях. Никакой угрозы научному познанию она не несет. *Опасным является релятивизм*» [Мамчур, 2004, с. 15 (Курсив мой. – А.Р.)].



ного американского философа П. Богосяна «Что такое релятивизм» [Boghossian, 2010], в которой он рассматривает феномен релятивизма как эпистемологический феномен, имеющий место в реальных научных исследованиях. При этом он отмечает, что релятивизм в гуманитарных исследованиях, например, в этике, и релятивизм в естественнонаучных изысканиях существенно отличаются по их эпистемической нагрузке. Он пишет: «Это связано с тем, что моральный релятивизм и релятивизм в физике только выглядят одинаково, но фактически имеют очень разные логические свойства» [Boghossian, 2010, с. 30]. **Мне кажется, имеются определенные доводы для реабилитации релятивизма как достаточно «работоспособной» эпистемической и прагматической в прямом смысле слова позиции, дающей более адекватное представление о познавательной и предметно-практической деятельности человека.** Когда Протагор утверждал, что человек есть мера всех вещей, он, естественно, не был релятивистом в современном философском понимании этого термина. В самом деле, все виды человеческой деятельности от математических исследований высшей сложности до труда архитектора, зубного врача, сапожника, депутата парламента, космонавта и т. д. осуществляются человеком и во имя удовлетворения его любознательности или потребностей в пище, жилье, одежде, транспортных средствах и т. д. Вещи – от далеких созвездий до предметов повседневного быта, – измеряются и оцениваются с точки зрения того, насколько они удовлетворяют интересам и потребностям человека. И в этом смысле в словах Протагора нет никакого релятивизма, хотя именно их во многих философских энциклопедиях и словарях приводят как первую отчетливую формулировку этого философского понятия. **Я подчеркиваю эпитет «философский», потому что понятия релятивизм и релятивность, употребляемые в современной физике, не обсуждаются в этой статье как узкопрофессиональные понятия. Так что же тогда подразумевает философское понятие релятивизма и почему оно является антиподом понятия рациональности?**

Релятивность не является свойством какой-либо отдельно взятой вещи, обособленного явления или процесса. Если свойство «рациональность», несмотря на свою избыточность, может употребляться теми или иными философами в качестве предиката изолированного феномена или более или менее сложной системы различных явлений и процессов, то релятивность фиксирует само отношение размышляющего или практически действующего субъекта по отношению к предметам или объектам, к его «чистой» рефлексии или к предметам его практической деятельности.

Само понятие «свойство» есть частный случай понятия «отношение», которое на языке формальной логики выступает как многоместный предикат. На языке современной логики многоместный пре-



дикат выступает в виде формулы $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Когда мы говорим, например, что этот рубин красный, то наше высказывание имеет форму одноместного предиката, фиксирующего определенное свойство – окраску рассматриваемого минерала, и имеет формально-логическую структуру $P(x)$, где место символа P занимает слово «красный», а место переменной (x) занимает слово «рубин». Но в действительности в полном и точном смысле следовало бы сказать, что этот минерал (x_1) воспринимается нами как красный рубин $P(x)$ при условии, что воспринимающий его человек имеет нормальное здоровое зрение и не страдает дальтонизмом (x_2) , что этот минерал рассматривается при ярком солнечном освещении (x_3) и что по минералогической шкале оценки твердости (x_4) он имеет оценку, равную девяти. Если условия, зафиксированные в переменных x_2, x_3, x_4 стабильны, неизменны и, так сказать, автоматически подразумеваются, то остается одноместный предикат $P(x_1)$, который фиксирует некое свойство, а именно красный цвет рассматриваемого минерала. Этот маленький экскурс в область формально-логических представлений в выражении естественных языков позволяет нам лучше понять, что термин «релятивность» всегда подразумевает наличие многоместных предикатов, описывающих отношения между системами явлений и процессов, которые мы изучаем, наблюдаем, рассматриваем или которыми мы манипулируем в процессе нашей деятельности.

Физическая география при описании рельефа местности, например, местности с различного рода возвышенностями, пользуется понятиями «холм» или «гора». Достаточно, однако, заглянуть в простейший учебник географии или в универсальный электронный справочник «Википедия», чтобы узнать, что различия между этими понятиями и обозначаемыми ими явлениями достаточно условны. Холмом называется возвышенность, высота которой не превышает двухсот метров. Все, что выше, относится к классу гор или плоскогорий. Но это разграничение вполне условно. Достаточно было бы, чтобы географы всего мира согласились считать холмами природные возвышения, превышающие триста метров, чтобы в географических описаниях соответствующих местностей произошли заметные изменения. Этот пример показывает условность, релятивность в области географических понятий, но никак не характеризует сами географические предметы как явления объективной реальности. Но вот вам другой пример. Химическое вещество, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода, обычно называют водой. Оно имеет формулу H_2O . В зависимости от температуры и давления оно может существовать в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. «Твердость», «жидкость», «газообразность» – это уже не результат договоренности, а объективные состояния самого этого вещества. И тем не менее в нем также присутствует элемент релятивно-



сти, т. к. оно зависит от объективных физических условий и с изменением последних агрегатные состояния вещества могут существенно, качественно меняться.

Элемент релятивности, присутствующий в моем географическом и физико-химическом примерах, вряд ли вызовет какую-либо серьезную критику, но релятивность и релятивизм сразу же станут объектом острой критики и негативных оценок, лишь только речь пойдет об этическом, политическом или социальном релятивизме.

Дело в том, что в случае, например, этического релятивизма мы сразу же попадаем в область, которая одновременно находится в зоне компетенции аксиологии. В **основных христианских конфессиях** освещенные церковным бракосочетанием семейные узы считались одной из высших и, так сказать, краеугольных, неколебимых ценностей. В этом смысле релятивизм в вопросах семьи и брака считался недопустимым. Но в наше время победоносный феминизм и общая зыбкость моральных устоев открыли для этического релятивизма широкий проход в область брачных отношений и семейных уз. Вот одна из множества семейных адюльтерных схем. «А» – пожилой, чрезвычайно богатый, влиятельный человек с высоким общественным положением. «В» – его молодая, красивая жена, к которой «А» чрезвычайно привязан, которую он любит. «С» – красивый, высокий, жизнерадостный, веселый и весьма небогатый молодой человек, в которого влюблена «В» и который отвечает ей взаимностью. «В» и «С» вступают в интимную связь. В какой-то момент «В» решает расторгнуть брак с «А» и выйти замуж за «С». Как оценить эту ситуацию с точки зрения стандартной, массовой и личной морали и с точки зрения социально-экономических отношений и интересов участвующих в данной ситуации персонажей? Для «А» уход «В» к «С» и разрыв брака – крайне нежелательное, негативное явление. Для «В», с одной стороны, это положительный акт, т. к. она будет жить с любимым человеком. Но так как по условиям брачного контракта, некогда заключенного с «А», **«В» не имеет прав на имущественные претензии к бывшему мужу** («А», в свое время был достаточно предусмотрителен), то **«В» сильно ухудшает свои социальные и экономические позиции**. Поэтому с этой точки зрения разрыв с «А» для «В» имеет некоторые отрицательные последствия. Для «С» возможность жить легально с любимой женщиной – факт положительный. Так как он не имеет перспективной профессии, умеет веселиться, но не умеет хорошо работать, то чтобы обеспечить благополучие любимой женщины, ему придется сильно напрягаться. И для него новая ситуация в этом отношении, безусловно, отрицательный факт. И это далеко не полный перечень позитивных и негативных оценок и ситуаций, возникающих при данном положении дел. Здесь можно сколько угодно морализировать, но бесспорным остается то, что однозначной оценки ситуация не имеет, и что этический релятивизм имеет основания для своей уместности.



Приведенная мной аргументация, как и лежащие в ее основе примеры, достаточно примитивны, но они позволяют сделать некоторые общие выводы. Так, например, обсуждая вопрос о том, какая возвышенность является холмом, а какая горой, мы можем получить несколько разных ответов. Если геологи и географы придут к согласованному решению считать холмом возвышенность, поднимающуюся на триста пятьдесят метров над уровнем моря, а горой – возвышенность, превосходящую эту величину, то это совершенно условное соглашение. Оно будет иметь своим следствием изменение в обозначениях на географических картах и в путеводителях для туристов, посещающих определенный географический ареал, представляющий собой интересное природное явление. Однако, независимо от принятого обозначения, возвышенность, превышающая триста пятьдесят метров, будет выше в физическом смысле слова возвышенности, не достигшей этой высоты. Терминологическое соглашение относительно обозначения возвышенностей на земной поверхности совершенно условно, а его применение – результат соглашения, достигнутого в сообществе географов и геологов, геодезистов и топографов. Это соглашение – результат привычки, традиции и стремления достичь терминологического единообразия. Но объективная величина возвышенности безусловна. Она, если угодно, абсолютна.

Условность и релятивизм свойственны большинству форм индивидуального и группового поведения. Некоторые формы такого поведения носят устойчивый характер, и во многих социумах их оценка и практическая применимость сохраняется на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Так, например, такая форма чувствования и поведения, как зависть, в большинстве современных культур оценивается как нечто негативное. Но Гельмут Шёк в своей монографии [Шёк, 2008] указывает, что зависть может играть и положительную роль – когда более или менее значительная общность людей испытывает чувство зависти к определенному лицу, группе лиц или другому весьма значительному социуму, например к народу, государству, в котором общенациональный или групповой уровень благосостояния выше, чем у социума завистников, т. к., по мнению Шёка, зависть сплачивает коллектив завистников, повышает уровень их солидарности, снижая в то же время их взаимную антипатию. Поэтому, например, оценка зависти как морально-психологического и социального явления совершенно релятивна и зависит от конкретной ситуации, в которой это явление анализируется.

Точно так же условными являются единицы измерения длины, веса и других величин, которыми пользуются и в науке, и в экономике, и в повседневной жизни. Так, например, для определения длины пользуются такими измерительными единицами как метр и фут, а для измерения веса – килограмм и фунт и т. д. Предпочтение, отдаваемое



каждой из подобных измерительных единиц, определяется историко-культурной традицией, но поскольку существуют справочники и переводчики различных метрических величин, то никаких сложностей в получении объективной и корректно сопоставимой информации об измеряемых объектах не возникает. Все приведенные примеры иллюстрируют простую и, на мой взгляд, совершенно очевидную вещь, а именно, что концептуальный релятивизм не создает каких-либо серьезных препятствий для понимания, описания и предметно-практической деятельности как в объективной реальности, так и в реальности духовной.

Релятивизм, таким образом, представляет собой систему взглядов, принципов, соглашений, договоренностей, убеждений, облаченных в некую теоретическую форму, утверждающих, что при оценке того или иного явления или процесса, а также при выборе предпочтительных решений, относящихся к данному явлению или процессу, можно исходить из различных доминирующих критериев, руководствуясь максимальной выгодностью или максимальным удобством, или наибольшей привычностью, или предельной эффективностью, или возможностью достичь наилучшего результата с минимальной затратой материальных или интеллектуальных ресурсов. При этом на индивидуальном или групповом уровне лица, принимающие решения и дающие оценку той иной ситуации, могут руководствоваться либо сугубо личными предпочтениями, либо групповыми интересами и выгодами. Такое понимание релятивизма дает основание для обвинения его в субъективизме. Я готов согласиться с этим обвинением с тем существенным добавлением, что большинство решений и оценок как индивидуального, так и группового уровня, если не целиком, то в значительной своей части принимаются на основе субъективных мотивировок, которые имеют под собой авторитет силы, выгоды, максимизации удовольствий, или более или менее полной эмпирической подтверждаемости. Такая интерпретация релятивизма отнюдь не исключает объективных оснований наших решений и действий, но лишь подчеркивает, что элементы релятивизма присутствуют в нашем познании и предметно-практической деятельности почти во всех формах их реализации. Поэтому я считаю, что релятивизм, понимаемый в широком философском, общемировоззренческом и в методологическом смысле, подлежит реабилитации, так как он, ко всему прочему, открывает больше перспектив для реализации актов свободной воли и для всех видов творчества в интеллектуальной и индивидуально-личностной форме.

В заключение я считаю полезным вернуться к вопросу о статусе релятивизма в науке и научно-исследовательской деятельности. В современном целостном человеческом мире все большее значение приобретает изучение этносов, анализ межэтнических отноше-



ний, исследований демографических параметров, характеризующих развитие и некоторые количественные характеристики жизнедеятельности народонаселения той или иной территории. В силу этого можно наблюдать пересечение предметов исследования таких наук, как этнография, демография и география. Упрощенно, схематически речь может идти о некотором пересечении и частичном совпадении предметов исследования разных наук и возникновении нового комплекса научных знаний, который я совершенно условно назвал бы геоэтнодемографией. Если бы такое понятие утвердилось и стало бы общепринятым в том или ином сообществе специалистов, то можно было бы сказать, что мы присутствовали бы при зарождении и формировании нового эпистемологического квадрата. В его компонентах, которые выше были обозначены символами Т, П, Ф и М более или менее полное отображение нашли методы, эмпирические данные, теоретические структуры и проблемы «базовых» дисциплин. Такого рода процессы в науке имели место не раз. Иногда они занимали довольно продолжительные промежутки времени, но, в конечном счете, заняли свое законное место в системе классификации наук. Иллюстративным примером могла бы служить стоматология, в которой нашли свое место знания таких далеко стоящих друг от друга дисциплин, как анестезиология, материаловедение и даже инженерные дисциплины, находящие применение при изготовлении механических устройств для исправления неправильного зубного прикуса и зубных протезов.

Вполне естественно, что такие гибридные дисциплины пользуются различными критериями, количественными и качественными индикаторами. Поэтому релятивизм в их выборе в качестве оценочных критериев вполне естественен и не лишен даже ценностных эстетических элементов.

Философская эпистемология на протяжении многих десятилетий складывалась в основном на базе эпистемических проблем математики, естествознания, инженерно-технологических дисциплин. Эпистемологии социально-гуманитарного знания уделялось несопоставимо меньше внимания. А между тем именно в сфере социально-гуманитарных наук и исследований релятивизм в оценке тех или иных проблем, методов решения теоретических и эмпирических задач находил и находит довольно широкое применение. Поэтому я думаю, что его реабилитация в качестве вполне законной, эффективной философской концепции является достаточно назревшей задачей.

Список литературы

Касавин, Сокулер, 1989 – *Касавин И.Т., Сокулер З.А.* Рациональность в познании и практике. М.: Наука, 1989. 192 с.



- Лекторский, 2015 – *Лекторский В.С.* Релятивизм как болезнь современной философии. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015. 392 с.
- Мамчур, 2004 – *Мамчур Е.А.* Объективность науки и релятивизм. М.: ИФ РАН, 2004. 242 с.
- Микешина, 2004 – *Микешина Л.А.* Релятивизм как эпистемологическая проблема // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2004. Т. 1. № 1. С. 53–63.
- Пазенок, 1982 – *Пазенок В.С.* Апология аморализма: критический очерк буржуазного этического релятивизма. М.: Мысль, 1982. 231 с.
- Поппер, 1992 – *Поппер К.Р.* Открытое общество и его враги: в 2 т. Т. 2. М.: Феникс, Международ. фонд «Культурная инициатива», 1992. 528 с.
- Порус, 1999 – *Порус В.Н.* Парадоксальная рациональность // *Рациональность на перепутье: в 2 кн. Кн. 1.* М., 1999. С. 338–339.
- Ракитов, 2016 – *Ракитов А.И.* Эпистемология социально-гуманитарных наук // *Вопр. философии.* 2016. № 9. С. 63–71.
- Степин, 2000 – *Степин В.С.* Теоретическое знание. М.: Наука, 2000. 744 с.
- Труфанов, 2013 – *Труфанов Д.О.* Рациональность как фундаментальная характеристика социальных систем. Постнеклассический (универсумный) подход. Красноярск: СФУ, 2013. 124 с.
- Шёк, 2008 – *Шёк Г.* Зависть: теория социального поведения. М.: ИРИСЭН, 2008. 544 с.
- Boghossian, 2010 – *Boghossian P.* What is Relativism? // *Truth and Realism.* Oxford: Clarendon Press, 2006. P. 13–37.

References

- Boghossian P. “What is Relativism?”, *Truth and Realism.* Oxford: Clarendon Press, 2006, pp. 13–37.
- Kasavin, I.T. Sokuler, Z.A. *Racional'nost' v poznanii i praktike* [Rationality in knowledge and practice]. Moscow: Nauka, 1989. 192 pp. (In Russian)
- Lektorskiy V.A. *Relyativizm kak bolezni' sovremennoy filosofii* [Relativism as a malady of modern philosophy]. Moscow: Kanon+, ROOI “Reabilitaciya”, 2015. 392 pp. (In Russian)
- Mamchur E.A. *Ob'ektivnost' nauki i relyativizm* [The objectivity of science and relativism]. Moscow: IFRAN, 2004. 242 pp. (In Russian)
- Mikeshina L.A. “Relyativizm kak epistemologicheskaya problema” [Relativism as an epistemological problem], in: *Epistemology and philosophy of science*, 2004, vol. 1, no. 1. pp. 53–63. (In Russian)
- Pazenok V.S. *Apologiya amoralizma: kriticheskiy ocherk burzhuaznogo eticheskogo relyativizma* [The Apology of amorality: a critical essay of bourgeois ethical relativism]. Moscow: Mysl', 1982. 231 pp. (In Russian)
- Popper K.R. *Otkrytoe obschestvo i ego vragi.* [The Open Society and Its Enemies. Vol. 2.]. Moscow: Feniks, Mezhdunarodnyy fond «Kul'turnaya initsiativa», 1992. 528 pp. (In Russian)
- Porus V.N. “Paradoksal'naya racional'nost'” [Paradoxical Rationality], in: *Racional'nost' na pereput'e.* [Rationality at the Crossroads. Book 1]. Moscow: ROSSPEN, 1999, pp. 338–339. (In Russian)



Rakitov A.I. “Epistemologiya social’no-gumanitarnykh nauk” [Epistemology of the Social Sciences and Humanities], in: *Voprosy filosofii*, 2016, no. 9, pp. 63–71. (In Russian)

Stepin V.S. *Teoreticheskoe znanie* [Theoretical Knowledge]. Moscow: Nauka, 2000. 744 pp. (In Russian)

Trufanov D.O. *Racional’nost’ kak fundamental’naya kharakteristika social’nykh sistem. Postneklassicheskiy (universumnyy) podkhod* [Rationality as a fundamental characteristic of social systems. Post-nonclassical (Universum) approach]. Krasnoyarsk: SFU, 2013. 124 pp. (In Russian)

Schoek H. *Zavist’: teoriya social’nogo povedeniya* [Envy: A Theory of Social Behaviour]. Moscow: IRISEN, 2008. 544 pp. (In Russian)

ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ ПРЕСУППОЗИЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ АССЕРТИВОВ*

Долгоруков Виталий Владимирович – кандидат философских наук, преподаватель. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20; e-mail: vdolgorukov@hse.ru



В статье предлагается классификация ассертивов, опирающаяся на понятие эпистемических пресуппозиций (такой разновидности прагматических пресуппозиций, которая описывает, что Слушающий и Говорящий знают или полагают относительно обсуждаемых ими высказываний). Структура эпистемических пресуппозиций описывается с помощью оператора общего мнения. Проводится различие между сильной и слабой версией оператора общего мнения. Демонстрируется, что использование именно сильной версии этого оператора позволяет построить эпистемическую классификацию ассертивов. В статье утверждается, что классификация ассертивов зависит как от структуры лингвистических конвенций, так и от структуры эпистемических пресуппозиций Слушающего и Говорящего. Описание эпистемических пресуппозиций позволяет рассмотреть следующую классификацию: ассертивы подразделяются на «небуквальные» и «буквальные»; «небуквальные» ассертивы могут быть «конвенциональными» или «неконвенциональными»; «буквальные» ассертивы подразделяются на «семантически тривиальные» и «семантически нетривиальные»; «семантически тривиальные» также могут быть «конвенциональными» и «неконвенциональными», «семантически нетривиальные» утверждения подразделяются на «искренние» и «неискренние».

Ключевые слова: прагматика, эпистемическая логика, общее мнение, утверждения

EPISTEMIC PRESUPPOSITIONS AND TAXONOMY OF ASSERTIVES

Vitaliy Dolgorukov – PhD in Philosophy, lecturer. National Research University Higher School of Economics. 20 Myasnitskaya St., Moscow, 101000 Russian Federation; e-mail: vdolgorukov@hse.ru

The paper proposes an epistemic taxonomy of assertives based on a concept of epistemic presuppositions. Epistemic presuppositions are a special kind of pragmatic presuppositions, which describe the structure of hearer's and speaker's meta-reasoning. The epistemic taxonomy of assertives is based on the operator of strong common belief (iCB). It is argued that the properties of a strong common belief operator (positive and negative introspection, non-factivity) are relevant for the analysis of pragmatics presuppositions. Also strong common belief operator is used for the explication of gricean epistemic construction: "the Speaker thinks (and would expect the hearer to think that the speaker thinks...". The assertives' taxonomy for an utterance φ consists of the following basic types: "1. Non-Literal Utterances" ($^iCB_{s,H}\varphi$) and "2. Literal

* Статья подготовлена в результате проведения исследования (№ 15-05-0005) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 г. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.



Utterances" ($\neg^2 CB_{S,H} \neg \varphi$). Non-Literal Utterances is divided into two groups: "1.1. Conventional Literal Utterances" (there is a convention such that ϕ means ψ in a context c .) and "1.2. Non-Conventional Literal Utterances" (there no such convention). There are two types of Literal Utterances "2.1. Semantically Trivial Utterances ($^c CB_{S,H} \varphi$)" and "2.2. Semantically Non-Trivial Utterances ($\neg^2 CB_{S,H} \varphi$)". Semantically Trivial Utterances is divided into two parts: "2.1.1. Conventional Semantically Trivial Utterances" (there is a convention such that ϕ means ψ in a context c) and "2.1.2. Non-conventional Semantically Trivial Utterances" (there no such convention). Semantically Non-Trivial Utterances is divided into two parts: "2.2.1. Insincere Utterances" $B_S \neg \varphi$ and "2.2.2. Sincere Utterances $\neg B_S \neg \varphi$. There are two types of Sincere Utterances "2.2.2.1. Credible Utterances" ($B_S \varphi$) and "2.2.2.2. Non-credible Utterances").

Keywords: pragmatics, epistemic logic, assertions, common knowledge, common belief

В данной статье мы рассмотрим эпистемические presuppositions как особую разновидность прагматических presuppositions, опишем структуры presuppositions этого типа средствами групповых эпистемических операторов и построим эпистемическую классификацию ассертивов.

Эпистемические presuppositions

Принято выделять два типа presuppositions: *семантические* и *прагматические*. *Семантические presuppositions* описывают те компоненты высказывания, которые участники коммуникации должны принять, чтобы высказывание могло считаться осмысленным. Например, presupposition высказывания «*Вася бросил курить*» состоит в том, что «*Вася раньше курил*», поскольку если Вася никогда не курил, то бессмысленно утверждать, что Вася бросил курить. Порождение семантических presuppositions связано с какой-либо лингвистической конструкцией, т. н. триггером presuppositions. В рассмотренном примере presupposition порождает глагол «бросить». *Прагматические presuppositions* (см.: Столнейкер [Stalnaker (1970, 1973, 1974)]¹) не порождаются какой-либо конкретной конструкцией, а связаны с общими характеристиками коммуникации. Например, прагматической presupposition рассматриваемого высказывания будет тот факт, что Слушающий слышит говорящего, а Говорящий способен говорить, что и Слушающий, и Говорящий понимают русский язык и др.

¹ Также этот вид presuppositions называется «presuppositions Говорящего» или «речевыми presuppositions».



Мы бы хотели выделить особую разновидность прагматических пресуппозиций – *эпистемические пресуппозиции*. Эпистемические пресуппозиции относятся к тому, что Слушающий и Говорящий знают или полагают относительно обсуждаемых ими высказываний. К примеру, если *a* спрашивает у *b* «*Работает ли сегодня библиотека?*», то (при допущении о рациональности *a* и *b*), у этого вопроса будет, как минимум, две эпистемических пресуппозиции:

- 1) *a* не знает, работает ли сегодня библиотека
- 2) *a* полагает, что *b* знает, работает ли сегодня библиотека.

В настоящей статье мы сосредоточимся на анализе эпистемических пресуппозиций для ассертивов, а также предложим классификацию ассертивов на основе структуры эпистемических пресуппозиций.

«То, что было сказано» vs. «то, что имелось в виду»

Герберт Пол Грайс (см.: [Грайс, 1985]; [Grice, 1975]) проводит фундаментальное различие между двумя компонентами высказывания: «*тем, что было сказано*» (“what is said”) и «*тем, что имелось в виду*» (“what is implicated”). *То, что было сказано* определяется буквальным содержанием предложения, *то, что имелось в виду* определяется способностью Слушающего распознать коммуникативное намерение Говорящего в данном контексте.

Рассмотрим четыре высказывания с точки зрения различия между *тем, что было сказано* (будем называть этот компонент высказывания семантической значимостью) и *тем, что имелось в виду* (будем использовать выражения прагматическая значимость). Зафиксируем контекст произнесения высказываний: допустим, что Говорящий (Гена) и Слушающий (Света) сидят в кафе и пьют кофе, Гена берет в руку чашку, смотрит Свете в глаза и произносит одну из следующих фраз:

- (1) *Кофе – это напиток!*
- (2) *Хороший кофе есть хороший кофе!*
- (3) *Ты – сливки в моем кофе!*
- (4) *Нельзя сказать, что ты сейчас пьешь кофе!*

С точки зрения семантической значимости, высказывания (1) и (2) являются истинными, а высказывания (3) и (4) ложными, но очевидно, что эти высказывания обладают разной информационной ценностью для Светы. Хотя высказывания (1) и (2) семантически не сообщают Свете ничего нового (она безусловно знает, что кофе напиток и что хороший кофе есть хороший кофе), высказывание (2) более информативно, чем (1), поскольку его прагматическая значимость в данном контексте определяется намерением Гены указать скорее на типичность свойств хорошего кофе, а не на произнесение тавтологии.



Сходная ситуация наблюдается, если сравнить высказывания (3) и (4). Семантически они оба сообщают ложную информацию, однако, высказывание (3) обладает для Светы безусловно большей значимостью, чем высказывание (4).

Если бы Света обладала какой-либо дополнительной информацией, то она могла бы воспринять высказывания (1) и (4) как импликатуру:

(1a) Кофе – это напиток.

+> А не растение, поэтому кофе – мужского рода.

(4a) Нельзя сказать, что ты сейчас пьешь кофе.

+> Ты скорее его лакаешь, чем пьешь или

(4b) Нельзя сказать, что ты сейчас пьешь кофе.

+> Ты пьешь очень плохой кофе.

Допустим, что Света не обладает никакой дополнительной информацией; тогда, с учетом этих допущений, высказывания (1) и (4) в данном коммуникативном контексте будут прагматически аномальными (или, по крайней мере, будут звучать как прагматически аномальные при первой попытке интерпретации, без уточняющих вопросов).

Рациональные Слушающие и Говорящие будут отказываться от интерпретации какого-либо высказывания как прагматически аномального, поскольку исходят из допущения о соблюдении Принципа Кооперации «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Грайс, 1985, с 222]. Если Света считает, что Гена стремится к кооперативному взаимодействию, то предположение о том, что он сказал что-то просто так, ничего не имея в виду, будет обладать меньшим приоритетом, чем предположение о том, что у нее недостаточно информации, чтобы воспринять это высказывание не как прагматически аномальное.

Грайс описывает высказывания по типу (2) и (3) как случаи нарушения Постулата Качества («Старайся, чтобы твоё высказывание было истинным» [там же]). Такой подход приводит к серьёзному теоретическому затруднению: и ложь, и ирония описываются как разные варианты нарушения одного и того же постулата². Наша задача состоит в том, чтобы объяснить различие между разными типами ассертивов не разными типами нарушения коммуникативных постулатов, а разными структурами эпистемических пресуппозиций, которые лежат в основе этих высказываний.

Рассмотрим предлагаемый Грайсом механизм порождения *того, что имелось в виду* из *того, что было сказано*: «Он сказал, что р; нет оснований считать, что он не соблюдает постулаты или по край-

² О различии лжи и иронии см. также: [Wilson, 2006].



ней мере Принцип Кооперации; он не мог сказать p , если бы он не считал, что q ; он знает (и знает, что я знаю, что он знает), что я могу понять необходимость предположения о том, что он думает, что q ; он хочет, чтобы я думал – или хотя бы готов позволить мне думать – что q : итак, он имплицировал, что q » [там же, с. 227–228]. Обратим внимание на конструкцию «он знает (и знает, что я знаю, что он знает)»³, она явным образом включает в себя описание иерархии метазнания. Заметим, что эта эпистемическая конструкция может иметь несколько формальных экспликаций. Далее мы сравним несколько групповых эпистемических операторов и выделим среди них наиболее подходящий для экспликации используемой Грайсом структуры метарассуждений.

«Общее знание» и «общее мнение»

Эпистемическая логика успешно используется для экспликации эпистемических оснований прагматических феноменов. Например, ван Дитмарш успешно анализирует ложь и обман с точки зрения динамической эпистемической логики (см.: [van Ditmarsch, 2013]), ван Бентем описывает прагматические пресуппозиции вопросов (см.: [van Benthem, 2014]). Для задачи анализа прагматических пресуппозиций ассертивов⁴ воспользуемся средствами эпистемической логики, в частности, операторами группового знания и мнения⁵.

³ Заметим, что в оригинальной статье Грайс использует конструкцию “the Speaker thinks (and would expect the hearer to think that the speaker thinks...” [Grice 1975, p. 50], которую, с нашей точки зрения, было точнее перевести так: «говорящий считает (и ожидает, что слушающий считает, что говорящий считает...»)). Устоявшаяся в логике и эпистемологии конвенция употребления термина «знание» предполагает наличие у знания свойства фактичности (если x знает, что p , следовательно p имеет место). Представляется, что для анализа прагматических феноменов требование фактичности является избыточным: и Слушающий, и Говорящий могут заблуждаться относительно p , но это не мешает им использовать p , для того, чтобы дать понять, что имеется в виду некоторое q .

⁴ Об эпистемических свойствах ассертивов см.: [van Benthem, 2014; Jary, 2010; Hinchman, 2013; Hindriks, 2007; Maitra, Weatherston, 2010].

⁵ О групповых эпистемических операторах см.: [Pacuit, 2013; Lismont, Mongin 1994; Heifetz, 1996; Heifetz, 1999; Bonanno, 1996].



Операторы группового знания и мнения

Базовый язык (статической) эпистемической⁶ логики определяется следующей грамматикой:

$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid (\varphi \wedge \psi) \mid (\varphi \vee \psi) \mid K_i\varphi \mid B_i\varphi$, где p – пропозициональная переменная.

Моделью эпистемической логики будем называть следующую структуру

$M = \langle A, W, \sim_i, \leq_i, V \rangle$, где A – множество агентов, W – множество возможных миров, \sim_i, \leq_i – отношения на W для каждого агента i , $V: Var \rightarrow \wp(W)$ – функция оценки (где Var – множество пропозициональных переменных), \sim_i является отношением эквивалентности, \leq_i – рефлексивно и транзитивно, а также, для любых w и w' верно, что $w \sim_i w' \Leftrightarrow (w \leq_i w' \vee w' \leq_i w)$.

Истинность в данной модели определяется следующими условиями:

$M, w \models p$ е.т.е. $p \in V(p)$

$M, w \models \neg\varphi$ е.т.е. не верно, что $M, w \models \varphi$

$M, w \models \varphi \wedge \psi$ е.т.е. $M, w \models \varphi$ и $M, w \models \psi$

$M, w \models \varphi \vee \psi$ е.т.е. $M, w \models \varphi$ или $M, w \models \psi$

$M, w \models K_i\varphi$ е.т.е. для любого $w' \sim_i w : M, w' \models \varphi$

$M, w \models B_i\varphi$ е.т.е. для любого $w' \in \max_{\leq_i}([w]_i)$: $M, w' \models \varphi$, где “ $\max_{\leq_i}([w]_i)$ ” – множество миров, которые i рассматривает как максимальные по отношению \leq_i среди миров, которые достижимы из w для i .

Добавим в язык базовой эпистемической логики операторы группового знания и мнения (E_G – «все знают», C_G – оператор общего знания, EB_G – все верят, CB_G – общее мнение (слабый оператор), sCB_G – общее мнение (сильный оператор)). Таким образом язык эпистемической логики с операторами сильного и слабого общего мнения определяется следующей грамматикой:

$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid (\varphi \wedge \psi) \mid (\varphi \vee \psi) \mid K_i\varphi \mid B_i\varphi \mid E_G\varphi \mid C_G\varphi \mid EB_G\varphi \mid CB_G\varphi \mid {}^sCB_G\varphi$

Теперь мы можем определить базовые групповые эпистемические операторы. Операторы группового знания и мнения можно определить через операторы индивидуального знания и мнения. Дадим определение оператору «все знают» (среди агентов группы G)

«все знают»

$E_G\varphi ::= \bigwedge_{i \in G} K_i\varphi$

Пусть «степень» оператора обозначает длину последовательности: $E_G \dots E_G$. Используя это обозначение, определим оператор общего знания (среди агентов группы G)

«общее знание»

$C_G\varphi ::= E_G\varphi \wedge E_G^2\varphi \wedge E_G^3\varphi \wedge \dots$

⁶ Мы будем использовать термин «эпистемическая логика» как общий для доклатической логики и собственно эпистемической логики.



Аналогичным образом определим доксатические аналоги операторов группового знания. Пусть оператор «все считают» определяется как

«все считают»

$$EB_G \varphi ::= \bigwedge_{i \in G} B_i \varphi$$

Аналогичным образом дадим определение итерации этого оператора $EB_G^n ::= EB_G \dots EB_G$ (n раз).

Указанные доксатические операторы позволяют сформулировать операторы общего мнения. Пусть общее мнение (слабый оператор) определяется следующим образом.

общее мнение (слабый оператор)

$$CB_G \varphi ::= EB_G \varphi \wedge EB_G^2 \varphi \wedge EB_G^3 \varphi \wedge \dots$$

Пусть общее мнение (сильный оператор) определяется через применение оператора общего знания к оператору «все считают»

общее мнение (сильный оператор)

$${}^sCB_G \varphi ::= C_G (EB_G \varphi)$$

Сравнение групповых операторов

Мы описали три групповых оператора $C_G \varphi$, $CB_G \varphi$, ${}^sCB_G \varphi$; какой же из них в наибольшей степени подходит для экспликации грайсовой конструкции «он знает (и знает, что я знаю, что он знает)...»? Для ответа на этот вопрос нужно сравнить свойства этих трех операторов.

Общее знание обладает свойством фактичности, то есть, если между группой агентов имеет место общее знание о φ , то φ имеет место. Однако для описания прагматических феноменов иерархичность знания и метазнания является гораздо более важным свойством, нежели фактичность. Можно легко представить себе ситуацию, в которой Слушающий и Говорящий искренне заблуждаются относительно некоторого положения дел, но представление об этом положении служит основанием для того, чтобы указать на другое утверждение. Таким образом, мы видим, что для описания прагматики целесообразно рассмотреть ослабленную версию оператора «общего знания», не обладающую свойством фактичности, то есть, «общее мнение» (*common belief*).

С нашей точки зрения, наиболее целесообразным инструментом анализа является сильная версия оператора общего мнения, поскольку свойства этого оператора хорошо соответствуют интуициям, необходимым для описания прагматических контекстов. Слабая версия оператора общего мнения $CB_G \varphi$ не обладает свойством негативной интроспекции ($\neg CB_G \varphi \rightarrow CB_G \neg CB_G \varphi$). Что является нежелательным



свойством, поскольку для описания прагматических пресуппозиций высказывания существенно, чтобы для всех участников коммуникации было очевидно, что признание или непризнание некоторого факта как очевидного само по себе должно являться очевидным фактом для Слушающего и Говорящего.

Рассмотрим сравнительную таблицу свойств операторов C_G , CB_G и sCB_G .

Таблица 1

Сравнение свойств групповых эпистемических операторов

Название свойства	Вид свойства	Оператор		
		C_G	CB_G	sCB_G
«Нормальность»	$\Box (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi)$	+	+	+
«Фактичность»	$\Box \varphi \rightarrow \varphi$	+	-	-
«Позитивная интроспекция»	$\Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$	+	+	+
«Негативная интроспекция»	$\neg \Box \varphi \rightarrow \Box \neg \Box \varphi$	+	-	+

Заметим, что, с точки зрения указанных четырех свойств единственное различие между общим знанием и сильным общим мнением заключается в свойстве фактичности. Для построения таксономии ассертивов мы будем опираться именно на сильный оператор общего мнения, поскольку именно этот оператор обладает нужными свойствами: 1) не требует фактичности 2) обладает позитивной и негативной интроспекцией.

Эпистемическая классификация ассертивов

Теперь мы можем построить классификацию ассертивов; мы опишем только самые верхние уровни этой таксономии, нижние уровни будут зависеть скорее от той или иной лингвистической конвенции, чем от структуры эпистемических установок участников коммуникации.

Пусть Говорящий S произносит высказывание φ для Слушающего H в некотором контексте. Чтобы найти релевантную в данном контексте интерпретацию этого высказывания, Слушающий должен определить прагматические пресуппозиции высказывания φ .



Во-первых, Слушающий должен выяснить – стоит ли в данном контексте воспринимать высказывание φ как буквальное. Если для Слушающего и Говорящего очевидно⁷, что φ не является верным, то задача Слушающего найти лингвистическую конвенцию, которая бы позволила построить интерпретацию данного высказывания. Если Слушающий не находит такой конвенции, это означает, что в данном контексте он воспринимает это высказывание как прагматически аномальное (неконвенциональное небуквальное высказывание).

Во-вторых, если Слушающий воспринимает высказывание φ как буквальное, он должен оценить степень его информативности. Если для Слушающего и Говорящего очевидно, что φ , то это высказывание будет семантически тривиальным. Использование семантически тривиального высказывания может опираться на некоторую лингвистическую конвенцию, если Слушающий не распознает эту конвенцию в данном контексте, то он будет воспринимать высказывание φ как прагматически аномальное. Но это другой тип прагматической аномальности – неконвенциональное буквальное высказывание.

Если относительно высказывания у Слушающего и Говорящего, во-первых, нет общего мнения, что не- φ , а, во-вторых, нет общего мнения, что φ , то мы имеем дело с буквальным семантически нетривиальным высказыванием, подтип которого уже зависит только от эпистемических установок Говорящего, а не от структуры группового знания.

Заметим, что конкретный тип высказывания будет зависеть от контекста произнесения, если у Слушающего появится дополнительная информация, то тип высказывания изменится. В наибольшей степени это касается прагматически аномальных высказываний, поскольку их использование противоречит Принципу Кооперации. Слушающий в наименьшей степени ожидает, что Говорящий произнесением φ не хочет ничего сказать, поэтому рациональной реакцией Слушающего на прагматически аномальные высказывания будет попытка уточнения контекста («Что ты хочешь сказать?», «Что имеется в виду?» и т. д.).

Опишем все элементы таксономии, а затем постараемся определить место высказывания (1)–(4) в ней. В зависимости от структуры эпистемических установок Слушающего и Говорящего φ может относиться к следующим классам:

1. *Небуквальные высказывания*

Если верно, что, то φ – является небуквальным высказыванием

⁷ Для экспликации «очевидности» мы будем использовать сильную версию оператора общего знания. Везде ниже «Слушающему и Говорящему очевидно, что φ » означает, что выполняются условия истинности для ${}^3CB_{s,H} \varphi$.



1.1. Конвенциональные небуквальные высказывания

Если Слушающий распознает конвенцию, благодаря которой φ может использоваться для передачи сообщения ψ и выполняется условие для «1.», то такое высказывание будет *конвенциональным небуквальным высказыванием*. В зависимости от использования конкретной конвенции это высказывание может быть метафорой:

(5) Ты мой лучик солнца! (или (3));

иронией:

(6) Гена: Если мне не принесут кофе через 20 минут – я устрою скандал!

Света: Ты сегодня очень добрый!;

литотой:

(7) Света: Я толстая?!

Гена: Да ты тоньше Дюймовочки!;

гиперболой:

(8) Я могу выпить тонну кофе!;

металингвистическим отрицанием

(9) Без кофе я не живу. +> А существую.

1.2. Неконвенциональные небуквальные высказывания

Если Слушающий в данном контексте не распознает конвенцию, то такое высказывание будет прагматически аномальным, поскольку трудно предположить, что Говорящий затрачивает усилия на передачу информации, не имея какой-либо коммуникативной задачи.

2. Буквальные высказывания.

Если верно, что $\neg^s CB_{sH} \neg \varphi$, то φ будем называть *буквальным высказыванием*.

2.1. Семантически тривиальные высказывания.

Если верно, что, то φ – тривиальное высказывание.

2.1.1. Конвенциональные буквальные высказывания

Если Слушающий распознает конвенцию, благодаря которой φ может использоваться для передачи сообщения ψ и выполняется условие для «2.1.», то такие высказывания будем называть *конвенциональными буквальными высказываниями*. В зависимости от конвенций такое высказывание может быть «плодотворной тавтологией»:

(10) Жизнь есть жизнь⁸ (или (2))

контактоустанавливающим (фактическим) высказыванием:

(11) Сегодня хорошая погода

2.1.2. Неконвенциональные буквальные высказывания

Если Слушающий в данном контексте не распознают конвенцию для данного буквального высказывания, то он не может распознать коммуникативную цель Говорящего, такое высказывание как и «1.2.» будет прагматически аномальным.

⁸ О «плодотворных тавтологиях» см.: [Драгалина-Черная, 2014].



2.2. Семантически нетривиальные высказывания.

Если верно, что $\neg {}^sCB_{S,H} \varphi$, то φ – семантически нетривиальное высказывание. Для Слушающего и Говорящего не очевидно, что φ истинно, а также не очевидно, что φ ложно. Произнесение φ в данном контексте является информативными для Слушающего. В зависимости от состояния Говорящего эти высказывания можно разделить на

2.2.1. $B_S \neg \varphi$ – неискренние высказывания

2.2.2. $\neg B_S \neg \varphi$ – искренние высказывания

2.2.2.1. $B_S \varphi$ – внутренне обоснованные высказывания

2.2.2.2. $\neg B_S \varphi$ – безосновательные высказывания

Определим место для высказываний (1)–(4) в данной классификации.

Высказывание (1) *Кофе – это напиток* относится к типу «2.1.2. неконвенциональные буквальные высказывания». Без поиска подходящего контекста (как в случае 1а), произнесение этого высказывания выглядит как прагматически аномальное.

Высказывание (2) *Хороший кофе есть хороший кофе* относится к типу «2.1.1. конвенциональные буквальные высказывания», к подтипу «плодотворных тавтологий».

Высказывание (3) *Ты – сливки в моем кофе* относится к типу «1.1», конвенциональные небуквальные высказывания». Слушающий воспринимает это высказывание как метафору, иначе пришлось бы предположить, что это высказывание прагматически аномально.

Высказывание (4) *Нельзя сказать, что ты сейчас пьешь кофе* относится к типу «1.2», неконвенциональные небуквальные высказывания». Слушающему трудно подобрать конвенцию для интерпретации этого высказывания, рациональной реакцией на такое высказывание будет уточняющий вопрос.

Таким образом, мы видим, что для описания различных типов высказываний необходимо учитывать не только структуры конвенций, но и структуру эпистемических пресуппозиций Слушающего и Говорящего.

Представим классификацию ассертивов в виде таблицы.

Таблица 2

Классификация ассертивов с точки зрения эпистемических пресуппозиции

Прагматический тип высказывания	Эпистемическая пресуппозиция
1. Небуквальные высказывания	${}^sCB_{S,H} \neg \varphi$ (и S , и Γ очевидно, что φ не имеет места)



<p>1.1. Конвенциональные небуквальные высказывания</p>	<p>Существует конвенция, благодаря которой С считает, что φ используется для указания на некоторое высказывание ψ. (В зависимости от конвенции, к этому типу ассертивов относятся: метафора, ирония, гипербола, литота, «плодотворная тавтология» и др.)</p>										
<p>1.2. Неконвенциональные небуквальные высказывания (прагматически аномальные высказывания первого типа)</p>	<p>Не существует такой конвенции (либо она не распознается С в данном контексте).</p>										
<p>2. Буквальные высказывания</p>	<p>$\neg {}^sCB_{S,H} \neg \varphi$ (не верно, что и С, и Г очевидно, что φ не имеет места)</p>										
<p>2.1. Семантически тривиальны высказывания.</p>	<p>${}^sCB_{S,H} \varphi$ (и С, и Г очевидно, что φ истинно)</p>										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="186 860 598 1139"> <p>2.1.1. Конвенциональные буквальные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 860 977 1139"> <p>Существует конвенция благодаря которой С считает, что φ используется для указания на некоторые высказывание ψ. (В зависимости от конвенции, к этому типу ассертивов относятся: фатические высказывания, «плодотворные тавтологии» и др.)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 1139 598 1294"> <p>2.1.2. Неконвенциональные уквальные высказывания (прагматически аномальные высказывания второго типа)</p> </td> <td data-bbox="598 1139 977 1294"> <p>Не существует такой конвенции (либо она не распознается С в данном контексте).</p> </td> </tr> </table>	<p>2.1.1. Конвенциональные буквальные высказывания</p>	<p>Существует конвенция благодаря которой С считает, что φ используется для указания на некоторые высказывание ψ. (В зависимости от конвенции, к этому типу ассертивов относятся: фатические высказывания, «плодотворные тавтологии» и др.)</p>	<p>2.1.2. Неконвенциональные уквальные высказывания (прагматически аномальные высказывания второго типа)</p>	<p>Не существует такой конвенции (либо она не распознается С в данном контексте).</p>						
<p>2.1.1. Конвенциональные буквальные высказывания</p>	<p>Существует конвенция благодаря которой С считает, что φ используется для указания на некоторые высказывание ψ. (В зависимости от конвенции, к этому типу ассертивов относятся: фатические высказывания, «плодотворные тавтологии» и др.)</p>										
<p>2.1.2. Неконвенциональные уквальные высказывания (прагматически аномальные высказывания второго типа)</p>	<p>Не существует такой конвенции (либо она не распознается С в данном контексте).</p>										
<p>2.2. Семантически нетривиальные высказывания</p>	<p>$\neg {}^sCB_{S,H} \varphi$ (не верно, что и С, и Г очевидно, что φ истинно)</p>										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="186 1366 598 1439"> <p>2.2.1. Неискренние высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1366 977 1439"> <p>$BS\neg\varphi$ (Г считает, что φ не имеет места)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 1439 598 1512"> <p>2.2.2. Искренние высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1439 977 1512"> <p>$\neg {}^sCB_{S,H} \varphi$ (не верно, что и С, и Г очевидно, что φ истинно)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 1512 219 1641"></td> <td data-bbox="219 1512 977 1641"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="219 1512 598 1576"> <p>2.2.2.1. Внутренне обоснованные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1512 977 1576"> <p>$B_S\varphi$ (Г считает, что φ истинно)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1576 598 1641"> <p>2.2.2.2. Безосновательные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1576 977 1641"> <p>$\neg B_S\varphi$ (не верно, что Г считает, что φ истинно)</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<p>2.2.1. Неискренние высказывания</p>	<p>$BS\neg\varphi$ (Г считает, что φ не имеет места)</p>	<p>2.2.2. Искренние высказывания</p>	<p>$\neg {}^sCB_{S,H} \varphi$ (не верно, что и С, и Г очевидно, что φ истинно)</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="219 1512 598 1576"> <p>2.2.2.1. Внутренне обоснованные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1512 977 1576"> <p>$B_S\varphi$ (Г считает, что φ истинно)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1576 598 1641"> <p>2.2.2.2. Безосновательные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1576 977 1641"> <p>$\neg B_S\varphi$ (не верно, что Г считает, что φ истинно)</p> </td> </tr> </table>	<p>2.2.2.1. Внутренне обоснованные высказывания</p>	<p>$B_S\varphi$ (Г считает, что φ истинно)</p>	<p>2.2.2.2. Безосновательные высказывания</p>	<p>$\neg B_S\varphi$ (не верно, что Г считает, что φ истинно)</p>
<p>2.2.1. Неискренние высказывания</p>	<p>$BS\neg\varphi$ (Г считает, что φ не имеет места)</p>										
<p>2.2.2. Искренние высказывания</p>	<p>$\neg {}^sCB_{S,H} \varphi$ (не верно, что и С, и Г очевидно, что φ истинно)</p>										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="219 1512 598 1576"> <p>2.2.2.1. Внутренне обоснованные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1512 977 1576"> <p>$B_S\varphi$ (Г считает, что φ истинно)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="219 1576 598 1641"> <p>2.2.2.2. Безосновательные высказывания</p> </td> <td data-bbox="598 1576 977 1641"> <p>$\neg B_S\varphi$ (не верно, что Г считает, что φ истинно)</p> </td> </tr> </table>	<p>2.2.2.1. Внутренне обоснованные высказывания</p>	<p>$B_S\varphi$ (Г считает, что φ истинно)</p>	<p>2.2.2.2. Безосновательные высказывания</p>	<p>$\neg B_S\varphi$ (не верно, что Г считает, что φ истинно)</p>						
<p>2.2.2.1. Внутренне обоснованные высказывания</p>	<p>$B_S\varphi$ (Г считает, что φ истинно)</p>										
<p>2.2.2.2. Безосновательные высказывания</p>	<p>$\neg B_S\varphi$ (не верно, что Г считает, что φ истинно)</p>										



Список литературы

- Грайс, 1985 – *Грайс Г.П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. XVI. М.: Прогресс, 1985. С. 217–238.
- Драгалина-Черная, 2014 – *Драгалина-Черная Е.Г.* Плодотворные тавтологии и прагматические противоречия // Васюков В.Л., Драгалина-Черная Е.Г., Долгоруков В.В. *Logica Ludicra: аспекты теоретико-игровой семантики и прагматики.* СПб.: Алетейя. С. 62–75.
- Падучева, 1985 – *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотносительность с действительностью. М.: Наука, 1985. 272 с.
- Aumann, 1976 – *Aumann R.J.* Agreeing to Disagree // *The Annals of Statistics.* 1976. Vol. 4. No. 6. P. 1236–1239.
- Bonanno, 1996 – *Bonanno G.* On the Logic of Common Belief // *Mathematical Logic Quarterly.* 1996. Vol. 42. P. 305–311.
- Douven, 2010 – *Douven I.* The Pragmatics of Belief // *Journal of Pragmatics.* 2010. Vol. 42. No. 1. P. 35–47.
- Grice, 1975 – *Grice, H.P.* Logic and conversation // *Syntax and semantics / Ed. P. Cole, J. Morgan.* N. Y.: Academic Press, 1975. P. 41–58.
- Heifetz, 1999 – *Heifetz A.* Iterative and Fixed Point Common Belief // *Journal of Philosophical Logic.* 1999. Vol. 28. No. 1. P. 61–79.
- Heifetz, 1996 – *Heifetz A.* Common Belief in Monotonic Epistemic logic // *Mathematical Social Sciences.* 1996. Vol. 32. No. 2. P. 109–123.
- Hinchman, 2013 – *Hinchman E.S.* Assertion, Sincerity, and Knowledge // *Noûs.* 2013. Vol. 47. No. 4. P. 613–646.
- Hindriks, 2007 – *Hindriks F.* The Status of the Knowledge Account of Assertion // *Linguistics and Philosophy.* 2007. Vol. 30. No. 3. P. 393–406.
- Jary, 2010 – *Jary M.* Assertion. L.: Palgrave Macmillan, 2010. 234 p.
- Lewis, 1969 – *Lewis D.* Convention: A philosophical Study. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1969. 228 p.
- Lismont, Mongin 1994 – *Lismont L., Mongin P.* Strong Completeness Theorems for Weak Logics of Common Belief // *Journal of Philosophical Logic.* 2003. Vol. 32. No. 2. P. 115–137.
- Maitra, Weatherson, 2010 – *Maitra I., Weatherson B.* Assertion, Knowledge, and Action // *Philosophical Studies.* 2010. Vol. 14. No. 1. P. 99–118.
- Pacuit, 2013 – *Pacuit E.* Dynamic Epistemic Logic I: Modeling Knowledge and Belief // *Philosophy Compass.* 2013. Vol. 8. No. 9. P. 798–814.
- van Benthem, 2014 – *van Benthem J.* Natural Language and Logic of Agency // *Journal of Logic, Language and Information.* 2014. Vol. 23. No. 3. P. 367–382.
- van Ditmarsch, 2013 – *van Ditmarsch H.P.* Dynamics of Lying // *Synthese.* 2013. Vol. 191. No. 5. P. 745–777.
- van Ditmarsch, van der Hoek, Kooi, 2007 – *van Ditmarsch H.P., van der Hoek W., Kooi B.* Dynamic Epistemic Logic. Dordrecht: Springer, 2007. 296 p.
- Wilson, 2006 – *Wilson D.* The pragmatics of verbal irony: Echo or pretence? // *Lingua.* 2006. Vol. 116. No. 10. P. 1722–1743.



References

- Grice H.P. Logika i rechevoe obshchenie [Logic and Conversation]. In: *The Novoe v zarubezhnoj lingvistike – New in Foreign Linguistics*, vol. XVI. Moscow: Progress, 1985, pp. 217–238. (In Russian)
- Grice H.P. Logic and conversation in Cole P., Morgan J. (eds.) *Syntax and semantics*. New York: Academic Press, 1975, pp. 41–58.
- Dragalina-Chernaya E.G. Plodotvornye tautologii i pragmaticheskie protivorechiya [Fruitful Tautologies and Pragmatic Contradictions]. In: *Vasyukov V.L. Dragalina-Chernaya E.G., Dolgorukov V.V. Logica Ludicra: aspekty teoretiko-igrovoj semantiki i pragmatiki* [Logica Ludicra: Issues in Game-Theoretic Semantics and Pragmatics]. Saint Petersburg : Aletheia, pp. 62–75. (In Russian)
- Paducheva E.V. *Vyskazyvanie i ego sootnesennost s dejstvitelnostyu* [Utterance and its Relation to Reality]. Moscow: Nauka, 1985. 272 p. (In Russian)
- Aumann R.J. Agreeing to Disagree. In: *The Annals of Statistics*, 1976, vol. 4, no. 6, pp. 1236–1239.
- Bonanno G. On the Logic of Common Belief. In: *Mathematical Logic Quarterly*, 1996, vol. 42, pp. 305–311.
- Douven I. The Pragmatics of Belief. In: *Journal of Pragmatics*, 2010, vol. 42, no. 1, pp. 35–47.
- Heifetz A. Iterative and Fixed Point Common Belief. In: *Journal of Philosophical Logic*, 1999, vol. 28, no. 1, pp. 61–79.
- Heifetz A. Common Belief in Monotonic Epistemic Logic. In: *Mathematical Social Sciences*, 1996, vol. 32, no. 2, pp. 109–123.
- Hinchman E.S. Assertion, Sincerity, and Knowledge. In: *Noûs*, 2013, vol. 47, no. 4, pp. 613–646.
- Hindriks F. The Status of the Knowledge Account of Assertion. In: *Linguistics and Philosophy*, 2007, vol. 30, no. 3, pp. 393–406.
- Jary M. *Assertion*. London: Palgrave Macmillan, 2010. 234 p.
- Lismont L., Mongin P. Strong Completeness Theorems for Weak Logics of Common Belief. In: *Journal of Philosophical Logic*, 2003, vol. 32, no. 2, pp. 115–137.
- Lewis D. *Convention: A Philosophical Study*. Cambridge MA: Harvard University Press, 1969. 228 p.
- Maitra I., Weatherston B. Assertion, Knowledge, and Action. In: *Philosophical Studies*, 2010, vol. 149, no. 1, pp. 99–118.
- Pacuit E. Dynamic Epistemic Logic I: Modeling Knowledge and Belief. In: *Philosophy Compass*, 2013, vol. 8, no. 9, pp. 798–814.
- van Benthem J. Natural Language and Logic of Agency. In: *Journal of Logic, Language and Information*, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 367–382.
- van Ditmarsch H.P. Dynamics of Lying. In: *Synthese*, 2013, vol. 191, no. 5, pp. 745–777.
- van Ditmarsch H.P., van der Hoek W., Kooi B. *Dynamic Epistemic Logic*. Dordrecht: Springer, 2007. 296 p.
- Wilson D. The pragmatics of verbal irony: Echo or pretence? In: *Lingua*, 2006, vol. 116, no. 10, pp. 1722–1743.

НЕНАБЛЮДАЕМЫЕ СУЩНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ: СОЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТЫ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ?

Мамчур Елена Аркадьевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail: emamchur839@yandex.ru



Рассматривается вопрос об онтологическом статусе ненаблюдаемых сущностей современной физики: являются ли они реальными объектами или представляют собой социальные конструкты? Первую точку зрения отстаивают конструктивисты-реалисты; вторую – сторонники очень влиятельного в настоящее время социального конструкционизма. С позиции реалистов такие микрообъекты, как промежуточные векторные бозоны, или бозон Хиггса (недавно зафиксированный в экспериментах на Большом адронном коллайдере) существуют в природе до того, как их предсказывает теория. В физических экспериментах их *открывают*, а не *создают*. С позиции социальных конструкционистов, напротив, упоминающиеся микрообъекты «создаются» в специально поставленных для их фиксации экспериментах. Автор обосновывает справедливость реалистической позиции, анализируя ход и результаты знаменитого в истории современной физики эксперимента, целью которого было обнаружение промежуточных векторных бозонов. Открытие бозонов подтвердило теорию электрослабых взаимодействий, на основе которых существование промежуточных бозонов было предсказано.

Ключевые слова: ненаблюдаемые сущности, социальный конструкционизм, социальные конструкты, реальные объекты, сущностный реализм, преддетерминированность естественнонаучных понятий

UNOBSERVABLE ENTITIES IN MODERN PHYSICS: SOCIAL CONSTRUCTS OR REAL OBJECTS?

Elena Mamchur – DSc in Philosophy, chief research fellow. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation; e-mail: emamchur839@yandex.ru

The paper deals with the problem of ontological status of unobservable entities of modern physics. Author considers the question whether they are real objects or social constructs? The first point is being supported by constructive realists; the second one is backed by those who stand by a very influential strategy of the so-called social constructionism. Realists assume that intermediate vector bosons (as well as Higgs boson recently discovered by the experiments at the Large Hadron Collider) do exist in reality before being predicted by the theory of electroweak interaction. They are *discovered*, not *created*. In the discourse of social constructionism, the mentioned micro-objects, on the contrary, are being *created* in the process of a specially set up experiments. The author confirms truthfulness of the realistic approach by analyzing the well-known in modern history of physics experiment on discovering the intermediate vector bosons.

Keywords: unobservable entities, realism, constructionism, real objects, social constructs, predetermination of scientific notions



Статья посвящена анализу противостояния конструктивного реализма и социального конструкционизма в сфере истолкования естественнонаучных (а именно, физических) понятий. Существует большая литература, посвященная социальному конструкционизму. Но я не буду вникать в уже не раз обсуждавшиеся детали этого многоликого направления. В 70-х гг. прошлого века такие книги, как [Latour, Woolgar, 1979], [Searle, 1995], а также работы Т. Куна, К. Поппера, И. Лакатоса и др. широко обсуждались и в западной, и в отечественной литературе. Данная статья преследует более узкую цель: познакомить современного читателя с новыми физическими данными, которые могут дать повод для размышлений над аргументами вновь оживившейся полемики.

Поводом для написания статьи послужила реакция представителей социального конструкционизма на такое событие в физическом познании как открытие бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере. Социальные конструкционисты приняли большое участие в трактовке сути этого события. В отличие от корреспондентов газет, представителей СМИ, особенно не вникавших в детали события, социальные конструкционисты восприняли его как аргумент для подтверждения правильности своего направления: они истолковали его не как *открытие* новой частицы, а как ее *создание, конструирование*.

И бозон Хиггса, и открытые ранее промежуточные W и Z бозоны действительно конструируются в процессе исследования. Вопрос в том, существуют ли они в природе до того, как их предсказывает теория, или действительно создаются в грандиозных экспериментальных установках, характерных для современной физики частиц? Этот вопрос имеет прямое отношение к столь актуальной в настоящее время проблеме реализма.

В свое время И. Кант охарактеризовал ситуацию в философии, когда все еще отсутствуют убедительные и веские доказательства существования вещей вне нас (основной тезис реализма) скандалом философии и общечеловеческого разума. В своей заочной полемике с Кантом М. Хайдеггер заметил: «Скандал в философии состоит не в том, что этого доказательства до сих пор нет, но в том, что такие доказательства снова и снова ожидаются и предпринимаются... Верно понятое присутствие противится таким доказательствам, потому что в самом бытии оно всегда есть то, что запоздалые доказательства почитают за необходимость ему впервые продемонстрировать» [Хайдеггер, 1997, с. 205]. *Познающий субъект, по Хайдеггеру, не противостоит миру, а существует в мире, присутствует в нем.*

Хайдеггер исходил из представлений о реальном мире, в котором живет и действует человек, как источнике всех человеческих идей и представлений. Э. Гуссерль называл этот мир «жизненным миром»



человека¹. Возможно, в то время, когда Хайдеггер писал вышеприведенные слова, он еще не задумывался над тем, что философия вступает в совсем другую эпоху, когда наука переходит от классической к неклассической стадии развития, когда ее объектами становятся ненаблюдаемые сущности. Знание о ненаблюдаемых не извлечешь непосредственно из жизненного мира человека.

В полной мере проблема онтологического статуса ненаблюдаемых и ее сложность были осознаны Хайдеггером в его более поздних работах. «Видели ли когда-нибудь физики действительность? – вопрошает Хайдеггер на одном из Цолликоновских семинаров. – Речь о соответствии действительности вообще не имеет никакого смысла. Электроны и тому подобное являются гипотезами, которыми можно оперировать, но никто их не видел» [Хайдеггер, 2012, с. 52].

Собственно, ненаблюдаемые были и в классической науке. Но причина их ненаблюдаемости была в том, что они не были доступны нашему непосредственному восприятию, нашим органам чувств. Мельчайшие живые организмы (типа бактерий и вирусов) в биологии; структурные элементы клеток живых организмов (ядра клеток, митохондрии и т. п.); **атомы в физике; далекие звезды, невидимые невооруженным глазом** – стали видимыми и наблюдаемыми, как только были открыты и изобретены приборы, усовершенствующие наши органы чувств – микроскопы, телескопы и т. д.

Ненаблюдаемые объекты современной физики не наблюдаемы в принципе. Здесь дело не в усовершенствовании наших органов чувств, а в самой природе этих объектов. Микрочастицы – объекты квантовой механики. **И если принимать в качестве верной копенгагенскую интерпретацию этой теории**, они обладают такими, не имеющими аналогов в макромире свойствами, как корпускулярно-волновой дуализм, суперпозиция состояний – способность находиться сразу во всех возможных состояниях и т. д. Как представить себе объекты, которые (как микрочастицы в двухщелевом эксперименте) способны пролетать сразу через обе щели, формируя на экране интерференционную картину? В макромире мы не находим никаких аналогов таких объектов. Не удивительно, что микрообъекты фигурируют в философии науки как продукты конструктивной деятельности ученых, как конструкты.

Следует, однако, оговориться: принципиально ненаблюдаемыми могут быть и макро и даже мега-объекты классической науки. Таким объектом была, да и теперь для земного наблюдателя остается истинная картина движения небесных тел. Коперник отказался от види-

¹ А.П. Огурцов приводит такое определение жизненного мира человека: «Жизненный мир, по Гуссерлю – это дотеоретический мир опыта, в котором природа и дух даны в изначально созерцаемом взаимодействии. К нему должны быть редуцированы все создаваемые понятия, методы, теории науки» [Огурцов, 2010, с. 4].



мой картины движения этих тел как неверной. Птолемей, напротив, спасал видимую картину, считая ее правильной. Заслугой Коперника было то, что он отважился, как писал Кант, – «идя против показаний чувств, но следуя при этом истине, отнести наблюдаемые движения не к небесным телам, а к их наблюдателю» [Кант, 2006, с. 25].

В чем суть процедуры конструирования? Какую роль играют в этом процессе теоретические ресурсы и какую – материальные компоненты? Все эти вопросы в современной философии науки являются дискуссионными. Спор идет между реалистически мыслящими конструктивистами (среди которых и большая часть ученых) и теми, для кого понятия «конструкт» и «конструктивизм» отождествляются с анти-реализмом.

Конструктивизм бывает разным. В дальнейшем изложении я буду иметь в виду только социальный конструкционизм, поскольку представители этого философского направления занимаются истолкованием природы понятий естественных наук, в частности тех, которыми пользуются физики, интерпретируя результаты экспериментов по поиску бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере (БАК'e).

Социальные конструкционисты утверждают, что бозон Хиггса – результат работы не только большого числа физиков-теоретиков и экспериментаторов, но и «армии» инженеров, построивших суперколлайдер, большого числа организаторов науки, технологов, построивших экспериментальные установки, дизайнеров экспериментальных установок и даже самих этих экспериментальных установок. Э. Пиккеринг, Б. Латур, Т. Кинной и другие исследователи современного научного познания утверждают, что в создании бозона Хиггса участвовали даже популяризаторы науки, корреспонденты газет и телевидения, все те, кто интерпретировал, истолковывал и пропагандировал открытие бозона (иногда, добавим от себя, не вполне точно). Как представляется, однако, сколь бы большим не было число участвующих в выявлении бозона Хиггса администраторов и репортеров, их деятельность не имела никакого отношения к рождению бозона. Это все интересно, конечно, но только для социологии науки. К философии науки социология научного познания не имеет прямого отношения.

Прежде чем вникать в суть спора между конструктивистами-реалистами, и конструктивистами-антиреалистами проанализируем один из наиболее значимых для современного физического познания эксперимент, посвященный поиску промежуточных W - и Z -бозонов, завершившийся их обнаружением в 1983 г.

Это открытие в современной фундаментальной физике имело большое значение, поскольку промежуточные бозоны ответственны за существование одного из четырех фундаментальных взаимодействий – слабого. Они сыграли большую роль в обосновании стан-



дартной модели физики элементарных частиц. В настоящее время результаты этих экспериментов отошли на второй план в связи с реализацией эксперимента по поиску бозона Хиггса, который, как утверждают физики, закрыл последнюю брешь в стандартной модели элементарных частиц: он объяснил, каким образом частицы получают массы. Тем не менее, как говорит ведущий отечественный физик-теоретик В.А. Рубаков, «промежуточные бозоны, хотя и открыты давно, но в разговоре про бозон Хиггса – очень даже по существу» [Рубаков, 2014]. Верно и обратное.

Теоретические предпосылки эксперимента

В 1972 г. американские физики А. Салам, С. Вайнберг и Ш. Глэшоу сформулировали теорию электрослабого взаимодействия (впоследствии все они получили за это открытие Нобелевскую премию). Если принимать как адекватную действительности модель происхождения нашей Вселенной, содержащейся в концепции Большого взрыва, можно утверждать, что электрослабое взаимодействие существовало в ранней Вселенной при высоких энергиях (порядка 100 ГэВ). Его поддерживала калибровочная симметрия между электромагнитными и слабыми взаимодействиями. (Одна из фундаментальных идей в современной физике – убеждение, что все взаимодействия существуют для того, чтобы поддерживать в природе некий набор абстрактных симметрий.) При понижении температуры (энергии) эта симметрия спонтанно нарушилась. Появилось два взаимодействия – электромагнитное и слабое. Это два совершенно разных взаимодействия, обладающие различными свойствами. Переносчиками электромагнитных взаимодействий являются безмассовые фотоны; переносчиками слабых взаимодействий – массивные W и Z – бозоны.

Естественно возникла идея эксперимента по проверке сделанных на основе теории электрослабых взаимодействий предсказаний существования промежуточных бозонов. Доказательство их существования должно было подтвердить правильность теории электрослабого взаимодействия.

Описание эксперимента

В 1976 г. Д. Клайн, П. Макинтайр и К. Руббиа предложили для поиска W - и Z -бозонов построить в ЦЕРНе новый ускоритель, поскольку ни один из существующих в мире ускорителей не обладал энергией,



достаточной для обнаружения частиц столь большой массы. (Предсказанные массы бозонов были в районе 80–90 ГэВ/c².) В 1981 г. под руководством С. Ван дер Меера этот ускоритель был построен. Это был суперсинхротрон, представлявший собой протон-антипротонный коллайдер с энергиями сталкивающихся частиц по 270 ГэВ (позднее энергия была увеличена до 315 ГэВ).

Предполагалось, что **W** и **Z** бозоны будут рождаться в столкновениях такого рода

$$p + \bar{p} \rightarrow W^{\pm} + X \text{ и } p + \bar{p} \rightarrow Z + X, (1)$$

где p – протоны, \bar{p} – антипротоны, X – совокупность других частиц, не участвующих в этом процессе (физики называют их «наблюдателями»). Протон и антипротон состоят, соответственно, из трех кварков ($p = uud$) и трех антикварков ($\bar{p} = \bar{u}\bar{u}\bar{d}$), так что промежуточные бозоны рождаются в кварк-антикварковом взаимодействии

$$u + \bar{d} \rightarrow W^+; \bar{u} + d \rightarrow W^-; u + \bar{u} \rightarrow Z; d + \bar{d} \rightarrow Z. (2)$$

остальные два кварка и два антикварка не участвуют в рассматриваемом процессе. Они продолжают свое движение в продольном направлении, т. е. в направлении движения первичных p -пучков, формируя струи адронов и антиадронов.

Из теории следовало, что время жизни нерелятивистского промежуточного бозона очень мало – порядка $3 \cdot 10^{-25}$ сек, так что зафиксировать его рождение можно было только по факту его распада.

Обнаружилось, однако, что искать **W**- и **Z**-бозоны в кварк-антикварковых ветвях их распада нецелесообразно, т. к. кварк и антикварк тонут в огромном потоке «наблюдателей». Было принято решение искать их по их распаду на лептоны, которые вылетают в направлении *поперечном* к линии столкновения протонов с антипротонами. Речь идет о следующих реакциях

$$W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e; W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e \text{ и } Z \rightarrow e^- + e^+, (3)$$

Возьмем, например, первую реакцию в формуле (2), в которой u и \bar{d} кварки испытывают лобовое столкновение, в результате чего рождается W^+ бозон. Потом W^+ распадается на позитрон и электронное нейтрино (см, формулу (3), первая реакция), которые летят в противоположных друг по отношению к другу поперечных направлениях с одинаковыми импульсами. Теоретические расчеты показывали, что никаких других частиц, летящих в поперечном направлении, в таком распаде W^+ бозона не должно быть.

Что касается нейтрино, то они ускользали от фиксации, так как пробег нейтрино с энергией 40 ГэВ в твердой среде превышает миллион км. *Так что, согласно предсказанию теории, событие с одним*



электроном, летящим с энергией 40 ГэВ в поперечном направлении и с недостающим поперечным импульсом в 40 ГэВ в противоположном направлении, является доказательством распада W^+ бозона, а значит, и доказательством его существования.

По такой же схеме было доказано и рождение отрицательно-го W^- - бозона. Для доказательства существования Z^0 бозона нужно было наблюдать летящие в противоположных (и также поперечных) направлениях электрон и позитрон с энергией по 45 ГэВ каждый.

Согласно теории электрослабых взаимодействий появление промежуточных бозонов является очень редким событием. Лишь 8 % родившихся W^\pm бозонов распадаются по лептонному каналу распада. Рождение Z^0 бозонов происходит еще реже. Низкие вероятности искомых событий привели к тому, что в первых экспериментальных сеансах количества обнаруженных распадов исчислялось единицами. В 30-дневном сеансе в ноябре-декабре 1982 г. в 1 млрд протон-антипротонных соударений было зафиксировано только 6 событий, значимых для проверки теории электрослабых взаимодействий. В результате усовершенствования детектирующих установок в 1983 г. количество событий возросло до нескольких десятков для W^\pm - бозонов. Что касается Z^0 - бозонов, то было обнаружено 13 случаев их рождения и распада. Данные экспериментов позволили определить массы обнаруженных бозонов. Они практически совпали с предсказанными электрослабой теорией.

В 1984 г. К. Руббиа и С. Ван дер Мейер были удостоены Нобелевской премии «за определяющий вклад в проект, осуществление которого привело к открытию частиц, переносящих слабое взаимодействие».

На этом в описании эксперимента можно остановиться. Для целей данной статьи дальнейшие детали не важны. Это уже техника.

Анализ результатов эксперимента

Эксперименты по поиску промежуточных бозонов, так же как и однотипный эксперимент по поиску бозона Хиггса, являются тем материалом, на который ссылаются социальные конструкционисты и вообще все те исследователи науки, которые утверждают, что в ходе таких экспериментов мы *создаем* рассматриваемые микрообъекты, а не открываем их.

Верно ли такое утверждение? Мне думается, что социальные конструктивисты делают в данном случае довольно типичную для современной философии науки ошибку: *они смешивают, не различают два на самом деле различных плана рассмотрения проблемы – эпистемологический (иногда говорят эпистемический) и онтологиче-*



ский. Чтобы остаться на реалистических позициях, конструктивист должен сказать: да, мы конструируем результаты экспериментов, но только в эпистемическом, но не в онтологическом смысле. Между тем социальные конструкционисты, оставаясь в рамках онтологического плана рассмотрения эксперимента, в котором бозоны обнаруживаются, рассуждают так, как будто в процессе эксперимента создаются, конструируются реальные объекты микромира, т. е. само сущее.

Следует, к тому же, напомнить, что эксперименты по обнаружению промежуточных векторных бозонов и бозона Хиггса проводились для проверки предсказаний соответствующих теорий. Поиски промежуточных бозонов осуществлялись для проверки *правильности* предсказания, сделанного на основе теории электрослабого взаимодействия. Поиски бозона Хиггса – для проверки важнейшей идеи стандартной модели физики элементарных частиц – процесса и механизма наделения частиц массой. Так что главный акцент делался на *проверке теорий*. Не удивительно, что в обоих случаях исследовательская работа была сильно нагружена концептуально, теоретически. Кроме того, поскольку решался вопрос о *правильности (истинности)* теорий, работа экспериментаторов носила явно выраженный *эпистемологический* характер.

Готовились условия для того, чтобы искомые бозоны смогли проявить себя в условиях эксперимента. Из теории были получены необходимые для проведения эксперимента подсказки, такие как 1) нужно искать не сами бозоны, а следы их распада; 2) **искать треки не в продольном, а в поперечном направлении** 3) теория подсказывала, следы каких реакций распада нужно искать; 4) объясняла, какие наблюдения треков и каких частиц можно будет считать доказательством существования бозонов и т. д.). Эйнштейн был прав, когда в разговоре с Гейзенбергом сказал, что «*теория* (акцент нужно сделать именно на слове *теория*. – *Е.М.*) прежде всего должна определить, что поддается наблюдению»² [Гейзенберг, 1987, с. 84].

Вообще, эпистемологические аргументы (возможно не всегда, но очень часто) предшествуют решению онтологической проблемы. Вспомним слова тонкого мыслителя и методолога физики Э. Маха, который утверждал, что, говоря о реальности объектов, нужно начинать с гносеологии.

Даже когда мы случайно обнаруживаем частицу в космических лучах, используя уже существующие приборы (например, камеру Вильсона), так что не требуется создания какой-либо особо сложной и громоздкой аппаратуры, мы вынуждены привлекать большой арсенал теоретических средств, для того чтобы понять, с чем мы имеем дело.

² «Этот довод, – продолжает В. Гейзенберг, – был для меня абсолютно новым и произвел на меня тогда неизгладимое впечатление; позже он сыграл важную роль также и в моей собственной работе и оказался чрезвычайно плодотворным в процессе развития новой физики» [Гейзенберг, 1987, с. 84].



Так был открыт позитрон – частица, существование которой предсказал П. Дирак. Открыта она была К.Д. Андерсоном в 1936 г., обнаружившим необычные треки в обычной пузырьковой камере. Он верно идентифицировал эти треки со следами космической частицы, определил, что ее масса равна массе электрона, но в отличие от электрона она имеет положительный заряд. Таким образом подтвердились предсказания Дирака о существовании позитрона.

Известно, что предсказания подтвердились и для промежуточных бозонов, и для бозона Хиггса. Кстати, здесь опять встает эпистемологический вопрос: значило ли это, что справедливость теорий была *доказана*? Для тех, кто был уверен, что модель Большого взрыва является единственно правильной для объяснения происхождения Вселенной – это было доказательством. Для других – результаты экспериментов были не доказательством, а, скорее, достаточно веским аргументом в пользу теории электрослабого взаимодействия, а в случае с бозоном Хиггса – правильности стандартной модели как целого.

Существуют ведь и альтернативные объяснительные модели происхождения и эволюции Вселенной. Так, например, после окончания Второй мировой войны были выдвинуты гипотеза стационарного состояния Вселенной Г. Бонди и Т. Голда и близкая к ним гипотеза Ф. Хойла (1948), а также теория старения фотона Ф. Цвикки (1929 г.). Выдвижение этих гипотез вызвало в то время бурную дискуссию в космологических кругах.

В отличие от всех релятивистских моделей, в основе которых лежал известный космологический принцип, согласно которому Вселенная *одинакова по всем направлениям в пространстве*, модель стационарного состояния основывалась на так называемом *совершенном космологическом принципе* (сформулированном авторами гипотезы). Его суть состояла в утверждении, что Вселенная одинакова не только по всем направлениям в пространстве, но и в любой момент времени.

Гипотеза учитывала существование закона Хаббла и явление красного смещения и включала их в свое содержание. Как это совмещалось с представлениями о стационарной Вселенной? Дело в том, что авторы гипотезы выдвинули предположение, что, несмотря на то, что все галактики удаляются друг от друга по закону Хаббла (точнее следует сказать, что разбегаются не галактики, а расширяется пространство), состояние распределения материи сохраняется в результате «творения материи»: на месте старых галактик, которые покинули свои места в результате расширения Вселенной, появляется новая материя. Это нарушение закона сохранения материи не было до сих пор обнаружено, утверждали сторонники стационарной гипотезы, поскольку оно совершается чрезвычайно медленно.

Гипотеза старения фотонов, выдвинутая впервые Ф. Цвикки, не предполагала расширения Вселенной. Эффект красного смещения объяснялся тем, что движущиеся через пространство фотоны «устанут»,



теряют энергию. Энергия фотона $\varepsilon = h\nu$, где h – постоянная Планка, а ν – частота света. Если энергия фотона уменьшается, частота света также уменьшается, а, значит, длина волны растет: $\lambda = 1/\nu$. Происходит смещение линий спектра галактики в сторону красного конца спектра.

Гипотезы стационарного состояния сошли со сцены. Важнейшим аргументом для их отрицания оказалось нарушение закона сохранения материи и энергии. Но с тех пор появились новые альтернативные модели концепции Большого взрыва, у которых также есть много сторонников.

Создание объектов

У истоков дебатов по поводу использования социального конструкционизма для истолкования естественнонаучных понятий стоял Я. Хакинг – один из наиболее пронизательных (по оценке Р. Рорти [Rorty, 1999]) современных философов науки. Это Хакингу принадлежит идея «создания феноменов», положившая начало представлениям о том, что явления в современной науке не открывают, а создают [Хакинг, 1998, с. 129–241]. Так что к аргументам социальных конструкционистов, возможно, стоит отнести более внимательно.

Многие объекты и явления в науке действительно создаются. Например, тяжелые трансурановые химические элементы. В периодической системе они стоят после урана и имеют атомные номера большие, чем 92. В природе они, как полагают физики, отсутствуют. Их получают искусственно посредством различных ядерных реакций. Элементы до фермия включительно образуются в ядерных реакторах в результате захвата нейтронов и последующего β -распада. Первые трансурановые элементы как раз и были получены в атомных реакторах в результате облучения изотопа урана U^{238} нейтронами. В результате захвата нейтрона и последующего β -распада заряд первоначального ядра увеличивается на единицу, что означает создание элемента с большим атомным номером. Облучение мишеней мощными потоками нейтронов, которые образуются в ядерных реакторах или при взрыве ядерных устройств, позволяет получить все трансурановые элементы вплоть до фермия включительно. Трансфермиевые элементы создаются в результате слияния ядер.

Поиски сверхтяжелых трансурановых элементов в природе не увенчались успехом. Правда, в 2011 г. российские ученые сообщили об открытии в метеоритном веществе следов столкновений с частицами с атомными числами от 105 до 130, что может являться косвенным доказательством существования в природе стабильных сверхтяжелых



ядер. Насколько эта информация подтвердилась в дальнейшем, мне неизвестно, но даже если она подтвердилась, вначале сверхтяжелые трансурановые элементы только синтезировали.

Что касается «создания феноменов», о котором говорил Я. Хакинг, то у него речь идет об эффектах, которые до их конструирования в экспериментальных установках в природе не существовали. Эффект Джозефсона, эффект Холла, эффект Комптона, фотоэффект и т. п. с точки зрения Хакинга, «не существуют вне аппаратуры определенного типа». И хотя, как пишет Хакинг, многие философы науки и даже многие физики предпочитают думать, что «явления, обнаруженные в лаборатории, представляют собой части Божьего рукоделия, которое еще предстоит открыть», все эти «эффекты, по крайней мере в чистом виде, могут быть реализованы только в современных высокотехнологичных экспериментальных установках» [Хакинг, 1998, с. 229–241]. Так что ничего таинственного в хакинговской идее «создания феноменов», по-видимому, нет.

Совсем иная ситуация складывается при поиске бозона Хиггса или промежуточных W - и Z -бозонов. В отличие от трансурановых химических элементов эти частицы *существуют* в природе. И существовали задолго до того, как были вызваны к жизни в экспериментальных установках. Правда, повторяем, утверждать это можно, только если основываться на представлении об адекватности действительности модели Большого взрыва, признавать в качестве верной стандартную модель физики элементарных частиц, а значит быть убежденным в том, что в природе реализуется слабое взаимодействие, частицы имеют массу, которую они получили благодаря механизму Хиггса и т. д., и т. п.

Вот такая цепочка эпистемологических аргументов должна быть выстроена, прежде чем мы сможем решать онтологический вопрос, существуют ли они в природе вообще. Это еще раз подтверждает правоту Эйнштейна, утверждавшего: «*Это теория* решает, что мы можем наблюдать» (курсив мой. – Е.М.).

Что касается поисков конкретных частиц, требуются, как мы видим, монументальные экспериментальные установки и усилия большого количества физиков-теоретиков и экспериментаторов, инженеров и организаторов науки. Вся эта техника и деятельность людей были направлены на то, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы *обнаружить* искомые частицы.



Социальный конструкционизм и природа микрочастиц

Насколько, однако, правы социальные конструкционисты, которые на основании того, что для обнаружения частиц требуются сложные и масштабные экспериментальные установки заявляют, что полученные в экспериментах на суперколлайдерах частицы *создаются*, или что они лишь частично материальны, что на самом деле они являются гибридами, смесью дискурсивных (в данном случае теоретических, концептуальных) и материальных компонентов? Послушаем, что говорит, например, Том Кинной – один из постмодернистских философов, близкий к кругам социальных конструктивистов. На вопрос о том, что представляет собой бозон Хиггса, он отвечает: «Лучшее, на что мы можем надеяться – он является многогранным «гибридным объектом», который соединяет в себе нестабильную, меняющуюся смесь культурных, исторических, технологических, политических и природных элементов» [Кееноу, 2013].

О «гибридности» бозонов говорит и Б. Латур, утверждая, что они являют собой смесь дискурсивного (аспект культуры) и материального (аспект природы) (Цит. по: [Кееноу, 2013, р. 138]). Т. Кинной замечает по этому поводу: «Б. Латур живо продемонстрировал, почему наше чистое, нетронутое различие между природой и культурой, человечностью и вещьностью, дискурсом и материей нереализуема на практике» [Кееноу, 2013, с. 140].

Представляется, однако, что на самом деле культурные и социальные моменты, связанные как с обнаружением бозона Хиггса (также как и с обнаружением промежуточных бозонов), вообще никак не могут входить в качестве каких-либо компонентов в его структуру. Анализ и учет социальных компонентов (например, той социальной деятельности, которую осуществляют организаторы науки) – является предметом социологии науки, не имеющей прямого отношения к философии науки. Что касается связи между материальными компонентами структуры бозонов и дискурсивными факторами, то она, конечно, существует, но, опять-таки, только если ограничиться эпистемическим аспектом исследования частиц, частью которого является процесс получения результата экспериментов. Если же иметь в виду онтологический аспект, то никаких дискурсивных компонентов в этих результатах нет.

Обнаруживаемые частицы существуют, что бы мы ни понимали под словом «существование». Мы не знаем пока, что они собой представляют и как они существуют. И до того, как мы это узнаем, по-видимому, еще очень далеко. Мы знаем только одно: они оставляют вполне материальные следы своего распада в виде треков или других микрообъектов. Значит, *нечто* существует.



И это «нечто» проделывает иногда очень полезную работу. Такую, как, например, в криптографии и других известных приложениях квантовой механики (точнее квантовой теории информации – КТИ): создание квантовых компьютеров, квантовой телепортации, квантовой криптографии. Все известные технологические приложения КТИ не могли бы быть сделанными, если бы прикладники и технологи не оперировали реально существующими «нечто».

Хакинг в 80-х гг. XX в. сформулировал концепцию экспериментального (или сущностного) реализма. В **противовес господствующему** в философии науки пантеоретизму, с которым он не согласен, Я. Хакинг выдвигает свою концепцию реализма, получившую в философии науки название *экспериментальный (иногда «сущностный») реализм*. С точки зрения этой концепции критерием реальности того или иного теоретического объекта выступает возможность манипулировать им, используя его для получения некоторых других реальных эффектов. Например, основанием для утверждений о реальности такого ненаблюдаемого объекта, как электрон, служит то, что электроны можно напылять на другие объекты. Хакинг описывает эксперимент по поиску свободных кварков, идея которого была заимствована у открывшего электроны Р. Милликена. Для поиска кварков требовалось на ниобиевом шаре увеличить или уменьшить электрический заряд. Это достигалось напылением на ниобиевый шар электронов или позитронов (электроны напыляли для того, чтобы увеличить отрицательный заряд; позитроны, чтобы уменьшить его). Успешность операции увеличения заряда убедила Хакинга в том, что электроны реальны. «С того дня я стал научным реалистом, – пишет Хакинг, – для меня, если нечто можно напылять, оно реально» [Хакинг, 1998, с. 37].

В поддержку позиции Хакинга можно привести и другие примеры. Так, доказательством существования той или иной элементарной частицы может служить то, что при соударении ее с другими микрообъектами (например, в современных суперколлайдерах) она выбивает из них другие частицы или порождает много новых частиц.

Критерий Хакинга действительно отражает то, что делается в экспериментальном естествознании. Но хотя его критерий является необходимым для решения проблемы реальности ненаблюдаемых объектов, он не является достаточным. Применяя его, мы можем выделить из тех объектов, которые постулируются теорией, те, которые действительно существуют. Но все, что мы можем сказать о них – это только то, что «существует нечто». Без теории мы не можем сказать ничего о свойствах и природе тех или иных ненаблюдаемых сущностей. Для того, чтобы узнать что-либо о свойствах электрона, мы должны будем опять-таки обратиться к теории. В настоящее время такой теорией является стандартная модель физики элементарных ча-



стиц. Только она может нам сказать, какими свойствами и характеристиками существующее «нечто» обладает. Так что без теории, т. е. без эпистемологического рассмотрения, не обойтись.

Социальные конструкционисты распространяют представления о природе понятий культуры (в частности, социальных понятий) на естественнонаучные термины. Действительно, такие понятия как «болезнь», «здоровье», «польза», «интеллект», «богатство», «счастье» и т. д. являются социальными конструктами. В разных культурах термин «болезнь» понимается по-разному. И то, что трактуется как болезнь в одной культуре, может совсем не считаться таковой в другой. И это понятно. Но попытки распространить идею социального конструкционизма на естественнонаучные понятия вызывают возражения. В отличие от социальных конструктов естественнонаучные понятия пре-детерминированы природой.

Вообще говоря, даже по отношению к гуманитарным понятиям было бы упрощением говорить, что они имеют только социальную природу. Как бы по-разному ни толковалось понятие болезнь в различных культурах, есть нечто общее, какая-то общая природная основа, на которой строятся и негативные и позитивные интерпретации. Существуют некоторые свидетельства, такие как странности поведения человека, указывающие на отклонения от норм, принятых в различных культурах. Шаманы и колдуны все-таки сильно отличаются от обычных людей, даже если они функционируют только в примитивных обществах.

Представители разных культур могут по-разному понимать, что такое счастье. Но ведь нельзя не согласиться с тем, что такой фактор, как субъективное восприятие индивидом условий его существования (а это не социальный, а материальный и психологический факторы), играет в данном случае определенную роль. Так что и в случае с гуманитарными понятиями можно говорить о некоторой пре-детерминированности их смыслов природными факторами, в данном случае окружающей средой или характером, генотипом индивида. Оба типа понятий и естественнонаучных, и гуманитарных несут на себе отпечаток влияния не только социума, но и природы. Различие здесь в степени. Но пренебрегать этим различием – значило бы упрощать ситуацию.

Проблема Пиккеринга

Одним из наиболее последовательных приверженцев социального конструкционизма является Э. Пиккеринг. Его книга «Конструирование кварков» [Pickering, 1984] широко известна в кругах физиков,



философов и историков науки. Основная идея книги выражена четко в самом ее названии. И **эта идея многих шокирует**. Кварки – элементарные частицы; согласно стандартной модели физики элементарных частиц они выступают вместе с другими частицами строительными блоками универсума. «Как же они могут быть сконструированными, если даже не иметь в виду социально сконструированными?» – спрашивает в этой связи Хакинг [Hacking, 1999, p. 78]. **Пытаясь рационально объяснить** и себе, и читателю позицию Пиккеринга, Хакинг проводит различие между кварками как объектами и кварками как идеями. Кварки – это объекты. И Пиккеринг, оказывается, совсем не имеет в виду, что конструктами выступают кварки как объекты. Но это в корне меняет суть дела. «Сказать, что Пиккеринг писал об идее кварков, скорее чем о самих кварках, значит лишить его главный тезис новаторства, – пишет Хакинг. – Ведь Пиккеринг намеревался писать не просто историю событий в физике высоких энергий в течение 70-х гг. прошлого века, он хотел говорить о чем-то более значимом. Но в чем заключается это “более значимое”», – задается вопросом Хакинг [Hacking, 1999, p. 79].

Одна из наиболее радикальных идей Пиккеринга (как он сам разъясняет Хакингу в одном из своих писем) состоит в том, что Пиккеринг считает, что кварковый путь не был для физики неизбежным. Физика 1970-х гг. отличается от докварковой физики. Различия есть и в отношении идей и в отношении аппаратуры. Финансовая поддержка физики высоких энергий могла прекратиться уже в послевоенное время: пришло время решения социальных проблем. Автор термина «кварк» (он же автор книги «Кварк и ягуар») М. Гелл-Ман мог стать экспертом не по кваркам, а по ягуарам (шутит Хакинг) [Hacking, 1999, p. 79].

Именно эта мысль беспокоит Пиккеринга. Он не верит в неизбежность хода истории физики высоких энергий. С его точки зрения эти изменения носят во многом случайный характер. Они не предопределены. Но далеко не все физики согласны с ним. Большая часть их думает иначе. Вот, например, позиция уже упоминавшегося в статье Нобелевского лауреата Шелдона Глэшоу. Он уверен, что «существуют вечные, объективные, социально нейтральные и универсальные истины и собрание (*assemblage*) этих истин есть то, что мы называем физической наукой» (цит. по: [Hacking, 1999, p. 88]).

Если судить по первой части моей статьи, я – на стороне Глэшоу. Но если вести в дискурс такой факт, что сами законы физики не являются чем-то неизменным, что они эволюционируют со временем (по крайней мере, если мы живем во Вселенной, моделью которой является концепция Большого взрыва), над проблемой, поднятой Пиккерингом, стоит поразмышлять. Известный физик-теоретик Ли Смолин, касаясь вопроса изменения законов в своей книге «Возвращение времени», отмечает, что если они менялись, то можно про-



следить, как менялись свойства Вселенной, от одной стадии развития Вселенной до наших дней, но невозможно утверждать, что этот набор свойств – единственный из возможных [Смолин, 2014, с. 11]. А ведь свойства Вселенной, да и ее законы, действительно менялись и весьма радикальным образом. Не вдаваясь в детали, можно напомнить, что в первые моменты существования Вселенной все четыре известные взаимодействия (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное) представляли собой одно взаимодействие; их единство было разрушено нарушениями симметрии, которые осуществлялись при охлаждении Вселенной вследствие ее расширения. Ну а что если мы живем в стационарной вселенной (например, вселенной Цвикки), где законы природы остаются неизменными? Можем ли мы тогда утверждать, что есть только один неизбежный путь развития физики?

Впрочем, проблема, поднятая Пиккерингом, хотя и очень интересная, уже выходит за рамки данной статьи и требует самостоятельного анализа. Нам важно подчеркнуть, что сам Пиккеринг не сомневался в том, что кварки – не социальные конструкты, а реальные объекты. Они были открыты под давлением новых теоретических идей в физике высоких энергий и их существование было подтверждено экспериментами. Размышляя над проблемой Пиккеринга, мы не должны упускать из вида вопрос об истине, об объективности знания. Нельзя забывать, что главная задача физики – выяснение того, что представляют собой строительные блоки универсума. И признание того, что кварки являются реальными объектами, а не социальными конструктами, такими же реальными как промежуточные W - и Z -бозоны или бозон Хиггса, является важным шагом на пути к решению этой задачи.

Список литературы

- Гейзенберг, 1987 – *Гейзенберг В.* Встречи и беседы с Альбертом Эйнштейном // *Гейзенберг В.* Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. 368 с.
- Кант, 2006 – *Кант И.* Соч. Т. 2 .Ч. 1. М.: Наука, 2006. 936 с.
- Огурцов, 2010 – *Огурцов А.П.* «Жизненный мир» и кризис науки // *VOX.* 2010. № 9. URL: <http://vox-journal.org/html/issues/vox9/133> (дата обращения: 10.07.2016).
- Рубаков, 2014 – *Рубаков В.А.* Бозон Хиггса открыт. Что дальше? URL: https://www.youtube.com/watch?v=bpWjxS9Xb_0 (дата обращения: 18.10.2016).
- Смолин, 2014 – *Смолин Л.* Возвращение времени. От античной космогонии к космологии будущего. М.: АСТ, 2014. 384 с.
- Хайдеггер, 1997 – *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. 447 с.



Хайдеггер, 2012 – *Хайдеггер М.* Цолликоновские семинары. Протоколы – беседы – письма. Вильнюс: Европ. гуманитар. ун-т, 2012. 329 с.

Хакинг, 1998 – *Хакинг Я.* Представление и вмешательство. Начальные вопросы философии естественных наук / Пер. с англ. С. Кузнецова; отв. ред. Е.А. Мамчур. М.: Логос, 1998. 291 с.

Hacking, 1999 – *Hacking I.* The social construction of what? N.Y.: Harvard University Press, 1999. 272 p.

Keenoy, 2013 – *Keenoy T.* Materializing material: some reflections on the Higgs Boson, discourse and materiality. Cardiff: Cardiff Business School, 2013. 265 p.

Latour, Woolgar, 1979 – *Latour B., Woolgar S.* Laboratory Life: The social construction of Scientific Facts. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1979. 296 p.

Pickering, 1984 – *Pickering A.* Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1984. 438 p.

Rorty, 1999 – *Rorty R.* The social construction of what? // The Atlantic Monthly, 1999, November 1999; Phony Science Wars – 99.11. Vol. 284. No. 5. P. 120–122. URL: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/11/phony-science-wars/377882/> (дата обращения: 15.09.2016).

Searle, 1995 – *Searle J.R.* The construction of social reality. N.Y.: The Free Press, 1995. 256 p.

References

Hacking I. *Predstavlenie i vmeshatel'stvo. Nachal'nye voprosy filosofii estestvennykh nauk* [Representing and intervening: introductory topics in the philosophy of natural science]. Moscow: Logos, 1998. 291 pp. (In Russian)

Hacking I. *The social construction of what?* New York: Harvard University Press, 1999. 272 pp.

Heidegger M. *Bytie i vremya* [Sein und Zeit]. Trans. by V.V. Bibikhin. Moscow: Ad Marginem, 1997. 447 pp. (In Russian)

Heidegger M. *Tsollikonovskie seminary. Protokoly – besedy – pis'ma* [Zollicon seminars. Protocols, talks and letters]. Vilnius: Evropeiskii gumanitarnyi universitet, 2012. 329 pp. (In Russian)

Heisenberg W. “Vstrechi i besedy s Al'bertom Einshteinom” [Encounters and Conversations with Albert Einstein], in: Heisenberg W. *Shagi za gorizont [Steps beyond the horizon]*. Moscow: Progress, 1987. 368 pp. (In Russian)

Kant I. *Sochineniya*. [Works. Vol. 2]. Moscow: Nauka, 2006. 936 pp. (In Russian)

Keenoy T. *Materializing material: some reflections on the Higgs Boson, discourse and materiality*. Cardiff: Cardiff Business School, 2013. 265 pp.

Latour B., Woolgar S. *Laboratory Life: The social construction of Scientific Facts*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1979. 296 pp.

Ogurtsov A.P. “‘Zhiznennyi mir’ i krizis nauki” [“Lebenswelt” and the crisis of science], in: VOX, 2010, no. 9. [<http://vox-journal.org/html/issues/vox9/133>, accessed 10.07.2016] (In Russian)

Pickering A. *Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1984. 438 pp.



Rorty R. “The social construction of what?”, *The Atlantic Monthly*, November 1999; Phony Science Wars – 99.11. Vol. 284. no. 5. P. 120–122. [<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/11/phony-science-wars/377882/>, accessed on 15.09.2016].

Rubakov V.A. *Bozon Khiggsa otkryt. Chto dal'she?* [The Higgs boson is opened. What's next?]. [https://www.youtube.com/watch?v=bpWjxS9Xb_0, accessed on 18.10.2016] (In Russian)

Searle J.R. *The construction of social reality*. New York: The Free Press, 1995. 256 pp.

Smolin L. *Vozvrashchenie vremeni. Ot antichnoi kosmogonii k kosmologii budushchego* [The refund of the time. From Antic cosmology towards the codmology of the future]. Moscow: AST, 2014. 384 pp. (In Russian)

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА*

Асеева Ирина Александровна – доктор философских наук, доцент. Юго-Западный государственный университет. Российская Федерация, 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94; e-mail: irinaaseeva2011@yandex.ru



Последовательная смена технико-технологических укладов, прошедшая за последние 250 лет, происходит не только через обновление всего производственного комплекса и внедрение инновационных технологий, но и как кардинальные и глубокие изменения в среде существования человека. Но если в предыдущих пяти укладах человечество трансформировало окружающую природу, то формирующийся VI технологический уклад проникает во внутреннюю природу, модифицируя саму сущность человека. Какими аксиологическими приоритетами должны руководствоваться наука и общество, чтобы не допустить катастрофических и необратимых последствий такого сложного и рискованного, при современных возможностях науки, научно-технического развития? Может ли профессиональная социо-гуманитарная экспертиза учесть потенциальные опасности использования новейших конвергентных NBIC-технологий? Какую роль может сыграть общественность и ученые-гуманитарии в анализе достижений науки и контроле за исследованиями? Эти проблемы обсуждаются автором в данной статье.

Ключевые слова: научно-техническое развитие, технологические уклады, NBIC, социальные гуманитарные технологии, социогуманитарная экспертиза, ценности

AXIOLOGICAL PRIORITIES OF THE VI TECHNOLOGICAL MODE

Irina Aseeva – DSc in Philosophy, assistant professor. Southwest State University. 94 50 let Oktiabrya St., Kursk, 305040, Russian Federation; e-mail: irinaaseeva2011@yandex.ru

During the last 250 years the change of technological modes has been occurring not only in the upgrading of the industrial complex and the integration of innovative technologies, but also through the radical transformations in the environment of human existence. The specifics of the VI technological mode in the comparison with the previous modes is the inner transformation of the human being. The author of this paper discusses the following questions: What are the axiological priorities that should be accepted by scientists and society to avoid catastrophic and irreversible consequences and risks of the scientific and technological development? Could professional socio-humanitarian expertise consider the potential dangers of using the new convergent NBIC-technologies? What role the public and humanitarian-scholars can play in the analysis of scientific achievement and monitoring research?

Keywords: scientific development, technological ways, NBIC, social humanitarian technologies, socio-humanitarian expertise, values

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ, проект № 15-18-10013 «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий».



Последовательный путь развития техногенной цивилизации и его социокультурный контекст

Исторически сложилось, что прогресс нашей цивилизации напрямую связывают с техническим прогрессом, а лидерство государств определяют по успешности реализации различных прорывных технологий. Мировое экономико-техническое развитие человечества связано с фундаментальными открытиями и изобретениями, лежащими в основе определенного технологического уклада. Он характеризуется единым технико-технологическим уровнем добычи природных ресурсов, специфичной организацией производства, доминированием различных отраслей, приоритетным направлением развития науки. Согласно теории знаменитого российского экономиста Н.Д. Кондратьева, в экономике одновременно действуют циклы разной продолжительности: сезонные (до 1 года), короткие (3–3,5 года), средние (7–11 лет) и «большие волны конъюнктуры» (48–55 лет) [Кондратьев, 2002]. Именно эти, длинные волны Й.А. Шумпетер связывал со всплесками изобретательской активности, внедрением инноваций, которые формируют ядро нового уклада в недрах старого [Schumpeter, 1939].

На основе инновационно-циклической теории экономического развития Шумпетера-Кондратьева [Акаев, Садовничий, 2012] современные ученые строят развернутые матрицы технологических укладов – «процесса последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств» [Глазьев, 2010]. Каждый технологический уклад отличается собственным ключевым фактором – ядром – набором базисных технологических процессов, фактически применяемых или характерных в течение достаточно длительного времени сфер и отраслей экономики и организационно-экономическим механизмом регулирования. По результатам анализа эмпирических данных, технологический уклад имеет три фазы развития и определяется периодом времени около 80–50 лет, причем каждый последующий уклад короче и интенсивнее предыдущего (согласно инфографике, опубликованной на официальном сайте Международного форума технологического развития «Технопром-2013»). Первая эмбриональная фаза приходится на его зарождение и внедрение нового технологического уклада в экономику – около 20–10 лет. Вторая – фаза роста уклада – связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства и соответствует периоду доминирования нового технологического уклада в течение примерно 40–20 лет. В третьей фазе – зрелости – 20–15 лет – происходит постепенный отход от доминирующих технологий, установок уклада, его постепенное «отмирание». Последовательная смена технологических укладов, или волн, частично перекрывающих друг дру-



га примерно в течение 10–20 лет, стимулируется новейшими научными открытиями, революционными технологическими новациями, что ведет к кардинальному переоснащению всего производственного комплекса. Вместе с тем наряду с техническими новациями в основании укладов лежат изменяющиеся запросы общества, обуславливающие новые ценностные приоритеты, ориентируясь на которые наиболее продвинутые сферы науки и производства постепенно трансформируют образ нашей цивилизации. Для того, чтобы лучше представить целостный процесс развития антропо-техносферы, кратко проследим ее динамику за последние 250 лет в комплексе научных, технологических и социокультурных взаимосвязей.

XVIII в., эпоха Просвещения явились отправной точкой развития европейской техногенной цивилизации. Этот третий духовный поворот, свершившийся после Возрождения и Реформации, полностью перестроил сословно-классовую структуру общества и изменил систему ценностей. Но еще раньше, в XVII в., Ф. Бэкон, Р. Декарт и Г. Галилей утверждают основания новой научной рациональности покорения природы, а И. Ньютон формулирует фундаментальные законы механики – основу грядущей машинной революции и закон всемирного тяготения – торжество человеческих возможностей познания мира.

Подчеркивая значение личного творческого усилия каждого человека, его знаний и опыта, просветители чутко уловили потребности общества XVIII в., стремление к рационализму, свободе и равным возможностям. Просвещение активизировало общественное сознание, способствовало росту революционных настроений в обществе и в итоге привело к коренным политическим реформам и укреплению капиталистических отношений. Основой I технологического уклада (1770–1850) стало применение машинных технологий в текстильной промышленности, выплавка чугуна, широкое использование водяного двигателя, что дало импульс развитию машиностроения и торговли. Англия, Голландия, Германия и Франция первыми отреагировали на потребности общества и вырвались в технологические лидеры этого этапа. Именно в этих странах раньше других были приняты государственные документы, защищающие частную собственность, стимулирующие предпринимательство и деловую активность. Европейская цивилизация ступила на путь технико-технологического развития, закрепляя в массовом сознании материальные ценности и устремление к успеху человека независимо от его социального статуса.

II технологический уклад занял в Западной Европе почти весь XIX в. (1830–1900). Паровые двигатели, использующие фундаментальные законы термодинамики Карно-Майера-Джоуля, позволили создавать производство в городах, независимо от природных источников энергии. Отметим, что обычно научные теории предшествуют техническим изобретениям, но здесь именно техника опережала



науку – паровые машины были придуманы почти на сто лет раньше открытия начал термодинамики. Паровые двигатели получили широкое распространение в транспортной сфере, что способствовало концентрации машиностроения в руках формирующихся корпораций. Разветвленная сеть железных дорог, крупные порты и заводы потребовали новой квалифицированной рабочей силы, привлекли огромные массы населения в города, например, в Англии к концу XIX в. городское население составляло 38,2 % всего населения страны [Bailey, 1951].

Вместе с тем концентрация рабочего класса на крупных предприятиях стимулировала продвижение социалистических и марксистских идей – основу грядущих социальных потрясений. А внедренная конвейерная форма организации производства американского инженера Ф.У. Тейлора, с одной стороны, обеспечила гигантский рост производительности труда, что, с другой стороны, вызывало быстрое насыщение рынка, приводящее к повторяющимся и разрушительным экономическим кризисам. Быстрее других смогли преодолеть эти проблемы Германия и США уже в следующем технологическом укладе. Эпоху I и II технологических укладов принято характеризовать как Великую индустриальную революцию перехода от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, от аграрного общества к индустриальному, капиталистическому.

Главными особенностями III технологического уклада (1880–1950) стали массовое использование электрической энергии, производство и переработка нефти, цветная металлургия, химическая промышленность, автомобилестроение и автодорожное строительство, распространение телеграфа, телефона и радиосвязи. Последнее приводит на рубеже XX в. к очередной информационной революции, позволившей резко увеличить коммуникативную связность нашего мира. Значительно возросли возможности манипулирования массовым сознанием, контроль и скорость информационных и финансовых потоков. В результате сращивания промышленного и финансового капитала начинается эпоха монополий, что приводит к образованию крупных концернов, картелей, синдикатов и трестов. Научным фундаментом этого уклада становятся теория электромагнетизма Фарадея-Максвелла, периодическая таблица химических элементов Менделеева, квантовая и статистическая физика, лежащие в основах теории строения вещества и его химических превращений. Наиболее популярной философской теорией в этот период становится позитивизм, отождествлявший капиталистические отношения с общественным прогрессом и всеобщим благом, игнорируя при этом внутренний мир личности. Одновременно обостряются психологические проблемы в среде рабочих крупных предприятий, у человека возникает самоощущение «винтика» в огромном промышленном и государственном механизме.



Движущей силой IV технологического уклада (1930–1990) стала Вторая мировая война и последующая «холодная война», выполнение военных заказов, развитие наукоемкого производства. Можно сказать, что в теоретических основаниях этого уклада использованы все разделы классической и неклассической физики, химии, биологии предыдущих укладов, впервые использованы законы теории относительности при описании ядерных трансформаций, принципы кибернетики. Запущены три великих научно-технических мегапроекта: ядерная энергетика, освоение космоса, радиолокация – проект на основе принципов кибернетики и автоматических систем управления. Изобретение реактивных самолетов, повсеместное использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, мощной сельскохозяйственной техники, развитие органической химии сформировали технологическое ядро этого уклада и вывели СССР в ряд мировых индустриальных гигантов. Вместе с тем послевоенный мир переживает волны масштабных экономических кризисов, вызывавших спад производства в большинстве отраслей, инфляцию и безработицу.

В последней фазе IV уклада обостряется противостояние технопессимистов и технооптимистов, ломающих копыя в спорах о будущем нашей цивилизации. В связи с этим встала под вопрос однозначная позитивность научно-технического вектора развития для человечества. Благо ли атомная энергетика, сопряженная с опасностью ядерной войны и технологических радиоактивных отходов; астрономические расходы на гонку вооружений в космосе, когда столько проблем на Земле; «роботизация» производства с перспективой чудовищной безработицы и массовой деморализации людей? Задаваясь этими вопросами, А. Тоффлер в 1970-м поразил мир картинами «Футурошока», чуть позже ошеломляющие отчеты Римского клуба остро поставили проблему регулирования технологического роста и призвали к осмыслению гуманитарных и социальных последствий НТР. Отметим, что с III-м и, отчасти, IV технологическим укладом связывают эпоху «Второй промышленной революции».

Как отмечает С.Ю. Глазьев, переход на V технологический уклад (1970–2020) «был опосредован гонкой вооружений, вышедшей в Космос и поставившей под угрозу само существование человечества. И хотя мировой войны удалось избежать, милитаризация экономики обернулась катастрофой распада мировой социалистической системы и СССР. Наступивший после этого “золотой век” роста пятого ТУ в странах НАТО во многом подпитывался оттоком капитала, умов и дешевого сырья из постсоветского пространства, погрузившегося в экономический хаос» [Глазьев, 2012]. Приоритетными направлениями этого этапа стали компьютерные, космические, биологические, генно-инженерные технологии, микроэлектроника, телекоммуникационное оборудование, робототехника. Глобальные сети связи и передачи



данных охватывают весь мир. США, ЕС и Япония, лидеры V уклада, значительно опережают конкурентов во многом за счет значительных финансовых вложений в науку и разработку новых технологий, интеграцию бизнеса, науки и образования.

Таким образом, от изобретения механического ткацкого станка в XVIII в. до электронной промышленности, широкой компьютеризации и робототехники начала XXI в. наша цивилизация прошла пять технологических укладов и стоит на пороге шестого.

Современная наука и трансформация ценностей

Йозеф Шумпетер связывал изменение технологических укладов со сменой инновационных волн, вызванных усилением изобретательской и предпринимательской активности. Но если в предыдущих пяти укладах своей предприимчивостью человечество бросало вызов окружающей природе, добывая все больше полезных ископаемых, развивая экологически-вредные производства, создавая синтетические вещества с длительным сроком утилизации, то формирующийся VI технологический уклад проникает во внутреннюю природу, трансформируя саму сущность человека. «Его локомотивными отраслями, вероятно, станут биотехнологии, нанотехнологии, новая медицина, высокие гуманитарные технологии, новое природопользование, полномасштабные технологии виртуальной реальности, роботика, когнитивные технологии» [Ахромеева, Малинецкий, Посошков, 2012]. Видимо, ядро уклада составят конвергирующие друг с другом, создающие сложные самоорганизующиеся комплексы нано-, био-, инфо-, когнитивные технологии, направленные на дальнейшее радикальное сращивание антропо- и техносред. Фактически формируется новая парадигма научно-технического развития, отличительными характеристиками которой являются междисциплинарность, понимаемая как конвергенция наук и инновационных технологий, и человекомерность, ориентированная на новые аксиологические приоритеты.

С середины второго десятилетия 2000-х гг. в научное сообщество заговорило о «четвертой промышленной революции» (Industry 4.0), обслуживающей целостный автоматизированный комплекс: производство – потребитель, в которой вещи взаимодействуют между собой и с людьми в рамках так называемой концепции «Интернет вещей» [Чеклецов, 2016].

В то же время научно-технический прогресс значительно модифицировал социально-экономические отношения, фактически спровоцировав рост массового потребления и создав условия и средства его удовлетворения. По данным статистики можно проследить



пропорцию распределения людей по сферам деятельности, которая представляется нам довольно типичной. Отметим, что большая часть рабочей силы перераспределилась в сферу услуг и информации, добываясь конкурентных преимуществ за счет оригинальных идей, индивидуальных подходов и широкого спектра предложений [<http://www.oecd.org>]. Можно было бы предположить, что важным мотивом деятельности на современном этапе VI уклада является не только удовлетворение материальных потребностей, но и личностная необходимость в индивидуальном творчестве. Однако новые технические возможности добавляют специфических проблем в сферу общественных отношений [Асеева, Буданов, 2014].

Осмысление новых ценностных акцентов – серьезная социально-эпистемологическая задача не только в аспекте констатации и изучения сложившихся реалий, но особенно актуальная с учетом технологических ресурсов для конструирования и манипулирования ценностями под влиянием конвергентных технологий VI уклада, в частности, телевидения [Ball-Rokeach, Rokeach, Grube, 1984], Интернета [Чеклецов, 2016], сетевых когнитивных технологий [Гримов, 2015]. Проблема выявления и расстановки ценностных приоритетов может быть основана на классификации ценностей Милтона Рокича. По его концепции, следует различать такие психологические детерминанты социального поведения людей, как ценности и установки. С его точки зрения, ценности, несмотря на абстрактность, более важны для людей. Они различаются между собой по интенсивности, определяют желаемость или обязательность чего-либо важного, влияют на самооценку личности и формируют чувство идентичности [Rokeach, 1973]. М. Рокич выделяет инструментальные и терминальные ценности. Инструментальные – ценности, важные в обыденной жизни, принятые в данном обществе стандарты поведения, поощряющие формирование определенных личностных качеств: храбрый или смиренный, открытый или подозрительный, толерантный или бескомпромиссный и т. п. Терминальные – это высшие (базовые, итоговые) общечеловеческие ценности, определяющие качество собственно человеческого бытия: счастье, внутренняя гармония, чувство завершенности, удовлетворенность своей профессией, свобода, уважение и т. д.

Важный вопрос, который исследовал М. Рокич с коллегами еще в 1980-х гг., – как меняются ценности, несмотря на значительную стабильность этого компонента мировоззрения, можно ли повлиять на это изменение, и как при этом трансформируется социальное поведение. На основе авторской методики была проведена серия экспериментов, в которых испытуемый должен был осознать противоречия между отдельными собственными ценностями и выстроить их иерархически. Результаты так называемых «экспериментов себе-конфронтации» (self-confrontative experiments) показали реальную возмож-



ность манипулирования ранжированием ценностной шкалы под влиянием средств массовой информации [Ball-Rokeach, Rokeach, Grube, 1984]. Исследователи доказали, что основным мотивом изменения ценностей является чувство удовлетворенности или неудовлетворенности собой, осознание себя моральным и компетентным человеком, достойным уважения в обществе или нет. Когнитивная перестройка ценностной шкалы направлена на сохранение самоуважения, собственного достоинства и нивелирование чувства недовольства своими пробелами и некомпетентностью [Rokeach, Ball-Rokeach, 1989]. Умелая маркетинговая политика формирует у массового потребителя чувство неполноценности и неуспешности в случае невозможности обладать последними модными гаджетами или новейшими технологиями.

В современной цивилизации, оснащенной арсеналом новейших нано-, био-, инфо- и когно- технологий, влияющих на личность и общество на разных уровнях и масштабах, проблема манипулирования и конструирования ценностей достигла драматической остроты. Как справедливо отмечает Е.Г. Каменский, «из своего исторически базового инструментального статуса техника в современном мире перешла в статус ценности, причем ценности терминальной в технократическом обществе. Но очевидна все более развивающаяся тенденция к ее переходу в статус инструментальной ценности, определяющей статус потребителя. Следовательно, технократические тенденции все более будут стимулировать консьюмеристский тип социальной субъектности, а конвергентные технологии по причине их мощного инструментального потенциала могут существенно ускорить данный процесс и стабилизировать его экспоненциальный характер. В результате технико-технологический прогресс начинает стимулировать социокультурный регресс: наблюдается обратнопропорциональная зависимость между НТП и уровнем сложности культуры» [Аршинов, Буданов, Москалев и др., 2015]. Таким образом, можно утверждать, что основная проблема, требующая внимания и решения в нынешней эмбриональной фазе VI технологического уклада – социогуманитарная – проблема выявления, снижения и управления рисками внедрения новых конвергентных технологий для человека и общества. В данный период уклада еще сохраняется возможность выявить и обсудить социальную ценность нововведений до начала финансирования проектов и до появления непоправимых последствий для природы, общества и человека. В данной фазе еще эффективна гуманитарная экспертиза новых научных и технологических результатов до их массового использования.

Однако не следует забывать, что не сами технологии вызывают изменения, а осознанная человеческая деятельность по их применению. Например, современная антропоморфизация интеллектуальных технологий является довольно рискованной идеей, поскольку может спровоцировать конфликт «разумных» машин и человечества. Что-



бы этого избежать, предлагается включить в систему современной технауки ряд *социальных технологий*, которые призваны выполнять функции ценностной ориентации и регуляции. Они могут стать контролирующим элементом в структуре гибридных, конвергентных технологий, направленным на их гуманистическое развитие во благо человечества, прогрессивного развития и во избежание всех тех негативных и опасных сценариев, которые могут реализоваться на современном и будущих этапах развития технауки.

Социальные технологии – инструмент гуманизации науки

Социогуманитарное знание и социальные технологии должны стать органической составляющей этой динамической системы и выступать в качестве существенного, неотъемлемого фактора ее развития. В этой связи в последнее время к комплексу NBIC все чаще добавляют “S” (S – social) – социальные гуманитарные технологии, привлекающие гуманитариев различных специальностей (философов, психологов, социологов, лингвистов, этнографов и др.) для изучения сложных когнитивно-психологических проблем [Ковальчук, 2011; Лекторский, 2011]. Однако понимание необходимости анализа разного рода определенных и неопределенных рисков должно предваряться перестройкой всего естественнонаучного образования на основе новой гуманитарной парадигмы. Без целенаправленного формирования целостного философского мировоззрения будущей научной элиты, понимания взаимосвязи физических законов, биологических зависимостей и социально-психологических последствий деятельности невозможно познать и разработать варианты решения сложных комплексных проблем современной цивилизации, внимание на которых заостряет в своей статье И.А. Герасимова [Герасимова, 2012]. С другой стороны, социальные гуманитарные технологии должны обрести достаточную силу, чтобы выполнять функции стимулирования и формирования приоритетных векторов развития, нормативного регулирования, прогнозирования и экспертного или общественного санкционирования процессов и результатов конвергентного развития науки. Вместе с тем иногда «под социально-гуманитарной технологией подразумевается “психотехника” манипуляции человеческой мыслительной деятельностью с целью достижения определенных, в том числе негативных, целей. Однако это слишком узкое понимание исключает из рассмотрения, например, анализ процессов социализации новой техники или устранения побочных социальных последствий ее внедрения. Сегодня все чаще говорят о необходимости разработки превентивных



мер, устраняющих или уменьшающих такие негативные последствия еще на самых ранних стадиях технических разработок» [Горохов, 2011]. И поскольку результаты технической деятельности постепенно интегрируются в социальную среду, могут иметь положительное и отрицательное значение для общества, они должны быть объектом внимания социально-гуманитарных наук. Философы и социологи уже привлекаются в качестве экспертов, аналитиков и консультантов к обсуждению сложных естественнонаучных вопросов, касающихся атомной энергетики, генетических экспериментов и экологии. «Однако социологи должны становиться практиками совсем в другом отношении: они организуют и управляют процессом участия граждан в принятии решений...» [Jennings, Callahan, 2009, p. 5].

Для того, чтобы экономика перестроилась на новые приоритетные направления в науке и производстве, должен произойти некоторый сдвиг сначала в сознании элиты, а затем и у массового потребителя товаров и услуг. Чтобы началась фаза быстрого распространения нового уклада, эти новые технологии должны выйти за стены научных лабораторий и конструкторских бюро, их ценность должна быть осознана менеджерами и инвесторами. Одновременно, а даже более приоритетно, чтобы не только ценность была взвешена и всесторонне просчитана, а чтобы были выявлены, спрогнозированы и обсуждены разные виды рисков, от технико-экономических до антропологических. Именно во вдумчивом и разностороннем анализе рискогенных последствий научно-технического развития и состоит, как нам представляется, миссия представителей гуманитарных и социальных наук и общественности.

До недавнего времени лидировали две основных методологии анализа и оценки научно-технических инноваций: социогуманитарная экспертиза, к которой привлекаются опытные эксперты-профессионалы [Асеева, Пирожкова, 2015], и краудсорсинг, использующий ресурсы сетевого мышления широкой общественности [Асеева, 2015]. Однако некоторая односторонность и ограниченность экспертов в анализе инноваций, на что обращалось внимание при обсуждении моделей оценки науки и технологий, ELSA, в частности [Zwart, Landeweerd, van Rooij, 2014], с одной стороны, и далеко не всегда однозначно положительные эффекты при использовании методов краудсорсинга, с другой стороны, привели к появлению нового подхода, который получил название RRI – «ответственные исследования и инновации».

Новый RRI-подход, по идее одного из его авторов фон Шомберга, позволяет создать «интерактивный процесс, в котором социальные акторы и инноваторы взаимодействуют для рассмотрения этической приемлемости, устойчивости и социальной желательности инновационного процесса и его товарной продукции (в целях обеспечения



надлежащего внедрения научных и технологических достижений в нашем обществе)» [von Schomberg, 2013]. Одна из ключевых целей RRI-подхода – сближение запросов и интересов общества и проведение «ответственных исследований», что постепенно должно переориентировать науку на эффективное взаимодействие с обществом [Гребенщикова, 2015].

Итак, мы показали значимость и взаимосвязь социокультурных процессов и технического развития общества, что позволяет воспринимать социогуманитарные технологии как действенный инструмент снижения техногенных рисков развития цивилизации. Можно сказать, что социальные технологии в проекции на процессы формирования антропо-техносферы – это социальный институт инноваций и социального творчества, диагностики, тактики и стратегии общественного развития, способный, как нам представляется, на широкую гуманитарную экспертизу научных открытий и технологических разработок.

Список литературы

Акаев, Садовничий, 2012 – *Акаев А.А., Садовничий В.А.* Математическое моделирование глобальной, региональной и национальной динамики с учетом воздействия циклических колебаний // Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития / Отв. ред. А.А. Акаев и др. М.: URSS: Либроком, 2012. 486 с.

Аршинов, Буданов, Москвалев и др. – *Аршинов В.И., Буданов В.Г., Москвалев И.Е. и др.* Социо-антропологические измерения конвергентных технологий: методологические аспекты. Курс: Университет. кн., 2015. 239 с.

Асеева, 2015 – *Асеева И.А.* Технонаука и общество: пути взаимодействия // Дельта науки. 2015. № 2. С. 34–40.

Асеева, Буданов, 2014 – *Асеева И.А., Буданов В.Г.* Философские и биоэтические аспекты развития новых конвергентных технологий как фактора трансформации среды обитания человека // Изв. Юго-Запад. гос. ун-та. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 3. С. 130–138.

Асеева, Пирожкова, 2015 – *Асеева И.А., Пирожкова С.В.* Прогностические подходы и этические основания техно-социальной экспертизы // Вopr. философии. 2015. № 12. С. 65–76.

Ахромеева, Малинецкий, Посошков, 2012 – *Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г., Посошков С.А.* Критика инновационного разума // Точки над ё. 2012. № 1. С. 40–48.

Герасимова, 2012 – *Герасимова И.А.* Неустрашимость неопределенности в социальной оценке техники // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2012. Т. 32. № 2. С. 123–140.

Глазьев, 2010 – *Глазьев С.Ю.* Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика. 2010. 256 с.

Глазьев, 2012 – *Глазьев С.Ю.* Современная теория длинных волн в развитии экономики // Экономическая наука современной России. 2012. № 2. С. 27–42.



Горохов, 2011 – *Горохов В.Г.* Понятие «технология» в философии техники и особенность социально-гуманитарных технологий // *Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки.* 2011. Т. 28. № 2. С. 110–123.

Гребенщикова, 2015 – *Гребенщикова Е.Г.* Ответственные исследования и инновации в биотехнонауке // *Рабочие тетради по биоэтике.* Вып. 21: Философско-антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ) / Под ред. П.Д. Тищенко. М., 2015. URL: <http://nbicsanaliz.ru/wp-content/pdf> (дата обращения: 15.09.2016).

Гримов, 2015 – *Гримов О.А.* Сетевые аспекты когнитивных технологий и их социо-антропологические проекции // *Символ науки.* 2015. № 7. С. 56–58.

Ковальчук, 2011 – *Ковальчук М.В.* Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // *Российские нанотехнологии.* 2011. Т. 6. № 1–2. С. 13–23.

Кондратьев, 2002 – *Кондратьев Н.Д.* Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 543 с.

Лекторский, 2011 – *Лекторский В.А.* Рациональность, социальные технологии и судьба человека // *Эпистемология и философия науки / Epistemology & philosophy of science.* 2011. Т. 29. № 3. С. 35–48.

Чеклецов, 2016 – *Чеклецов В.В.* Философские и социо-антропологические проблемы конвергентного развития киберфизических систем (блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект) // *Философские проблемы информационных технологий и киберпространства.* 2016. № 1(11). С. 65–79.

Bailey, 1951 – *Bailey F.A.* The Origin and Growth of Southport // *Town Planning Review.* 1951. Vol. 21. No. 4. P. 299–317.

Ball-Rokeach, Rokeach, Grube, 1984 – *Ball-Rokeach S.J., Rokeach M., Grube J.W.* The Great American Values Test: Influencing behavior and belief through television. N.Y.: Free Press, 1984. 190 p.

Jennings, Callahan, 2009 – *Jennings B., Callahan D.* Social Sciences in Science Policy Making // *Science, Technology, Innovation Studies.* 2009. Vol. 5. No. 1. P. 3–8.

Rokeach, 1973 – *Rokeach M.* The nature of human values. N.Y.: Free Press, 1973. 438 p.

Rokeach, Ball-Rokeach, 1989 – *Rokeach M., Ball-Rokeach S.J.* Stability and change in American value priorities, 1968–1981 // *American Psychologist.* 1989. Vol. 44. No. 5. P. 775–784.

Schumpeter, 1939 – *Schumpeter J.A.* Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N.Y.; Toronto; L.: McGraw-Hill Book Company, 1939. 461 p.

Zwart, Landeweerd, van Rooij, 2014 – *Zwart H., Landeweerd L., van Rooij A.* Adapt or perish? Assessing the recent shift in the European research funding arena from ELSA to RRI // *Life Sciences, Society and Policy.* 2014. Vol. 11. No. 10. P. 23–42.



References

Ahromeeva T.S., Malineckij G.G., Pososhkov S.A. “Kritika innovacionnogo razuma” [Criticism of innovative mind], in: *Tochki nad yo*, 2012, no. 1, pp. 40–48. (In Russian)

Akaev A.A., Sadovnichij V.A. “Matematicheskoe modelirovanie global’noj, regional’noj i nacional’noj dinamiki s uchetom vozdejstviya ciklicheskih kolebanij” [Mathematical modeling of global, regional and national dynamics taking into account the impact of cyclical fluctuations], in: *Modelirovanie i prognozirovanie global’nogo, regional’nogo i nacional’nogo razvitiya* [Modeling and forecasting the global, regional and national development]. Moscow: URSS, 2012. 486 pp. (In Russian)

Arshinov V.I., Budanov V.G., Moskalev I.E., Kamensky E.G., Chekletsov V.V., Grebenshchikova E.G., Pirozhkova S.V., Aseeva I.A., Sushchin M.A., Grimov O.A. *Socio-antropologicheskie izmereniya konvergentnyh tekhnologij: metodologicheskie aspekty* [Socio-anthropological dimension of the converging technologies: methodological aspects]. Kursk: Universitetskaya kniga, 2015. 239 pp. (In Russian)

Aseeva I.A. “Tekhnounauka i obshchestvo: puti vzaimodejstviya” [Technoscience and society: ways of interaction], in: *Del’ta nauki*, 2015, no. 2, pp. 34–40. (In Russian)

Aseeva I.A., Budanov V.G. “Filosofskie i bioehticheskie aspekty razvitiya novyh konvergentnyh tekhnologij kak faktora transformacii sredy obitaniya cheloveka” [Philosophical and bioethical aspects of new convergent technologies development as a factor of transformation of the human’s habitat], in: *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment* [Southwest State University Bulletin], 2014, no. 3, pp. 130–138. (In Russian)

Aseeva I.A., Pirozhkova S.V. “Prognosticheskie podhody i ehticheskie osnovaniya tekhnounal’noj ehkspertizy” [Predictive approaches and the ethical foundation of techno-social assessment], in: *Voprosy filosofii*, 2015, no. 12, pp. 65–76. (In Russian)

Ball-Rokeach S.J., Rokeach M., Grube, J.W. *The Great American Values Test: Influencing behavior and belief through television*. N. Y.: Free Press, 1984. 190 pp.

Bailey F.A. “The Origin and Growth of Southport”, *Town Planning Review*, 1951, vol. 21, no. 4, pp. 299–317.

Chekletsov V.V. “Filosofskie i socio-antropologicheskie problemy konvergentnogo razvitiya kiberfizicheskikh sistem (blokchejn, Internet veshchey, iskusstvennyj intellekt)” [Philosophical and socio-anthropological problems of a convergent development of cyber-physical systems (the blockchain and the Internet of things, artificial intelligence)], in: *Filosofskie problemy informacionnyh tekhnologij i kiberprostranstva* [Philosophical problems of informational technologies and cyberspace], 2016, vol. 11, no. 1, pp. 65–79. (In Russian)

Gerasimova I.A. “Neustranimost’ neopredelennosti v social’noj ocenke tekhniki” [The unchanging nature of uncertainty in the social appraisal of technology], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2012, vol. 32, no. 2, pp. 123–140. (In Russian)



Glazyev S.Yu. *Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyah global'nogo krizisa* [The strategy of outstripping development of Russia in conditions of global crisis]. Moscow: Ekonomika, 2010. 287 pp. (In Russian)

Glazyev S.Yu. "Sovremennaya teoriya dlinnyh voln v razvitiu ehkonomiki" [The modern theory of long waves in economic development], in: *Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii* [Economic science of modern Russia], 2012, no. 2, pp. 27–42. (In Russian)

Gorokhov V.G. "Ponyatie «tehnologiya» v filosofii tekhniki i osobennost' social'no-gumanitarnykh tekhnologij" [The concept of "technology" in philosophy of technology and of the social and humanitarian technologies], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2011, vol. 28, no. 2, pp. 110–123. (In Russian)

Grebenshchikova E.G. "Otvetstvennye issledovaniya i innovacii v biotekhnologii" [Responsible research and innovation in biotechnoscience], in: P.D. Tischenko (ed.) *Rabochie tetradi po bioetike. Vol. 21. Filosofsko-antropologicheskie osnovaniya personalizirovannoi meditsiny (mezhdistsiplinarnyi analiz)* [<http://nbicsanaliz.ru/wp-content/.pdf>, accessed on 15.09.2016] (In Russian)

Grimov O.A. "Setevye aspekty kognitivnykh tekhnologij i ih socio-antropologicheskie proekcii" [Network aspects of cognitive technologies and their socio-anthropological projections], in: *Simvol nauki*, 2015, no. 7, pp. 56–58. (In Russian)

Jennings B., Callahan D. "Social Sciences in Science Policy Making", *Science, Technology, Innovation Studies*, 2009, vol. 5, no 1, pp. 3–8.

Kondratyev N.D. *Bol'shie cikly kon'yunktury i teoriya predvideniya* [Big cycles of conjuncture and theory of foresight]. Moscow: Ekonomika, 2002. 543 pp. (In Russian)

Kovalchuk M.V. "Konvergenciya nauk i tekhnologij – proryv v budushchee" [Convergence of Sciences and technologies – breakthrough to the future], in: *Rossijskie nanotekhnologii*, 2011, vol. 6, no. 1–2, pp. 13–23. (In Russian)

Lektorsky V.A. "Ratsionalnost, sotsialnyie tehnologii i sudba cheloveka" [Rationality, social technology and the fate of the person], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2011, vol. 29, no. 3, pp. 35–48. (In Russian)

Rokeach M. *The nature of human values*. New York: Free Press, 1973. 438 pp.

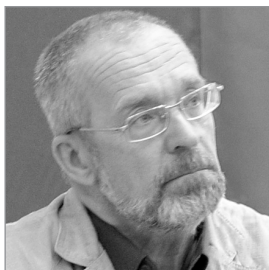
Rokeach M., Ball-Rokeach S.J. "Stability and change in American value priorities, 1968–1981", *American Psychologist*, May 1989, vol. 44, no. 5, pp. 775–784.

Schumpeter J.A. *Business cycles. A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process*. N. Y., Toronto, L.: McGraw-Hill Book Company, 1939. 461 pp.

Zwart H., Landeweerd L., van Rooij A. "Adapt or perish? Assessing the recent shift in the European research funding arena from ELSA' to RRI", *Life Sciences, Society and Policy*, 2014, vol. 11, no. 10, pp. 23–42.

О «НЕВИДИМОЙ РУКЕ» АДАМА СМИТА И ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ СОЦИАЛЬНОГО МИРА

Антипов Георгий Александрович – доктор философских наук, профессор. Новосибирский государственный университет экономики и управления. Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56; e-mail: dr-eji2@yandex.ru



Выражение «невидимая рука рынка» из «Богатства народов» Адама Смита в современной экономической и повседневной публицистике приобретает порой самые неожиданные обороты, например такого: «почему «невидимая рука рынка» писателя в упор не видит». В поле научного экономического мышления «невидимая рука» трактуется объективным рыночным механизмом, который координирует решения покупателей и продавцов. Отдельная личность, стремясь к собственной выгоде, независимо от её воли и сознания, направляется к достижению экономической выгоды и пользы для всего общества. Редки, однако, попытки анализа эпистемологического статуса «невидимой руки», особенно в модальности формирования экономики как науки. Между тем, как показано в предлагаемой статье, есть основания увидеть здесь первый принципиальный шаг в генезисе научной исследовательской программы экономических наук в собственном смысле. Автор исходит из того, что феномены вроде невидимой руки рынка вполне сопоставимы с тем, что Т. Кун квалифицирует в качестве «метафизических частей парадигм», т. е. базовых онтологических моделей, определяющих принятое в той или иной науке видение исследуемой реальности. Основная же трудность, с которой столкнулась научная рациональность в попытках генерации научного знания об обществе, заключалась в том, чтобы представить процессы целостной человеческой деятельности в виде объективной реальности, как того требует основная мировоззренческая установка науки.

Ключевые слова: наука, экономика, рынок, эпистемология, парадигма, объективная реальность

ON THE “INVISIBLE HAND” BY ADAM SMITH AND THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC PICTURE OF THE SOCIAL WORLD

Georgiy Antipov – DSc in Philosophy, professor. Novosibirsk State University of Economics and Management. 56 Kamenskaya Str., Novosibirsk, 630099, Russian Federation; e-mail: dr-eji2@yandex.ru

The expression “the invisible hand of the market” (from the Adam Smith’s “Wealth of Nations”) sometimes acquires in modern economical and everyday journalism the most unexpected overtones, like “why “the invisible hand of the market” totally disregard writer”? In the area of the scientific economic thinking “the «invisible hand” is interpreted as the objective market mechanism which coordinates the decisions of buyers and sellers. The attempts to analyze the epistemological status of “the invisible hand” are quite rare, especially in the modality of the formation of the Economics as a science. Meanwhile, as it is shown in the article, there is reason to see here the first fundamental step to the origination of the scientific research program of the economic science in the strict sense. The author assumes that phenomena like “the invisible hand of the market” is comparable



to what Thomas Kuhn designates as “the metaphysical parts of paradigms”, i. e. basic ontological models, which define peculiar scientific vision of the reality under research. The main difficulty for the scientific rationality in the attempts of generating scientific knowledge about society, was to represent the corresponding processes of human activity in the form of objective reality, which is required by the basic ideological attitude of the science as such.

Keywords: science, economy, market, epistemology, paradigm, objective reality

Можно ли сделать видимой «невидимую руку рынка»?

В современном экономическом мышлении упоминания «невидимой руки рынка» фигурируют чаще всего в виде неких присловий¹. Правда, понятно, без более или менее подробных разъяснений в этом отношении, не могут обойтись учебные курсы по экономике. Сравнивая роль Адама Смита в конституировании экономической теории, скажем, с ролью Ньютона в механике, О. Конта в социологии («отцы основатели»), ограничиваются пересказом соответствующего фрагмента из «Богатства Народов». Каждый отдельный человек постоянно старается найти наиболее выгодное применение капиталу, которым он может распоряжаться, он имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоды общества. Но когда он принимает во внимание свою собственную выгоду, это естественно или, точнее, неизбежно, приводит его к предпочтению того занятия, которое наиболее выгодно обществу... Он преследует собственную выгоду, причём в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения. Отсюда делается вывод, что *de facto* А. Смит «невидимой рукой» называет объективный рыночный механизм, который координирует решения покупателей и продавцов [Смит, 2007].

Но если это «механизм», хотя и невидимый, может быть, стоит спросить о его устройстве, сделать его видимым, подобно тому как Левенгук при помощи микроскопа открыл до того невидимый мир одноклеточных организмов и эритроцитов, или тот же Ньютон, сде-

¹ Положение стало существенно меняться в последние десятилетия с формированием таких традиций в экономическом мышлении, как микроэкономическая теория, поведенческая и эволюционная экономика. Красноречивый пример – Самуэль Боулз в своём учебнике микроэкономики говорит, что фундаментальная Теорема экономики благосостояния «формализует слова Адама Смита о том, что в правильных институциональных условиях индивиды, преследующие собственные цели, будут ведомы “невидимой рукой” и достигать желаемых для общества результатов». И это только один из многих других примеров обращения к работам Смита и Юма [Боулз, 2011, с. 24].



лавший видимым спектр. Однако никому и в голову не приходит подобный заход, поскольку «невидимая рука» воспринимается всего лишь как популярная метафора. Понятно, ни микроскоп, ни призма здесь не помогут.

Кстати, нечто подобное можно обнаружить у Маркса. Исходно ведь он проектирует свою политическую экономию в качестве эмпирической науки. Вместе со своим “alter ego” Энгельсом он писал: «Предпосылки, с которых мы начинаем, не произвольны, они – не догмы... Это – действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путём [Маркс, Энгельс, 1955, с. 18]. И, надо сказать, Маркс вполне конкретен в трактовке этого чисто эмпирического пути: «Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее отчётливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде» [Маркс, Энгельс, 1960, с. 6].

Вместе с тем на той же панели Маркс делает довольно странное, с точки зрения общей схемы эмпирического исследования, заявление: «При анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции». Странность здесь в том, что никакая «сила абстракции» (умозрение) не может в принципе заменить эмпирической составляющей анализа, в противном случае мы получаем такие формы ментальности, как натурфилософия. Умозрительное, натурфилософское знание, с его флогистоном, звукородом и т. п. исторически предшествовало научному естествознанию, возникновение которого потребовало решительной демаркации собственно науки от «метафизики». Необходимость подобной акции вполне осознал и представил О. Конт. Сделать подобный шаг, возможно, помешало Марксу его философское «первородство». Не в меньшей степени, полагаю, сказались особенности самой социальной реальности, существенно иначе данной наблюдателю, нежели, допустим, реальность физическая. Тот же Маркс замечал, правда, в рукописи, предшествовавшей непосредственно работе над «Капиталом», и в другой методологической модальности: «Как вообще во всякой исторической, социальной науке, при развитии экономических категорий нужно иметь в виду, что как в действительности, так и в голове дан субъект» [Маркс, 1958, с. 732]. В естествознании же, как известно, «в действительности» субъект имеет дело с объективной реальностью данной ему в ощущениях.



Об эпистемологическом статусе «невидимой руки рынка»

Эта эпистемологическая коллизия впервые обозначилась у Д. Юма. Юм первым попытался экстраполировать опыт формирующегося к XVIII в. естествознания в область представлений о человеке. В «Трактате о человеческой природе» он говорит: «Но если наука о человеке является единственным прочным основанием других наук, то единственное прочное основание, на которое мы можем поставить саму эту науку, должно быть заложено в опыте и наблюдении. Соображение, что основанная на опыте философия (*experimental philosophy*) применяется к предметам морали, спустя более чем сто лет после того, как она была применена к предметам природы, не должно смущать нас» [Юм, 1966, с. 82].

Существенно иметь в виду, что и для Адама Смита основным проявлением человеческой природы является моральность. Напомним, основные лекционные курсы, которые он читал, будучи профессором университета в Глазго – это теология, этика, право.

Однако Юм в ходе своих попыток инверсии опыта эмпирического познания с наук о природе на природу человека приходит к парадоксальному выводу, который, впрочем, он обозначил как «новое открытие в философии». Открытие состояло в том, что нравственность (моральные добро и зло, долг и т. п., а именно в них он видел основное проявление человеческой природы), невозможно вывести и обосновать средствами и методами научного анализа, т. е. опираясь на опыт и его теоретическую интерпретацию, а, следовательно, к моральным феноменам не применим общенаучный критерий истины: «Невозможно, чтобы они были признаны истинными или ложными, а следовательно, либо противоречили разуму, либо согласовались с ним». С логической точки зрения это означает, в частности, что из суждений существования не следуют суждения долженствования. Д. Юм писал: «Различие порока и добродетели не основано исключительно на отношениях между объектами и не признаётся разумом» [Юм, 1966, с. 618].

Таким образом, из юмовских констатаций вовсе не вытекает никакого допущения о существовании некоего объективного механизма, координирующего действия отдельных индивидов к достижению каких-либо статусов обществом в целом. Однако подобный ход мыслей, даже внешне напоминающий, кстати, рассуждения Адама Смита, обнаруживается на континенте несколькими десятилетиями спустя, в гегелевской «Философии истории».

В этих своих лекциях, между прочим, он говорил: «Живые индивидуумы и народы, ища и добиваясь своего, в то же время оказываются средствами и орудиями чего-то более высокого и далёкого, о



чём они ничего не знают и что они бессознательно используют»; «мы должны вообще сказать, что ничто великое в мире не совершается без страсти. В наш предмет входят два момента: во-первых, идея, во-вторых, человеческие страсти, первый момент составляет основу, второй является утком великого ковра развёрнутой перед нами всемирной истории» [Гегель, 1993, 2000, с. 76–78].

Небезынтересно заметить, что образная часть рассуждений Гегеля здесь взята им из области «рукоделия» («невидимого рукоделия»). Так что не только репрезентации предмета осмысления: действия разнонаправленных волей, но и метафоры, призванные дать ориентир их интерпретации, у Адама Смита и Гегеля достаточно близки. У одного «невидимая рука рынка» у другого «невидимый ткацкий станок», очевидно ручной. При том, что «живут» они в разных эпистемологических мирах: один в мире английского эмпиризма, другой – континентального рационализма.

Какая же сила заставила пересечься данные, до того разворачивавшиеся как параллельные, традиции? И каков теоретико-познавательный смысл представляющих их точку пересечения метафор?

Нечто подобное в первом приближении обнаруживается в концепции научных революций Т. Куна. Это составляющие дисциплинарной матрицы, «метафизические парадигмы». Вот как это выглядит в его представлении: «Я здесь имею в виду общепризнанные предписания, такие как: теплота представляет собой кинетическую энергию частей, составляющих тело; все воспринимаемые нами явления существуют благодаря взаимодействию в пустоте качественно однородных атомов, или, наоборот, благодаря силе, действующей на материю, или благодаря действию полей» [Кун, 2003, с. 273].

Итак, феномены вроде невидимой руки рынка или «основы с утком» вполне соотносимы с тем, что Кун квалифицирует в качестве онтологических моделей. И, нужно подчеркнуть, формирование подобных моделей составило существенный аспект генезиса европейской науки, естествознания. Причём конечный пункт всех аргументаций этого плана заключался в выработке общего представления о мире как объективной реальности, «вещах самих по себе» и их отношениях. В гносеологической квалификации – это, понятно, материализм, или натурализм.



Теология, философия и формирование научной картины мира²

Обычно генезис европейской науки связывают с научной революцией XVII в., а суть этой последней – с формированием адекватной науке картины мира и обоснованием эмпирических методов познания природы. От Коперника до Ньютона конституируется дискурс, радикально меняющий традиционный образ мира. Ведущим фактором этих изменений чаще всего полагают становление капитализма, буржуазных социально-экономических отношений, что и потребовало, как считается, утверждения науки в виде целостного культурологического единства. Формирующемуся новому способу производства потребовались научные знания о свойствах физических тел и формах проявления сил природы. Некоторым стихийным и плавным образом, опосредуясь, быть может, лишь духом рационализма Нового времени, интеллектуальная традиция эпохи начинает рисовать мир арены действия анонимных сил и механизмов, подчиняющихся законам, независимым от воли и сознания человека. В соответствии с этой логикой, развитие науки как рациональной формы познания мира, неизбежно становилось отрицанием религии и теологии.

В реальном культурологическом процессе дело обстояло существенно иначе, в некоторых аспектах прямо противоположно расхожей схеме, так что имеются достаточные основания сам генезис науки посчитать во многом обусловленным потребностями церковной жизни и христианской теологии.

Скажем, вне христианства, его доктрины и догматики едва ли возникла бы коперниканская система. В самом деле, к началу XVI в. для Католической церкви актуализировался вопрос о реформировании юлианского календаря в связи с теми ошибками, которые накопились в нем касательно определения дня важнейшего для христианского мира праздника – Пасхи. Установление дня Пасхи могло быть точно переформулировано в астрономическую задачу. Поскольку пасхальное воскресенье, согласно канону – это первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия, задача установления этого дня сводилась с астрономической точки зрения к определению дня весеннего равноденствия. Задача эта существовала и решалась уже в теоретической системе Птолемея. Но именно в этой системе к началу XVI в. **накопилась ошибка определения дня весеннего равноденствия в десять дней.** По принятому в 325 г. н. э. Никейским церковным собором и считавшемуся точным

² Содержание и выводы данного раздела корреспондируют с работами Б.С. Грязнова [Грязнов, 1982], хотя, возможно, автор не во всём добился их адекватного понимания.



юлианскому календарю время весеннего равноденствия приходилось на 21 марта. Однако в нём, по сравнению с астрономическим годом, за каждые 128 лет накапливалась ошибка в одни сутки. Это связано со смещением точек равноденствия, которое могло учитываться (хотя и не могло быть объяснено: причина в прецессии земной оси) и в птолемеевой системе. Так что исходная задача, которую решал Коперник, – поиск причин, приводивших к ошибкам календаря. Как оказалось, решить задачу объяснения смещения точки весеннего равноденствия стало возможным за счёт первоначально сугубо теоретического допущения вращения Земли вокруг собственной оси и её движения вокруг Солнца. Так что Коперник вовсе не разрабатывал в пику Церкви теорию об устройстве Вселенной, он решал значимую для церковной жизни задачу. Говоря современным языком, она спонсировала исследования Коперника. Показательно, что в своём основном труде «Об обращении небесных сфер» для обоснования гипотезы о движении Земли он ссылается на герметические авторитеты – Пифагора, Филолая и Трисмегиста. Гермес Трисмегист (Трижды Величайший) мифологический персонаж, якобы современник Моисея, которому приписывалось авторство большинство трудов, содержавших магико-герметические идеи, и, в частности, астрологическую модель космоса, где центральное место отводилось Солнцу – видимому Богу.

Да, возникла мировоззренческая коллизия, которую хорошо выражают слова Лютера: «Этот болван затеял перевернуть всё искусство астрономии, а ведь Священное писание прямо указывает, что Иисус Навин приказал остановиться не Земле, а Солнцу». Но как-то не очень корректно ставить это лыко в строку христианской доктрины, если в XX в., в рамках «передового научного мировоззрения» возникали коллизии, отливавшиеся в ещё более хлёткие и чреватые последствиями формулы, вроде: «Кибернетика – служанка мракобесия».

Конечно, данный факт не указывает ещё на непосредственные предпосылки, ведущие к науке. Точно так же как технические разработки позднего средневековья и эксперименты, вроде галилеевских, не дают оснований для объяснения феномена науки. Иначе наука появилась бы уже в XV в. в Китае. Мой тезис в том, что порождающей структурой для европейской науки стала христианская теология. Поэтому когда Бэкон, имея в виду физику в современном смысле, трактует её как «естественную теологию», он вполне точно следует логике генезиса научного знания. «Подлинными целями этой науки, – говорит он, – сводятся к изобличению и опровержению атеизма, а также к раскрытию законов природы, и она не ставит своей задачей установления религии» [Бэкон, 1971, с. 214].

«Великая коперниканская революция», конечно, не протекала целиком в контексте религиозного сознания, не явилась продуктом эволюции христианской теологии, которая в это время ещё не диф-



ференцирована от философии. Но, с другой стороны, трудно представить себе генезис науки вообще без мировоззренческих санкций со стороны теологии. Во-первых, речь должна идти о «легитимизации» разума и добываемых им истин, наряду с истинами веры. Во-вторых, обоснование путей познания природы, несущей в себе план божественного творения. Познание этого плана трактуется как дело богоугодное. Вместе с тем, и Бог открывается познающему уму через свои творения (теофании). Итак, круг замыкается. Его начало находим у Августина: «Верю, чтобы понимать». Поворотный пункт в этом движении можно увидеть у Абельяра: «Понимаю, чтобы верить». Мутации данного «генома» рациональности привели к возникновению науки, с её картиной бытия, в которой нет места ни для Бога, ни для человека. Но наука в не меньшей мере нуждается в самопознании, чем ранее это проявилось в христианской традиции. Оказалось, что конечным основанием научного познания является опять-таки вера. Такова вера в единообразие законов природы, представление о том, что законы, открываемые здесь и теперь, имеют универсальный характер, «космическое религиозное чувство» А. Эйнштейна и т. п.

Примем, однако, во внимание, что мир, построенный наукой, является только одним из возможных миров. Притом достаточно искусственным и «бесчеловечным». В нем нет места ни Богу, ни человеку. Это мир почти дистиллированной объективности, в котором остаются лишь слабые следы *homo sapiens*: понятия типа «силы», «ампера» и т. п. Нет места «верховному личному существу», но ведь науку творят существа-личности. Быть учёным и жить в зазеркалье научной картины мира – это всего лишь одна из ролей, играемых человеком-личностью. А вот мир личности не может быть безбожным. Нужно лишь определиться с понятием Бога.

Оригинальное толкование отношения теологии с философией и наукой можно найти у Бертрана Рассела в его «Истории западной философии». Там читаем: «Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостаточным, но подобно науке она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь-то авторитет традиции или откровения. Всё определённое знание... принадлежит к науке, все догмы, поскольку они выходят за пределы определённого знания, принадлежат теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничейная земля, открытая для атак с обеих сторон: эта Ничейная земля и есть философия» [Рассел, 2001, с. 19].

Предлагаемое Расселом различие теологии и философии не кажется корректным и продуктивным. Ключевым представлением для дальнейшего должно послужить представление о рефлексии. Сознание



человека может иметь двоякую направленность: вовне – на внешний мир относительно того, кто наделён сознанием. В данном случае оно становится мышлением и познанием. Одной из его форм является наука. Но сознание может быть направлено и на самоё себя, в таком случае оно становится рефлексией, самосознанием. Предметом мысли становится мысль же. Мысль как предмет для другой мысли приобретает идеальное бытие, т. к. подобный предмет, очевидно, лишён каких-либо вещественно-энергетических свойств. Только в модальности рефлексии понятие идеального применимо к мышлению. Мир рефлексии радикально отличается от нерефлексивного мира, в котором формируется и научная его картина. К нему, как и в целом к философии, применимы слова Гегеля – «мир навыворот». Ориентация философской рефлексии по преимуществу на Бога «превращает» её в теологию. Как опять-таки толковал Гегель: «Бог есть результат философии».

Механизм рефлексии был «встроен» в христианскую традицию Отцами Церкви в период её формирования. Подобно понятию Бога результатом рефлексии выступает и понятие сверхъестественного, т. е. вне природного, чувственно не данного объективного властного начала, сущности. Практика и познание предполагают нерефлексивную позицию. Сложившаяся в христианской теологии картина мира исходит из возможности и оправданности попыток познания сверхъестественного по его проявлениям в естественном, чувственно данном телесном мире, т. е. с нерефлексивной позиции. Тем самым задавалась базовая матрица научного познания, наиболее отчётливо выраженная, по-видимому, Кантом через отношение «вещей самих по себе» и «вещей для нас». В современном методологическом дискурсе оно представляется посредством отношения объекта и предмета. Мотив «вещизма» полностью элиминируется, и утверждается, так сказать, объективность в «чистом виде». Действительно, ни инерция, ни гравитация, ни другие подобные аспекты реальности – адресаты постановки собственно научных задач в ощущениях не даны, они сверхчувственны и в этом смысле могут восприниматься как сверхъестественные. Учитывая данное обстоятельство, отнюдь не выглядят странными глубокая религиозность и теологические изыскания Ньютона, как, впрочем, Бойля, Гука и других создателей европейской науки.

Аналогичная эволюция от сверхъестественного к естественному имела место и в политической теологии. Правда, понятие последней возникло не в XVII в., как понятие естественной теологии, а в веке двадцатом, и вошло в обиход благодаря знаменитому трактату Эрнста Канторовича «Два тела короля» [Канторович, 2014]. Два тела короля – это симулякр, выработанный в политико-правовой практике средневековой Англии и призванный объяснить и обосновать сверхличностный характер политической власти. Теологическая мысль эпохи не находила иного способа выразить объективный статус влас-



ти, как только уподобляя её телесному миру. Со смертью одного тела (властителя) вовсе не заканчивается жизнь второго (власти). Таким образом, политологическая мысль обнаруживала склонность идти к своим будущим научным формам той же дорогой, что и физикалистская. Например, во времена Галилея невозможность поднимать воду насосами выше определённого уровня объясняли существованием «силы боязни пустоты», понятием, вполне гносеологически корреспондирующим с «двумя телами короля».

Впрочем, принципиальной важности шаг в данном направлении всё же был сделан, и сделан Томасом Гоббсом. На месте фикции «двух тел» в его онтологической картине социума оказывается одно тело, причём лишённое каких-либо сверхъестественных свойств. Теологию же, по его мнению, призвана была заменить «специальная физика человеческого тела» [Гоббс, 1989, с. 68].

Налицо, таким образом, прямое «подведение» социального под онтологию естествознания (**experimental philosophy у Юма**) как она представлялась в XVII в. В дальнейшем движение рефлексии по данному маршруту приводит к «Трактату о человеческой природе» и, наконец, невидимой руке рынка (*invisible hand of the market*) Адама Смита.

Юм, Кант, Маркс и проблема генезиса научной картины социального мира

Для понимания сложившейся ситуации важно учесть здесь два момента. Во-первых, моральная философия у Юма равнозначна науке о человеке, содержательно не сводясь только к этике, она охватывает все проявления духовной природы человека, включая явления социальной жизни. Во-вторых, на протяжении четверти века Адам Смит был ближайшим другом Юма, хорошо знавшим трактаты и эссе последнего, где затрагивались проблемы, играющие и теперь определённую роль в политической экономии: чем определяется количество денег, необходимое для обращения? Как влияет количество денег на цены? Какова специфика ценообразования при обесценении денег?

Юм пытается толковать природу человека в онтологической модели естествознания, в той её версии, которая была присуща ньютоновской механике, и вдруг обнаруживает, что «вы не можете вывести должествование из существования – все явления мира не могут привести вас к моральному или этическому утверждению».

Сегодня чаще всего в данном суждении Юма склонны видеть основание хорошо известного разделения между позитивной и нормативной экономической теорией, которое в явном виде появилось уже в 1830-х гг. в трудах Сениора. Оставляя в стороне сомнения по



поводу подобных экстраполяций, основания для указанного различия следует, скорее, искать в плоскости отношения теория-практика, а не в этической модальности, увидим в «гильотине Юма» методологический импульс, с действием которого и следует связывать «невидимую руку рынка».

Исходно руководствуясь предписаниями научного метода, Смит должен был воспринимать экономику как объективную реальность, арену действия независимых от воли и сознания человека механизмов. По видимости же, «в ощущениях» она представляет собой «деятельность преследующего свои цели человека». Адам Смит нашёл выход из противоречия, имплицитно введя представление об особом роде объективности, сохраняющей это своё свойство, хотя и не будучи данной в «ощущениях», так сказать невидимой. Это статус феноменов культуры, существование которых и эволюция, в конечном счёте, не зависят от индивидуального сознания. Так что невидимая рука рынка вполне может быть истолкована как конкретизация абстракции объективности второго рода. Если и предъявлять в этом отношении какие-то претензии Смиту, то это могут быть претензии исключительно стилистического характера.

К анализируемому методологическому контексту имеет прямое отношение и по линии Юма, и по линии Смита вышедшая несколькими годами спустя после «Богатства народов» статья И. Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». И у Канта отправным пунктом в попытках представить человеческую историю в плоскости естественнонаучной онтологии оказывается «гильотина Юма», стремление снять фиксируемое ею противоречие. Но ни «руки» Смита, ни «ручной прялки» Гегеля, ни чего-то подобного у Канта мы не обнаружим [Кант, 1964, с. 7].

Из всей же кантовской программы обоснования социального знания следует, что наука о человеке, взятом как деятельное, целеполагающее существо, невозможна: будучи носителем духовного начала и свободы, человек выходит за пределы мира явлений, подчиняющихся причинной закономерности, необходимости. Его всеобщая история – это своеобразная «социальная механика», проектируемая по образцу небулярной гипотезы, изложенной И. Кантом во «Всеобщей естественной истории и теории неба» [Кант, 1966, с. 8].

У Адама Смита побудительная причина добродетели заключается в чувственной сфере, в особом моральном чувстве, побуждающем человека к нравственному поведению. Понятие «природа» сохраняется в его аргументации, но не совсем в том смысле, в котором данный концепт фигурировал в утверждавшемся естествознании. Скажем, он рассуждает: «**Великий закон природы** состоит в том, чтобы мы любили себя не более, чем мы любим других, или, что то же самое, не более, чем могут любить нас наши ближние» [Смит, 2007, с. 96]. На-



лицо радикальное отличие от Канта, согласно которому «только долг придаёт поступку моральный характер». Вместе с тем становится достаточно прозрачной логика, приведшая к «невидимой руке рынка».

Смит выводит экономические отношения за границы моральности. Любовь, о которой он говорит, вовсе не может быть квалифицирована как «избирательная нежная привязанность», скорее речь должна идти о сложившейся позднее в обыденной речи формуле: «это бизнес и ничего более». «Любовь» в его рассуждениях просто отсылает к некоей дуальности: с одной стороны, «человеческое, слишком человеческое», с другой – собственно природное. Адам Смит с лёгкостью обходит то, что у Канта трактовалось как неразрешимое противоречие, антиномия. Таким образом, вырисовывается представление об «объективности» особого рода, несводимой к действию природных законов и, в то же время, детерминирующей поведение людей. Это аспекты человеческого мира, в целом результаты человеческого творчества, обладающие, однако, статусом объективности относительно отдельного индивидуального сознания. Таковы свойства чисел, языковые нормы и т. п. Возможно, во всём этом сказались теологические штудии Смита, ведь от «руки Всевышнего» до «невидимой руки Смита» дистанция невелика.

Но если Смит шёл от теологии, то Маркс в обосновании научной экономики пошёл путём другим. Образцом для него послужило естествознание. Отсюда и его идентификация своей философии в качестве материализма, поскольку материализм выступает как основание, необходимая мировоззренческая предпосылка естествознания. Естествоиспытателями чаще всего это так и осознаётся. Например, В.И. Вернадский писал: «Натуралист в своей работе исходит из реальности внешнего мира и изучает его только в пределах его реальности» [Вернадский, 1997, с. 136].

Но ни сам Маркс, ни его последователи, как представляется, не акцентировали обстоятельство, что социальная реальность дана исследователю существенно иначе, нежели это имеет место в естествознании. Её никак нельзя представить в виде «вещи самой по себе», или материи физика, химика и т. п.³ Куновские «метафизические» картины, вроде: «все воспринимаемые нами явления существуют благодаря взаимодействию в пустоте качественно однородных атомов» научным сообществом здесь приняты быть не могут. Впрочем, у раннего Маркса, подчас, фигурируют рассуждения, близкие тому, как Кун презентует свои метафизические модели. Естественно, Маркс говорит не об атомах, а о производстве: «Каждая форма общества имеет определённое производство, которое определяет место и влияние всех остальных произ-

³ Напомним, у Маркса можно обнаружить единственное замечание, где он мельком отмечает особенность социальной реальности, взятой в аспекте познания [Маркс, 1958, с. 732]. В последующем его анализе продолжения подобное не получило.



водств. Это – общее освещение, в котором исчезают все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях. Это – особый эфир, который определяет удельный вес всего сущего, что в нём обнаруживается» [Маркс, 1958, с. 733]. Налицо форма рассуждений, присущих скорее натурфилософам нежели собственно научному подходу.

Впрочем, уже вскоре складывается у Маркса в дальнейшем ставшая канонической формулировка материалистического понимания истории: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производительных сил... На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке» [Маркс, 1959, с. 6–7].

Самое причудливое в приведённых суждениях: никакого отношения ни к историческому, ни к диалектическому, ни к материализму вообще они не имеют. В самом деле, как понимать «независимость» отношений между людьми от их воли и сознания? Люди ведь не бильярдные шары. Преодолеть обнаруживающиеся у Маркса «методологические накладки» можно, как представляется, лишь введя в поле анализа категорию института. Как известно, институты – это «правила игры» в обществе, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. Они задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени [Норт, 1997]. Понятно, функционирование институтов не зависит от воли и сознания индивида, но, напротив, их определяет. Таким образом, налицо иной статус объективности, нежели тот, которым обладает «материя».

Не очень понятно выглядит характеристика отношения производительных сил и производственных отношений через категорию «противоречие», ибо она имеет сугубо логическую природу. Отношения же производительных сил и производственных отношений, по определению, имеют нелогическую природу.

Если задаться вопросом: в чём же причина подобных aberrаций, её можно увидеть в том, что Маркс не разграничивает компетенций философии и науки, для него не существовало проблемы демаркации.



По сути, на всём протяжении своих изысканий он оставался философом, пытавшимся сформировать научную исследовательскую программу социальных наук.

Итак, вывод. «Невидимая рука рынка» может получить адекватное эпистемологическое истолкование в качестве метафизической модели в дисциплинарной матрице экономических наук. Она «схватывает» и репрезентирует тот тип объективности, который присущ человеческой хозяйственной деятельности, тем формам, которые её определяют. Однако это вовсе не тот план, который корректно обозначать как «материализм». Не более того.

Список литературы

- Боулз, 2011 – *Боулз С.* Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция: учеб. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. 576 с.
- Бэкон, 1971 – *Бэкон Ф.* Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1971. 590 с.
- Вернадский, 1977 – *Вернадский В.И.* Размышления натуралиста. Кн. 2: Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1977. 316 с.
- Гегель, 1993, 2000 – *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993, 2000. 480 с.
- Гоббс, 1989 – *Гоббс Т.* Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. 622 с.
- Грязнов, 1982 – *Грязнов Б.С.* Логика. Рациональность. Наука. М.: Наука. 1982. 256 с.
- Кант, 1966 – *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // *Кант И.* Соч.: в 6 т. Т. 6. М.: Мысль. 1966. 588 с.
- Канторович, 2014 – *Канторович Э.Х.* Два тела короля. Исследования по средневековой политической теологии. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. 752 с.
- Кун, 2003 – *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ; ЗАО НПП «Ермак», 2003. 365 с.
- Маркс, Энгельс, 1955 – *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. 629 с.
- Маркс, 19458 – *Маркс К.* Введение (из экономических рукописей 1857–1858 годов) // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 12. М.: Госполитиздат, 1958. 879 с.
- Маркс, 1959 – *Маркс К.* К критике политической экономии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 13. М.: Госполитиздат, 1959. 770 с.
- Маркс, 1960 – *Маркс К.* Капитал // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. 762 с.
- Норт, 1997 – *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики во времени. URL: <http://gmarket.ru/laboratori/basis/6310/6311> (дата обращения: 14.09.2016).
- Рассел, 2001 – *Рассел Б.* История западной философии и её связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. 832 с.
- Смит, 2007 – *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 1056 с.
- Юм, 1996 – *Юм Д.* Трактат о человеческой природе // *Юм Д.* Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1966. 847 с.



References

Bowlse S. *Mikroekonomika. Povedenie, instituty i evolyutsiya: uchebnik* [Microeconomics. Behavior, institutes and evolution]. Moscow: Izd-vo «Delo» ANKh, 2011. 576 pp. (In Russian)

Bacon F. *Sochineniya v 2 tomakh*. T. 1 [Works in 2 vol. Vol. 1]. Moscow: Mysl', 1971. 590 pp. (In Russian)

Vernadsky V.I. *Razmyshleniya naturalista. Kn. 2: Nauchnaya mysl' kak planetarnoe yavlenie* [Naturalist's reflections. Book 2. Scientific thought as planetary phenomenon]. Moscow: Nauka, 1977. 316 pp. (In Russian)

Hegel G.W.F. *Leksii po filosofii istorii* [Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie]. Saint Petersburg: Nauka, 1993, 2000. 480 pp. (In Russian)

Hobbes T. *Sochineniya* [Works in two volumes. Vol. 1]. Moscow: Mysl', 1989. 622 pp. (In Russian)

Gryaznov B.S. *Logika. Ratsional'nost'. Nauka* [Logics. Rationality. Science]. Moscow: Nauka. 1982. 256 pp. (In Russian)

Kant I. "Ideya vseobshchei istorii vo vseмирно-grazhdanskom plane" [Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht], in: *Kant I. Sochineniya*. [Works. Vol. 6]. Moscow: Mysl'. 1966. 588 pp. (In Russian)

Kantorowicz E. *Dva tela korolya. Issledovaniya po srednevekovoi politicheskoi teologii* [The King's Two Bodies: A Study In Medieval Political Theology]. Moscow: Izd-vo In-ta Gaidara, 2014. 752 pp. (In Russian)

Kuhn T. *Struktura nauchnykh revolyutsii* [Structure of scientific revolutions]. Moscow: Izdatel'stvo AST, 2003. 365 pp. (In Russian)

Marx K., Engels F. "Nemetskaya ideologiya" [Die *Deutsche Ideologie*], in: Marx K., Engels F. *Sochinyiya* [Woks]. Vol. 3. Moscow: Gospolitizdat, 1955. 629 pp. (In Russian)

Marx K. "Vvedenie (iz ekonomicheskikh rukopisei 1857–1858 godov)" [Die Einfuehrung. Ökonomische manuskripte 1957–1958], in: Marx K., Engels F. *Sochineniya* [Works]. Vol. 12. Moscow: Gospolitizdat, 1958. 879 pp. (In Russian)

Marx K., Engels F. "K kritike politicheskoi ekonomii" [Zur Kritik der politische Theorie], in: Marx K., Engels F. *Sochineniya* [Works]. Vol. 13. Moscow: Gospolitizdat, 1959. 770 pp. (In Russian)

Marx K. "Kapital" [das Kapital], in: Marx K., Engels F. *Sochineniya* [Works]. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat, 1960. 762 pp. (In Russian)

North D. *Instituty, institutsional'nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki vo vremeni* [Institutes, institutional changes and economic performance]. [<http://gmarket.ru/laboratori/basis/6310/6311>, accessed on 12.10.2016]. (In Russian)

Russel B. *Istoriya zapadnoi filosofii i ee svyazi s politicheskimi i sotsial'nymi usloviyami ot antichnosti do nashikh dnei* [A history of Western philosophy]. Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta, 2001. 832 pp. (In Russian)

Smith A. *Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov* [The nature and causes of the wealth of nations]. Moscow: Eksmo, 2007. 1056 pp. (In Russian)

Hume D. "Traktat o chelovecheskoi prirode" [A treatise on human nature], in: *Hume D. Sochineniya*. [Works. Vol. 1]. Moscow: Mysl', 1966. 847 pp. (Russian)

ТЕКСТОВЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ*

Рыскельдиева Лора Турарбековна – доктор философских наук, профессор. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Российская Федерация, 295007, г. Симферополь, пр-т Академика Вернадского, 4; e-mail: ryskeldieval@gmail.com

Коротченко Юлия Михайловна – кандидат философских наук, доцент. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Российская Федерация, 295007, г. Симферополь, пр-т Академика Вернадского, 4; e-mail: yuliyakor03@gmail.com

В статье предлагается социально-философский подход, ориентированный на исследование текстовой культуры и поиск смыслов в изучении общества. Авторы полагают, что у философских исследований социального есть специфика, и выражают ее с помощью понятия «публичный текст». Публичность социального текста определяется как его особый статус в обществе, заключающийся в создании социально значимых смыслов. Среди публичных текстов авторы выделяют тексты особого формата, обладающие выраженным социально-трансформирующим потенциалом – публицистические. В статье предложена валюативная модель аналитически ясного и рефлексивного прочтения такого текста. Утверждается, что социокультурные исследования наших дней будут иметь большую перспективу в отношении конкретности и предметности, если будут связаны с изучением – анализом и интерпретацией – именно текстов.

Ключевые слова: социокультурное исследование, социальный текст, смысл, публикация, публицистика, текстовый формат



TEXTUAL APPROACH IN SOCIAL PHILOSOPHY

Ryskeldieva Lora – DSc in Philosophy, professor. V.I. Vernadsky Crimean Federal University. 4 Vernadskogo Prospekt, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation; e-mail: ryskeldieval@gmail.com

Korotchenko Julia – PhD in Philosophy, assistant professor. V.I. Vernadsky Crimean

This article discusses the specifics of social and philosophic approach to studying society in the context of two basic tendencies in modern social researches: interdisciplinary studies and commitment to search of meaning/sense. Both tendencies point to a special subject of this research – text. The authors believe that social philosophy has a particular characteristic that should be preserved and an introduction of the concept “public text” will help the preservation. Publicity of social text is determined as its special status in the society consisting in creation of socially meaningful senses. Among public texts the authors single out publicistic texts that are of special format and possess expressed socially transforming potential. This article proposes valiative

* Статья подготовлена при поддержке РФНФ, грант № 16-03-00120 «Влияние форматирования на смысл: изменения в текстовой культуре и трансформация коммуникации».



Federal University, 4 Vernadskogo Prospekt, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation; e-mail: yuliyakor03@gmail.com

model as a method of analytically clear and reflexive reading of such text. It is being established that sociocultural research of modern days will have broader perspective in regards to specificity and thingness if it is involved with studying (analysis and interpretation) of namely texts. Social and philosophic research itself becomes text as well – mainly author's and intentionally published, that preserves special features of philosophical text in general. The concept of "social text" loses virtual status at that, philologism as a regular consequence of modern interdisciplinary studies is being overcome and the subject of social and philosophical reflection is obtained from the area of text creation. The authors note two main research options of social philosophy – generalization of work results from experts in cultural studies, social studies, political studies, etc. (critical and methodological); determination and comprehension of socially important intents (reflexive and textological).

Keywords: sociocultural research, social text, sense, publication, publicistic writing, textual format

Вопрос о соотношении философии общества – социальной философии и науки об обществе – теоретической социологии, на первый взгляд, это вопрос, заданный «бюрократом»: в самом деле, какая разница, если дело здесь одно – исследование общества? Да, отличие теоретической (или фундаментальной) социологии от социальной философии не бросается в глаза, но оно есть. Мы определим его так: социология в качестве науки должна изучать общество как свой объект (статус объекта зависит от методологии). В философии смысл как предмет рефлексии порожден ею самой, он и нозматически полагается объективным, и нозтически порождается рефлексией философа. Очевидно, что грань между социальной философией и теоретической социологией здесь исчезающе тонкая, можно сказать, виртуальная, но она заметно влияет на цели и содержание исследований.

За последние несколько десятков лет сформировалось, так сказать, «общее место» любого рода социальных исследований, и мы определим его, сформулировав два основных тезиса: 1) такие исследования и являются, и должны быть междисциплинарными; 2) они должны быть ориентированы на смысл. В статье обосновываются следующие тезисы: во-первых, что междисциплинарность как принцип имеет сильно ограниченное применение в социальной философии, и, во-вторых, что конкретность современных социально-философских исследований может быть достигнута в контексте изучения текстовой культуры. В качестве результата будут продемонстрированы возможности валюативной методологии в анализе публицистического формата текстовой культуры.



Междисциплинарность в социально-философских исследованиях

Тезис о междисциплинарности можно считать подкрепленным уже самым фактом широкого употребления термина «социокультурный» в русском «словаре» культурологии и социологии. Единство исследований культуры и общества, методологический «союз» культурологии и социологии и саму систему культура-общество можно считать официально зарегистрированными [Ахиезер, 2000]. Это единство осуществилось, судя по всему, не без влияния П.А. Сорокина, социология которого тяготела к синтетическому знанию об обществе, а также под воздействием западных исследований последних десятилетий XX в. Из их совокупности выделим два, наиболее репрезентативных источника, ценных для характеристики междисциплинарности.

Во-первых, стоит выделить Бирмингемскую школу культурных исследований, которая была изначально ориентирована на массовую культуру и появление которой связывают с работами «Назначение грамотности...» Р. Хоггарта [Hoggart, 1957] и «Культура и общество» Р. Уильямса [Williams, 1958]. Так, в «Назначение грамотности...» Хоггарт говорит об условиях жизни британских рабочих, вычитывая из них «смыслы и ценности, как если бы они были текстом» [Холл, 2012]. «Культура и общество» связывает культуру с социальными потрясениями, крупными историческими событиями, внекультурный анализ которых не может быть полным [Холл, 2012]. К такого рода работам принято относить и текст Томпсона “The Making of the English Working Class”, в котором он настаивает на включении понятий культуры, смысла, традиций и т. п. в язык, описывающий процесс «делания» класса в истории [Thompson, 2009]. В целом, Хоггарт, Уильямс и Томпсон, несомненно, открыли новую территорию для исследований культуры и общества – территорию, где в культурном обнаруживает себя социальное и где изучение культуры становится обязательным при анализе социального. Будучи своеобразной рецепцией марксизма, бирмингемская парадигма культурных исследований несет в себе социально-политическую ангажированность работы ее основателей, которые, по замечанию Ст. Холла, сами были «культурными» в том смысле, который вкладывался в него Уильямсом: это были работы «на злобу дня», как это видели «британские левые», взявшие тексты бирмингемцев на вооружение. Еще одной особенностью этой школы стало критическое отношение к академическим традициям и институтам, принципиальная ориентация на массовую культуру, намеренная демократичность – в целом антиэлитаристская позиция.



В 1987 г. выходит работа Р. Джонсона «Так что же такое культурные исследования?» [Johnson, 1986–1987], в которой говорится о необходимости критического восприятия самой критической позиции в культурных исследованиях, особенно, если под “Cultural Studies” подразумевается академическая дисциплина. Джонсон отмечает, что на самом деле основным вопросом таких исследований должен быть «вопрос не соединения существующих подходов (немного социологии здесь, что-то от лингвистики там), а преобразования элементов различных подходов в их отношениях друг с другом» [Джонсон, 2012, с. 85]. Таким путем важный для бирмингемской школы ориентир – погруженность культурных исследований в реальность преподавания (преподают-то как раз дисциплины по отдельности!) нуждается в пересмотре: «Культурные процессы не соответствуют существующим контурам академического знания» [там же]. Между тем, культурные исследования должны быть междисциплинарными (и иногда антидисциплинарными) по своему подходу» [там же, с. 85]. Джонсон предлагает взять за основу междисциплинарного видения культуры понимание ее как сознания и субъективности, подчеркивая при этом, что субъективности производятся, они не даны, и потому они представляют собой предмет изучения» [там же, с. 90]. Сырьем для такого производства служит именно текст, а среди форм, имеющих особую социальную значимость, – именно публичные. Публичность текста, даже если и не искажает коды и жанры, все же, полагает Джонсон, явно работает на удержание их в рамках «публичных определений значимости» [там же, с. 101]. Именно это обстоятельство, по нашему мнению, делает понятия «*публичный текст*» и «*публикация*» важными для новейшей социальной философии. Традиционная «прописка» этих понятий по ведомству литературоведения не соответствует ни междисциплинарным тенденциям гуманитарного знания в целом, ни движению социальных дисциплин в сторону проблематики текста и смысла.

Во-вторых, мы имеем в виду «сильную программу в культурсоциологии» Дж. Александера. Это значимая традиция, ее можно считать альтернативой бирмингемской школе в понимании культуры, но не в вопросе о необходимости выделения культурных исследований в отдельную территорию современной гуманитаристики [Александр, 2013]. Александр выводит вопросы культуры за пределы проблематики детерминированности культуры чем угодно – экономикой, политикой etc. – и настаивает том, что: а) культура автономна, несводима ни к чему другому в обществе, культурные исследования не тождественны социологии культуры, рассматривающей культуру не автономно; б) культурсоциология – альтернатива социологии культуры – должна прийти к текстуальной трактовке социальной жизни. Например, литературные жанры имеют социальные импликации: трагедия порождает фатализм, ирония – критику авторитетов, комедия и



любовный роман – оптимизм и социальную включенность [Александр, 2013, с. 92]. Коды, нарративы и символы создают упорядоченные сплетения социального смысла, формируя культурные структуры, трактуемые как социальный текст; таким образом, в науке об обществе должны использоваться «средства литературоведческих исследований» [Александр, 2013, с. 63]; в) наконец, «...культура представляет собой насыщенный и сложный текст, оказывающий тонкое упорядоченное воздействие на социальную жизнь» [Александр, 2013, с. 83].

У выделенных нами двух направлений – наследников социологии, структурализма, герменевтики, марксизма, постмодернизма – есть существенное родство: они оказались отмеченными явной политической ангажированностью, о которой говорилось выше, и ориентированными на политическое противостояние власти через критику культуры и критику политики, то есть через герменевтику культуры. Их ангажированность очевидна, и для социальной философии, в конечном счете, открывается перспектива стать служанкой политологии на пути рецепции материала, инструментов, подходов и принципов этих еще не ушедших в прошлое исследовательских программ. Такую перспективу, по нашему мнению, следует закрыть, как бы заманчиво она ни выглядела в глазах тех, кто ратует за актуальность, практическую значимость и нужность философских исследований в наши дни.

Итак, вопрос о том, что же такое социально-философские исследования в наши дни, остается дискуссионным. Так, Л.А. Микешина отмечает, что «сегодня социальная философия находится не в лучшем из своих состояний, она, что называется, “отстает от времени” и нуждается в осмыслении знаний, полученных конкретными социально-экономическими и гуманитарными науками» [Микешина, 2009, с. 146–147]. Итоги развернувшейся дискуссии «Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности. Философская или социологическая методология?» – о предмете и методологической специфике социальной философии – склоняют к необходимости системной рефлексии именно в силу особенностей социальных объектов [Момджян, Подвойский, Кржевов, Антоновский, Бараш, 2016]. Таким образом, важным оказывается не только пересмотр оснований социальной философии, но и социально-философских импликаций социокультурных разысканий.

Текст как социокультурный объект

Ориентация современных социальных исследований на смысл была связана с тезисом В. Дильтея о том, что природу мы объясняем, а душевную жизнь – понимаем. Сами же поиски своеобразия «наук о



духе», как кажется, были связаны с легким «комплексом методологической неполноценности» гуманитарного знания второй половины XIX в., сформировавшимся в процессе его постоянного сравнения с достижениями естествознания. Эта методологическая дихотомия определила серьезное влияние герменевтики в области гуманитарного знания, а во второй половине XX в. это влияние осуществилось и на социальные исследования. Из всех его векторов выделим два, наиболее репрезентативные в интересующем нас контексте: а) авторитет П. Рикёра и его тезис о том, что социальные науки могут считаться герменевтическими [Рикер, 2008]; б) авторитет Ю. Хабермаса, его тезис об интерпретационном сдвиге в социальных исследованиях и его анализ сферы публичного [Habermas, 1991].

Проект П. Рикёра по превращению наук об обществе в герменевтику социальных смыслов, без сомнения, увлекателен. Прежде всего, тем, что предлагает удачную интерференцию давних антагонистов – объяснения и понимания, аналитического и собственно герменевтического подходов, в конечном счете, наук о природе и наук о духе. Его ненасильственная и внеконфликтная программа работы с языком (в языке) предлагала видеть в соотношении объяснения и понимания диалектику (от понимания к объяснению и наоборот), снимающую антагонизм. Возможность этого снятия должна быть достижима в результате интерпретации социального действия как письменного текста, человеческого действия как открытого поступка, смысл которого «пребывает в неопределенности». В этом заключается еще одна привлекательность позиции П. Рикёра: «многоголосие» текста, по его выражению, родственное «многоголосию» действия, позволяет социальным исследованиям использовать методы и приемы литературоведения. «Здесь современная теория действия вновь предоставляет нам посредническую связь между методами литературного критицизма и методами социальных наук» [Рикёр, 2008, с. 38], – пишет Рикёр и тем самым а) впускает в социокультурные исследования литературоведение и текстологию; и б) порождает целые социальные миры «неостенсивных референций» и дает творческий простор воображению социолога. Общество можно понять как язык, а социальное действие как текст; язык объективируется в текстах, а общество реализуется в социальных действиях; чтение письменного текста есть модель понимания социальных событий – эти тезисы есть результат «филологизма» в социологии, роль и влияние которого заслуживают отдельного исследования. Мы же обратим внимание на плодотворную, на наш взгляд, «встречу» понятий общества и текста, но сделаем в ней другие акценты.

Если не в социальном увидеть текст и подвергнуть его интерпретации, а в нашей интерпретации текста увидеть социальное, то тогда можно по-новому взглянуть на раннюю и весьма популярную рабо-



ту Ю. Хабермаса «Структурная трансформация публичной сферы» (1962) [см. Хабермас, 1991]. Его почти ностальгическая реконструкция открытого общению, выражению своих мыслей и гражданской активности социального мира первых газет, салонов, кофеен, а также сравнение этого мира с социальными импликациями деятельности прессы современного типа (СМИ) позволила увидеть особый, существенный для философской рефлексии, смысл в понятии «публикация»: это текст, обращенный ко всем, доступный общественности и предполагающий с ее стороны оценку.

Социальная функция публичного текста

Текстологическая компонента современной философии актуальна (см., например, [Рыскельдиева, 2015]). Выражение «всего лишь текстология» – свидетельство исключительно литературоведческого контекста этого рода исследований. Однако существенный сегмент литературоведения способен научить современную философию внимательности и дотошности в работе с текстами – и не только в целях эдиционной деятельности. Междисциплинарные, но выполненные на основе филологии, академические (университетские) исследования текстовой культуры с размытыми границами и вполне либеральными научными принципами, с учетом диахронии и синхронии [см., например, Irvine, 1994] или [Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, 2003] могут вызвать профессиональную зависть философов и тем самым понудить их к равномасштабным исследованиям. Без такой грамотной и обстоятельной текстологии философия может, пусть и невольно, способствовать неряшливой филиации идей на пути из одного контекста в совершенно другой. Работа с текстом – это фрагмент современной философской культуры, который (и, видимо, единственный!) может гарантировать конкретность любого философского исследования и философии в целом. Бесписьменная (мнемоническая? рецитационная? фольклорная?) философия нам не известна, сократические диалоги, сидение «у ног учителя», «беседы и поучения» дошли до нас только записанными, а «писание» и «чтение» – ключевые и уже «архетипические» слова для нашей культуры. Культура, в которой рождается философская рефлексия, – это культура текстовая, и это понятие давно заслуживает большего внимания, чем оно сейчас от нас получает. Чаще всего термин «текстовая культура» в русском языке появляется в контексте сетований на то, что нынешняя молодежь не читает, не умеет писать, не грамотная, не образованная и пр., что книга умирает, а духовная культура гибнет. Да, действительно, на нынешних смартфонах наряду с буквенной



клавиатурой появляется клавиатура «эмодзи», а блогосфера уступает место визуальному ряду типа **Instagram**, но это лишь изменения в текстовом формате, не отменяющие знакового характера коммуникации.

Текст – «рабочее место» философа, и у философского текста есть неустранимая специфика, учет которой неизбежен как при чтении, так и при написании философского текста. Текстовая специфика определяет коммуникативную ситуацию внутри него, понятия «другой», «свой», «чужой» – вполне релевантны для ее характеристики. Создание философского текста, даже если он не был предназначен «для всех» («в изданных наших сочинениях» как, например, писал Аристотель («Поэтика» Poet. 1454 b17)) [см. Аристотель, 1984, с. 662], его публикация как выведение в свет и делание публичным – это не столько полиграфическое и не только эдиционное мероприятие. Написание текста для публикации – публичного текста – особое событие со своей, если хотите, метафизикой, которая определяет коммуникативную ситуацию этого текста и, что важно, интенцию его автора. Адресат такого текста по определению – публика, это текст заведомо «для других»: для многих (по Ульпиану: “jus publicum” – на пользу Рима, “ad singulorum utilitatem” – на пользу отдельного человека) или для некоторых. Публичный текст есть само-презентация: как представление себя обществу здесь и сейчас и как открытое выражение своего отношения к предмету и существу дела. Понятие такого текста включает в себя то, что известно как «публицистика». При этом имеется в виду публичный текст особого рода, а именно – намеренно, осознанно публичный, с ожидаемыми и даже публичными реакциями. В чем значимость публицистики для современной социальной философии с учетом того, что мы рассматриваем здесь текст как форму саморепрезентации социального и как, в связи с этим, расширяется значение слова «публицистический»?

Публицистика как формат публичного текста

Между какими нефилософскими дисциплинами в совокупности современных исследований «делится» публицистический текст и как современная социальная философия может участвовать в создании междисциплинарного образа этого объекта? Ближайшие к такому объекту и традиционно ассоциируемые с ним нефилософские дисциплины, между которыми происходит или, во всяком случае, должно происходить взаимодействие, – лингвистика и журналистика. Так, в частности, лингвистические исследования характеризуют публицистику как речевой стиль со своими жанрами, выявляют синтаксические структуры, лексемы, характерные тропы конкретных текстов



(см., например, [Rodgers, 2015]). Отечественная лингвистика заметно обращена к историческому наследию, анализу образцов публицистического стиля, принадлежащих русской литературе [Ильинский, 2009; Прохоров, 2012.]. Журналистика как отрасль знаний склонна видеть в публицистике практику использования этого стиля в СМИ [Петрова, 2007; Шерстнева, Янукович, 2014]. В целом, наблюдается некоторая неопределенность понятия «публицистика» в филологических и близких им дисциплинах. При достаточном внимании к публицистичности отдельных текстовых и языковых феноменов сам термин в современных литературоведческих и лингвистических словарях отсутствует. Так, ни в «Кратком Оксфордском словаре литературоведческих терминов» [Baldick, 2001], ни в его полной и более поздней версии [Baldick, 2008] нет статьи под названием «Публицистика».

Так сложилось, что при всей кажущейся полноте междисциплинарного намерения каждая из дисциплин может исследовать свой фрагмент публицистического текста исключительно как часть своей предметной области и оттого – говорить о нем на своем языке, применять свои методы, хотя бы и под эгидой междисциплинарности. Для лингвиста публицистика является стилем литературного языка или дискурсом, в котором этот стиль реализуется, а для исследователя журналистики – жанром, используемым в СМИ. При этом создается модель публицистического текста с выраженной авторской акцентуацией. Вопрос об адресате, на которого как раз и должно быть направлено «перо публициста», не актуализирован. Именно это обстоятельство можно назвать симптомом филологизма в изучении такого многоаспектного явления, как публицистический текст.

Социальная философия так же, как и иные области знания, не преодолевает свои предметные и методологические границы, занимаясь междисциплинарными объектами. Однако само предметное содержание и методология здесь позволяют вывести публицистичность за рамки узкоспециализированного интереса. Это расширение оказывается возможным, если рассматривать публицистический текст как такой, который является продуктом придания смысла социальным объектам, процессам, институтам и т. д. – социальному вообще и при этом обладает мощным социально-эвристическим потенциалом, дифференцирует публичную сферу на территории смыслов, укрепляет или подрывает имеющиеся общности, формирует новые, различающиеся именно по тому, какие смыслы социальному они приписывают. При таком видении существенно расширяются возможности именно аналитического подхода в социальной философии: текст в его реальности позволяет «дробить» себя до простейших знаков, но одновременно заставляет исследователя постоянно отдавать себе отчет в том, что он прочитал в самом тексте, а что он туда «вчитал», исходя из внетекстовой реальности.



Таким образом, обнаружение особого статуса публицистического текста и как продукта, и как инструмента придания смысла социальным явлениям конкретизирует текстовый подход в социальной философии, соединяя понятия «общественное» и «смысл»: смысл может возникать только у текста и только в общественной среде. Именно поэтому, чтобы говорить о смысле, недостаточно привязывать его только к языку или стилю, жанру или коммуникативному отношению. Необходима генерализация содержания этих терминов, и необходим учет оснований, лежащих вне описания филологическими дисциплинами и появляющихся только в социуме. В самом общем виде это могут быть: обстоятельства появления (от вызвавших к жизни данный текст социальных событий до мотивов автора); форма (словарь, стиль, жанр, место и тип публикации); характер коммуникативной ситуации текста (от какого социального субъекта и с какими ожиданиями от разных Других социальных субъектов публикуется, каковы вероятные ожидаемые последствия «вброса» текста в публичную сферу и т. п.). Все вместе они составят то, что мы называем *форматом текста*.

Публицистичность представляет собой текстовый формат, в котором тексты порождены двоякого рода обстоятельствами. Во-первых, это значимые социальные события, конфликты, вызовы, угрожающие существованию наличествующих социальных общностей и – одновременно – стимулирующие рождение новых коллективных субъектов. Во-вторых, это могут быть обстоятельства иного свойства – аналогичные тем, о которых писал Дж. Александер во фрагменте ««Уотергейт» как демократический ритуал», вошедшем в книгу «Смыслы социальной жизни» и завершающемся афоризмом о том, что «скандалы не рождаются, их создают» [Александер, 2013, с. 471]. Имеется в виду скандал, стоивший Форду проигрыша на президентских выборах. Первым из необходимых шагов для этого проигрыша называлась оценка пресловутого взлома номера в гостинице «Уотергейт» как события ненормального «чуть большим, чем крошечная часть населения» количеством людей – публикой. Коммуникативная ситуация, конституирующая публицистический формат текста, специфична именно своей социальной направленностью. В таком формате публицистический текст является текстом, опубликованным от лица некоторого коллективного субъекта и адресованным коллективным субъектам, которые разделяют или оспаривают смыслы данного текста в разных отношениях и в разной степени. Публицистический текст как текст вообще содержит смысл, транслирует его и т. п. Но у него есть и собственная специфика, делающая текст данного формата интересным для социальной философии: он *создает* социальные смыслы – такие, которые, овладев общественными настроениями, способны мотивировать социальные действия, становиться важными факторами социальных трансформаций, составлять



основу для государственных документов или быть частью информационных политических технологий. Со всей очевидностью, синонимом осмысления в коммуникативной ситуации публицистического формата становится оценивание, а оценка – формой, в которой являет себя смысл. Тогда можно выделить некий базовый набор типов оценочных смыслов, конструируемых публицистическим текстом.

О чем в самом общем виде может быть такой текст? Оценивая, публицистический формат *делает* из «просто людей» – героев, мучеников, врагов; из их действий – подвиги и преступления; из свойств вещей, интересов, необходимостей – ценности и блага; из произведений художественного творчества и из идей – тексты и убеждения, работающие («льющие воду на мельницу» и т. п.) на «правильные» или «неправильные» оценки. Тексты, репрезентирующие и таким образом конституирующие эти типы смыслов, обладают беспрецедентным социально значимым потенциалом, связанным именно с конструированием социальных общностей по оценочному основанию, общностей со своими героями, врагами, нормами, ценностями, принятыми художественным творчеством и идеологией, со своими правилами обозначения социальных явлений и процессов в языке.

Текстовая аналитика социального

Если герменевтика использует слово «текст» как своеобразную метафору социального, которое можно изучать «как текст», то аналитика исходит из данности реального публицистического текста и, эксплицируя язык, на котором он описан, обстоятельства, вызвавшие этот текст к жизни и особенности отношения «автор-адресат», позволяет реконструировать общественную жизнь.

В связи с отмеченной выше преобразующей социум значимостью публицистического формата можно представить некоторую структуру, оценочную матрицу, объединяющую существенные (т. е. такие, без которых разрушается формат) смыслы публицистических текстов. К элементам этой матрицы отнесем:

- *персонифицирующие коллективный субъект оценки*: герои, мученики, враги;
- *нормы*;
- *ценности*;
- *средства репрезентации общности*: язык, художественное творчество, идеология.

Поскольку перечисленные оценочные смыслы относятся к разным языкам и типам дискурса – к обыденному языку, этике, праву, модальной логике, религии, политике, идеологии и культуре, мы по-



лагаем, что необходим некий синтетический термин. Последний должен предполагать, в своем объеме, *любое* коллективно-субъективное оценочное отношение к социально значимому явлению, процессу или событию, выраженное *любыми* адекватными этой оценке выразительными языковыми средствами. Уместно, в связи с этим, назвать вышеприведенную матрицу валюативом, а язык, на котором должен быть написан такого рода текст, – валюативным. Валюативное обобщение дает возможность избежать многозначности именно как результата междисциплинарного изучения феномена оценки и говорить об оценках в обыденном языке, языках модальной логики, этики, права, аксиологии, религии, политики и культуры в целом. Но тогда речь должна идти о необходимости выделения некоторого языкового инварианта, некоторого валюативного словаря, экстрагированного из естественного национального языка, например, русского. Данный словарь, назовем его *Rusv*, представляет собой синхроническую структуру с минимально необходимым набором элементов, список которых потенциально открыт, но содержит такие фрагменты естественного языка, которыми можно обойтись для создания публицистического текста [см. Коротченко, 2015, с. 239–240]. Строго говоря, минимальный *Rusv* должен содержать имена строк валюативной матрицы. В выборе выражений и операций для валюативного языка присутствует единственный критерий: они должны обладать оценочной выразительностью. Технически конструирование валюативного субъязыка основывается на функциональном подходе к языковым выражениям, при котором искусственный язык строится с точки зрения выполнения его выражениями необходимых функций.

Большая эмпирическая работа по выявлению, градации, смысловой систематизации, жанровой и коммуникативной соотнесенности, национально-культурной спецификации была проделана лингвистами [см. Вежбицкая, 2001; Вольф, 2002]. Вне учета результатов лингвистических исследований в этой сфере любые попытки анализа публицистического текста в принимаемой здесь его трактовке спекулятивны и бесплодны. Но как обнаруживает себя в этих поисках оценочного языка социально-философская проблематика? Как в оценочном высказывании обнаружить смысл, адресуемый и потенциально понимаемый именно общественностью? Как публицистический формат реализует себя в высказывании и тексте и как социальное говорит о себе в языке и тексте?

Оценочное высказывание имеет двойственную структуру $\langle \{v; f\} \rangle$, где v принадлежит *Rusv*, а f – обычному естественному языку, в данном случае – русскому и описывает социальные объекты» [Коротченко, 2015, с. 240]. В качестве последних могут быть: любое важное для всех (для публики) событие; человек, совершивший значимое для всех социальное действие; опубликованный значимый для всех



политический документ и т. п. – любой значимый для всех фрагмент социальной реальности. Другой же элемент публицистического высказывания относится к строчке валюативной смысловой матрицы. Очевидно, что валюативное высказывание является индикатором того, как социальное интерпретируется его автором и того, какие интерпретации предлагаются адресатам. У героев и врагов есть имена и биографии; нормы прописаны в документах, на которые можно непосредственно сослаться; ценности предстают как необходимости, обоснованные принятыми на момент обоснования способами; художественное творчество воспеваает героев, клеймит врагов, утверждает ценное и нормативно дозволенное, осуждая запретное и провозглашая какие-то ценности ложными (ценности какого-то Другого); объявляет некоторую идеологию верной, а остальные – «менее верными» или даже вредными – и т. д. Например: «X – герой, он совершил такой-то подвиг»; «Y – враг, потому что он попирает наши ценности, которыми являются q, p, г»; «Наше идеологическое учение всесильно, потому что оно верно, а другие учения обречены, потому что не верны». Есть тексты, в которых явно осуществлено такое «приклеивание» оценочного ярлыка к имени социально значимого объекта: постановления о наградах и присуждении почетных званий; решения судов; тексты всевозможных хартий, в которых говорится о нормах и ценностях и т. п. Все вместе они составят некий гипертекст, объединяющий в себе тексты, в которых все высказанные оценки, распределяемые по вышеобозначенным типам смыслов, так или иначе совпадают или редуцируемы к совпадениям. И эти оценки, с другой стороны, разделяются частью публики. Тогда можно говорить, что эта часть общественности объединена общими оценками социального мира. Что может означать такое объединение? Оно может характеризовать нестабильные, сиюминутные солидарности, возникшие, например, в момент трансляции ток-шоу на бытовые темы. Но оно может также говорить о наличии актуальной социальной общности, присутствующей в социуме как коллективный субъект. В качестве последнего выступают социальные слои, этносы, религиозные объединения, общества любителей чего угодно, субкультурные сообщества, социальные группы, государства и межгосударственные объединения. Коллективная субъективность может иметь разные масштабы и локализацию, относиться к разным историческим эпохам, но формируется она как результат общего оценочного осмысления мира. И поскольку такое осмысление может быть репрезентировано в тексте, написанном на валюативном языке, характеризующем, в свою очередь, публицистический формат, есть основания полагать, что последний реконструирует некую языковую модель социального мира таким, как он видится социальными общностями, заполняющими сферу публичного. Она оказывается прошитой оценочными смы-



слами. Проблема соединения этих смыслов с языковыми ярлыками с одной стороны и с осмысляемой реальностью – с другой, проблема природы оценки как результата интерпретации и, наконец, вопрос о роли, которую играют интерпретационные процессы в современной общественной жизни, – данная проблематика принадлежит социальному знанию.

Ориентированная на язык социальная философия, во многом «следя за» фундаментальной социологией в инклюзии проблематики социальных смыслов, сегодня, сохраняя свою собственно философскую специфику, говорит о текстовых основаниях общественного. Так, анализ структуры оценочного высказывания как высказывания от лица, во имя интересов, целей и т. п. коллективного субъекта и адресованного также коллективному субъекту, показывает, что смыслы, предъявляемые в таком высказывании, и его дальнейшая участь после публикации являются важнейшим – конституирующим – условием дифференциации публичной сферы на общности, условием согласия и противоречий внутри нее. В этой связи можно говорить о предложенной выше валюативно-смысловой матрице как модели оценочной и – шире – интерпретационной активности коллективного субъекта. Этот смысловой концентрат, представленный как коллаж важнейших для коллективности форм социальных оценок, будучи выявлен по текстам (и никак иначе!) от лица коллективности, написанным и опубликованным для ее адептов, против ее врагов и во имя сохранения ее целостности перед лицом внешних вызовов, играет важнейшую роль в организации и сохранении общности.

Социальные конфликты, разламывающие общество на никогда потом не соединяемые части, проходят сегодня по линиям оценочной интерпретации общественного, являясь результатом антиномичного друг другу соответствия оценок валюативной матрицы и социальных явлений. Для значительного социального конфликта достаточно, например, антагонистического оценивания одного и того же человека как героя в одной общности и как врага – в другой, при условии вхождения этих общностей в один социум. В то же время, принятие «других» героев, «других» норм и т. д. является фактором социального согласия. Появление социальной общности, следовательно, не представимо вне поля смысла и интерпретации, неизбежно отсылающих нас к тексту. Еще раз подчеркнем – это должен быть текст особого формата, определенного здесь как публицистический. Он объединяет в себе всевозможные литературные жанры, виды дискурсов, он может быть опубликован любым способом – лишь бы это было доступно общественности и предназначалось для нее. Его основная функция – придавать смыслы и таким образом влиять на формирование и внутреннюю дифференциацию публичной сферы – делает его особым предметом социально-философской рефлексии.



Таким образом, мы утверждаем, что социокультурные исследования наших дней будут иметь бóльшую перспективу в отношении конкретности и предметности, если будут связаны с изучением – анализом и интерпретацией – именно текстовой культуры. В свою очередь, социально-философское исследование всегда выражается в изначально и принципиально авторском философском тексте. Это означает, что социальный философ как автор философского текста всегда несет ответственность за «производство» смысла. Он не «вычитал» его в объективной социальной реальности, не «вчитал» его туда по собственному произволу или прихоти своего воображения. Предлагаемый нами *валюатив*, например, это аналитический проясненный, членораздельный и рефлексивный язык прочтения социального текста. Понятие «социальный текст» при этом лишается виртуального статуса, а предмет социально-философской рефлексии поставляется из области производства текстов. Что же для социальной философии представляет собой предмет прочтения, то есть, социальный текст? Авторский текст, сознательно опубликованный и содержащий авторское отношение, позицию или программу действий по образованию общности. Социальная философия при этом не выискивает, а, почти следуя завету Э. Гуссерля, берет вещи такими, как они сами даются. Тогда у социальной философии остаются две основные исследовательские опции: генерализация результатов работы культурологов, социологов, политологов и др. (критико-методологическая); обнаружение и осмысление социально-значимых интенций (рефлексивно-текстологическая).

Список литературы

- Александр, 2013 – *Александр Дж.* Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / Пер. с англ. Г.К. Ольховикова; под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Праксис, 2013. 640 с.
- Аристотель, 1984 – *Аристотель.* Поэтика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 641–684.
- Ахиезер, 2000 – *Ахиезер А. С.* Философские основы социокультурной теории и методологии // *Вопр. философии.* 2000. № 9. С. 29–45.
- Вежбицкая, 2001 – *Вежбицкая А.* Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М.: Яз. славян. культуры, 2001. 272 с.
- Вольф, 2002 – *Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. Изд. 2-е, доп. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 280 с.
- Джонсон, 2012 – *Джонсон Р.* Так что же такое культурные исследования? // *Логос.* 2012. № 1[85]. С. 80–135.
- Ильинский, 2009 – *Ильинский И.М.* Белая правда Бунина (заметки о бунинской публицистике) // *Знание. Умение. Понимание.* 2009. № 4. С. 5–26.



Коротченко, 2015 – *Коротченко Ю.М.* Язык в интерпретационной активности коллективного сознания // Материалы междунаро. конф. Алешинские чтения. 2015 (г. Москва 10–11 дек. 2015 г.). История философии: история или философия? / Отв. ред. Т.А. Шиян. М.: РГГУ, 2015. С. 238–243.

Микешина, 2009 – *Микешина Л.А.* С.Л. Франк: проблемы методологии обществознания // Эпистемология и философия науки / Epistemology & philosophy of science. 2009. Т. XXII. № 4. С. 133–149.

Момджян, Подвойский, Кржевов, Антоновский, Бараш, 2016 – *Момджян К.Х., Подвойский Д.Г., Кржевов В.С., Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.* Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности // Вопр. философии. 2016. № 1. С. 17–42.

Петрова, 2007 – *Петрова Е.А.* Исследование публицистических текстов англоязычных городов с точки зрения наличия в них разговорной лексики (на материале газет Великобритании и США) // . 2007. Т. 22. № 53. С. 181–186.

Рикер, 2008 – *Рикер П.* Модель текста: осмысленное действие как текст // Социол. обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 25–43.

Рыскельдиева, 2015 – *Рыскельдиева Л.Т.* О философской текстологии или Чему может научить история философии // Вопр. философии. 2015. № 1. С. 106–114.

Холл, 2012 – *Холл С.* Культурные исследования: две парадигмы // Логос. 2012. № 1(85). С. 157–183.

Шерстнева, Янукович, 2014 – *Шерстнева Л.Г., Янукович Н.Н.* Лингвостилистические особенности современного публицистического дискурса // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2014. № 11(89). С. 136–138.

Baldick, 2001 – *Baldick C.* The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. N.Y.: Oxford University Press Inc., 2001. 280 p.

Baldick, 2008 – *Baldick C.* The Oxford Dictionary of Literary Terms (3 ed.). N.Y.: Oxford University Press Inc., 2008. 416 p.

Habermas, 1991 – *Habermas J.* The Structural Transformation of Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge (MA): The MIT Press, 1991. 302 p.

Hoggart, 1957 – *Hoggart R.* The uses of literacy: aspects of working-class life, with special reference to publications and entertainments. L.: Chatto and Windus, 1957. 319 p.

Irvine, 1994 – *Irvine M.* The making of Textual Culture: “Grammatica” and Literary Theory, 350–1100. Cambridge University Press, 1994 (Transferred to digital printing 2003). 605 p. URL: <http://assets.cambridge.org/97805214/14470/sample/9780521414470ws.pdf> (дата обращения: 05.07.2016).

Johnson, 1986 – *Johnson R.* What Is Cultural Studies Anyway? // Social Text. Durham. Winter 1986–1987, no. 16. P. 38–80.

Rodgers, 2015 – *Rodgers M.A.* Theory of Genre Formation in the Twentieth Century // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2015. Vol. 17. Issue 4. URL: <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol17/iss4/2/> (дата обращения: 02.06.2016).

Stern, Burns, 2011 – *Stern A.E., Burns T.J.* About the Human Condition in the Works of Dickens and Marx // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol. 13. Issue 3. URL: <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss4/10/> (дата обращения: 19.06.2016).



Thompson, 2009 – *Thompson E.P.* The Making of the English Working Class. L.: Pinguin Gr. 2009. URL: <http://libcom.org/library/making-english-working-class-ep-thompson> (дата обращения: 01.07.2016).

Williams, 1958 – *Williams R.* Culture and Society. L.: Chatto and Windus, 1958. 412 p.

Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, 2003 – Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece / Ed. By Harvey Yunis. N.Y.: Cambridge University Press, 2003 (online publication date 2009). 262 p. URL: <http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002071492.pdf> (дата обращения: 05.07.2016).

References

Akhiezer A.S. “Filosofskie osnovy sotsiokul’turnoi teorii i metodologii” [Philosophical Grounds of Socio-Cultural Theory and Methodology], in: *Voprosy filosofii*, 2000, no. 9, pp. 29–45. (In Russian)

Aristotle. “Poetika” [Poetics], in: *Aristotle. Soch.* [Collected Works in 4 vol. Vol. 4]. Moscow: Mysl’, 1984, pp. 641–684. (In Russian)

Baldick C. *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. New York: Oxford University Press Inc. 2001. 280 pp.

Baldick C. *The Oxford Dictionary of Literary Terms* (3 ed.) New York: Oxford University Press Inc. 2008. 416 pp.

Habermas J. *The Structural Transformation of Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1991. 302 pp.

Hoggart R. *The uses of literacy: aspects of working-class life, with special reference to publications and entertainments*. London: Chatto and Windus, 1957. 319 pp.

Il’inskiĭ I.M. “Belaya pravda Bunina (zametki o buninskoĭ publitsistike)” [The white true of Ivan Bunin. Notes on Bunin’s publicistic works], in: *Znanie. Umenie. Ponimanie*, 2009, no. 4, pp. 5–26. (In Russian)

Irvine M. *The making of Textual Culture: “Grammatica” and Literary Theory*, 350–1100. Cambridge University Press, 1994 (Transferred to digital printing 2003). 605 pp. [<http://assets.cambridge.org/97805214/14470/sample/9780521414470ws.pdf>, accessed 05.07.2016].

Johnson R. What Is Cultural Studies Anyway?, *Social Text. Durham*. Winter 1986–1987, no. 16, pp. 38–80.

Johnson R. “Tak chto zhe takoe kul’turnye issledovaniya?” [What is the cultural studies anyway?], *Logos*, 2012, no. 1 [85], pp. 80–135. (In Russian)

Kholl St. “Kul’turnye issledovaniya: dve paradigmy”, in: *Logos*, 2012, no. 1(85), pp. 157–183. (In Russian)

Korotchenko Yu.M. “Yazyk v interpretatsionnoi aktivnosti kollektivnogo soznaniya” [Language in the interpretative activity of collective consciousness], in: Shiyani T.A. (ed.). *Mat-ly mezhd. konf. Aleshinskie chteniya. 2015 (Moskva 10–11 dekabrya 2015). Istoriya filosofii: istoriya ili filosofiya?* RGGU, 2015, pp. 238–243. (In Russian)

Mikeshina L.A. “S.L. Frank: problemy metodologii obshchestvoznaniya” [S.L. Frank: the Problems of Social Science Methodology], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2009, T. XXII, no. 4, pp. 133–149. (In Russian)



Momdzhyan K.Kh., Podvoiskii D.G., Krzhevov V.S., Antonovskii A. Yu., Barash R.E. “Sistemno-teoreticheskii podkhod k ob”yasneniyu sotsial’noi real’nosti” [System and Theoretical Approach to Explanation of Social Reality], in: *Voprosy filosofii*, 2016, no. 1, pp. 17–42. (In Russian)

Petrova E.A. “Issledovanie publitsisticheskikh tekstov angloyazychnykh gorodov s tochki zreniya nalichiya v nikh razgovornoj leksiki (na materiale gazet Velikobritanii i SShA)” [Researching the Publicist Texts of English-speaking Cities the Aspect of the Presence of Colloquial Lexis], in: *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena*, 2007, Vol. 22, no. 53, pp. 181–186. (In Russian)

Prokhorov G.S. “Chto takoe khudozhestvennaya publitsistika?” [Fictionalized Journalism: Clarifying the Term], in: *Novyi filologicheskii vestnik* [The New Philological Bulletin], 2012, no. 3(22), pp. 44–52. (In Russian)

Riker P. “Model’ teksta: osmyslennoe deistvie kak tekst” [Ricoeur P. The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text], in: *Sotsiologicheskoe obozrenie* [Russian Sociological Review], 2008, T. 7, no. 1, pp. 25–43. (In Russian)

Rodgers M.A. “Theory of Genre Formation in the Twentieth Century”, *CLCWeb: Comparative Literature and Culture*, 2015, Vol. 17, Issue 4. [<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol17/iss4/2/>, accessed 02.06.2016].

Ryskel’dieva L.T. “O filosofskoi tekstologii ili Chemu mozhet nauchit’ istoriya filosofii” [On philosophical Textology or What the History of Philosophy Can Teach], in: *Voprosy filosofii*, 2015, no. 1, pp. 106–114. (In Russian)

Sherstneva L.G., Yanukovich N.N. “Lingvo-stilisticheskie osobennosti sovremennogo publitsisticheskogo diskursa” [Linguistic and Stylistic Peculiarities of Publicist Discourse], in: *Al’manakh sovremennoi nauki i obrazovaniya* [Almanac of Modern Science and Education]. Tambov: Gramota, 2014, no. 11(89), pp. 136–138. (In Russian)

Stern A.E., Burns T.J. “About the Human Condition in the Works of Dickens and Marx”, *CLCWeb: Comparative Literature and Culture*, 2011, Vol. 13, Issue 3 [<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss4/10/>, accessed 19.06.2016].

Thompson E.P. *The Making of the English Working Class*. L.: Pinguin Gr., 2009 [<http://libcom.org/library/making-english-working-class-ep-thompson>, accessed 01.07.2016].

Vezhbitskaya A. *Sopostavlenie kul’tur cherez posredstvo leksiki i pragmatiki* [Comparison cultures through language and pragmatics]. Moscow: «Yazyki slavyanskoi kul’tury», 2001. 272 pp. (In Russian)

Vol’f E.M. *Funktsional’naya semantika otsenki* [The Functional Semantics for Value]. Moscow: Editorial URSS, 2002. 280 pp. (In Russian)

Williams R. *Culture and Society*. London: Chatto and Windus, 1958. 412 pp.

Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece (ed. by H. Yunis). Cambridge University Press, 2003 (online publication date 2009). 262 pp. [<http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002071492.pdf>, accessed 05.07.2016].

КРИЗИС РЕПРЕЗЕНТАЦИИ. КАК ВОЗМОЖЕН УСПЕШНЫЙ ИСХОД? СЛУЧАЙ НАУКОМЕТРИИ*

Куприянов Виктор Александрович – аспирант. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11; e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

Шиповалова Лада Владимировна – доктор философских наук, доцент. Санкт-Петербургский государственный университет. Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 11; e-mail: ladaship@gmail.com

Статья посвящена проблеме научных репрезентаций, связанной с их необходимостью в науке и неизбежностью кризиса их использования. Необходимость репрезентаций определяется отсутствием в исследовании прямого доступа к факту, связана с потребностью в достоверности фактов и в средстве конституирования научного сообщества. В соответствии с этим репрезентации выполняют тройную функцию в научном познании: во-первых, репрезентации отвечают за конструирование научной предметности, во-вторых, репрезентации представляют научный объект не только как действительный, но и как достоверный и, в-третьих, репрезентации служат инструментом формирования познающего субъекта и точкой сборки научного сообщества. Кризис возникает в связи с заслонением реальности репрезентацией. Проведенный анализ применяется к репрезентации самой науки посредством наукометрии. Научное исследование необходимо представлено посредством наукометрических методов, что связано с его недоступностью аутсайдерам. Но идея количественно исчисляемых научных результатов заменяет основные, качественные составляющие научной работы. Этот факт вызывает критику наукометрии со стороны научного сообщества. Авторы предлагают пути выхода из этого кризиса. Важнейшим шагом для этого является внимание к генезису этого типа репрезентации, что означает учет того факта, что наукометрия появилась благодаря потребности научного сообщества в поиске информации об уже существующих исследованиях и распространении идей.

Ключевые слова: репрезентация, наукометрия, научное сообщество, факт, эффективность, оценка



* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 15-03-00572 «Проблема эффективности научных исследований: философский и исторический контексты».



THE CRISIS OF REPRESENTATIONS. HOW IS A SUCCESSFUL OUTCOME POSSIBLE? THE CASE OF SCIENTOMETRICS

Victor Kupriyanov – PhD student. Saint Petersburg State University, 11 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg, 199034, Russia; e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

Lada Shipovalova – DSc in Philosophy, assistant professor. Saint Petersburg State University, 11 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg, 199034, Russia; e-mail: ladaшип@gmail.com

The article deals with the problem of representation and considers such points as its necessity in science, contemporary crisis of representation and its possible outcome. The paper also scrutinizes the case of representation of scientific researches by means of scientometrics methods. The need of the representations in science is determined by three points: absence of the direct access to the fact, certainty of the fact which exceeds the certainty of the immediate experience and consolidation of the scientific community by any stable representation. The sense of crisis concerns the confusion of the representation with the reality and the fact that it hides the reality as well. The scientific research is necessarily represented by means of scientometrics methods, which is connected with the unintelligibility of the idea of the scientific researches to the outsiders. The idea of quantitatively estimated scientific outcome replaces the essential, qualitative intentions and impedes to achieve them. This fact evokes the criticism against scientometrics methods from the side of scientific community. The authors suggest the ways to overcome this crisis. One of the steps against it implies the attention to the *genesis* of such type of representation. This means keeping in mind the fact that scientometrics appeared on the basis of the scientific community's necessity to search for the information about already existing researches and to disseminate the ideas.

Keywords: representation, scientometrics, scientific community, fact, effectiveness, assessment

Введение

Репрезентация относится к тем концептам, которые проблематическим образом определяют научную деятельность и потому, служат источником философского внимания к науке. Проблематичность эта состоит в том, что присутствие репрезентаций в науке столь же необходимо, сколь неизбежны кризисы с ним связанные. Кризисы обнаруживают себя различным образом и порой провоцируют эпистемологов и ученых на заявления о необходимости устранения репрезентаций из науки вообще [Vanini, 2015]. Представляется, что при этом научность исследований также ставится под вопрос.

Данный концепт, вошедший в язык теории познания, по крайней мере, с XVIII в., не раз оказывался в фокусе критического внимания исследователей науки [Вартовский, 1988; Соорман, 2014]. Однако долгая история концепта и связанных с ним проблем, не отменяет их настоятельности. Цель данной статьи – продемонстрировать возмож-



ности таких ответов на вызов кризиса репрезентаций, которые, будучи вписаны в современные тенденции развития эпистемологии, могут быть востребованы в разрешении актуальных проблем, связанных с научной деятельностью.

В первой части статьи в самом общем виде определяется сущность репрезентаций, анализируется их необходимость в научном исследовании. Во второй – описывается неизбежность кризиса и возможности исхода без устранения репрезентаций. Тем самым осуществляется прояснение проблемы репрезентаций в науке. Третья часть статьи посвящена возможному применению ответов современной эпистемологии на кризис репрезентаций к такой злободневной теме, как измерение науки и количественная оценка научной деятельности. При этом обосновывается следующий тезис. Наукометрия – это актуальный способ научной репрезентации самой исследовательской деятельности, использующийся в управлении наукой; ответы современной эпистемологии уместны для того, чтобы понять ее относительную целесообразность, а также продумать способы смягчения тех конфликтных следствий, которые порождает ее использование в современном обществе. Тем самым получает дополнительную легитимацию работа социальной эпистемологии, включающая внимание к социальному статусу и функциям научных исследований [Касавин, 2015].

Словосочетание «научные репрезентации» истолковывается в статье двояким образом. Во-первых, в контексте раскрытия кризиса репрезентаций, сопровождающего научные способы работы с собственной предметностью. Во-вторых, в связи с описанием противоречий, связанных с репрезентацией самой науки как предмета теоретических исследований и, впоследствии, практик управления.

Роль репрезентаций в научном исследовании

Мы создаем для себя картины фактов

Л. Витгенштейн

Репрезентации в эпистемологическом контексте можно истолковывать широким образом через понятия картины, представления, образа – родственных имен, которые определяют существо предметности новоевропейской науки. Так, по крайней мере, его диагностируют философы, начиная с Р. Декарта и не заканчивая М. Хайдеггером и М. Фуко. В современных исследованиях к научным репрезентациям относят визуализацию, в том числе созданную с использованием цифровых технологий и интерпретируемую с помощью «тренированного суждения» [Coopman, 2014; Daston, Galison, 2010, p. 309–362],



т. е. объективированное чувственное созерцание. Репрезентация же в широком смысле – это не только наглядное представление, но и понятие¹; она может существовать в виде материальных предметов, образов, словесных и математических выражений. Репрезентация в эпистемологии – термин не только многозначный, но и проблематичный. С чем связаны его проблемы?

Репрезентация – это то, что вторично по отношению к изображаемому факту, но она необходима исследователю, движимому интересом к независимой реальности. Репрезентация впервые делает факт представленным определенным образом, хранит и предъявляет его в отсутствии референта.

С одной стороны, репрезентация имеет свое онтологическое основание в реальности, которая предполагает возможность и необходимость быть представленной. С другой стороны, представление – это то, что создается на основании формы, присутствующей до акта представления в познающих субъектах, создающих для себя картины фактов. Но форма эта связана с содержанием изображенного, которое до акта изображения остается недоопределенным [Latour, 2000]. Этим обуславливается опасность замещения реальности репрезентацией. Мера актуальности конструктивизма, представленного в этой стороне концептуальной определенности репрезентации, прямо пропорциональна критике наивного реализма, обнаруживающегося в основаниях новоевропейской научности.

Репрезентацию следует определить как такой познавательный жест (процесс, оснащенный специфическими устройствами) и его результат, который располагается *между* человеком, придающим познанному миру определенную форму, и фактом, познаваемой вещью. Из этого «бытия между» она черпает свою сущностную двусмысленность или проблематичность². Ученый, занимаясь наукой, движим интересом к факту, к тому, что происходит. На этом пути к факту необходимо присутствует репрезентация, которая всегда есть иное, чем факт, подобно тому, как «карта не есть территория» (А. Коржибски). Необходимый медиум и возможная преграда – это противоречие очерчивает существо проблематического статуса репрезентации в науке.

Оставляя в стороне вопрос о способностях человека к репрезентации, который задает темы философских и психологических исследований³, мы спрашиваем о необходимости репрезентаций в науке.

¹ И. Кант в завершающем разделе «Критики чистого разума» определяет представление (*repraesentatio*) как родовое понятие для ощущений, наглядных представлений, понятий, для всех орудий или результатов познавательной деятельности, осуществляемой под руководством способности рассудка [Кант, 1993, с. 220].

² В этом смысле неслучайна замена понятия репрезентации на понятие «медальности», порой производимая современной эпистемологией [Coorman, 2014, p. 3].

³ См. об этом, например: [Knuutila, 2005].



При этом берется за основу самый общий концепт науки: стремление к объективному знанию о мире, осуществляемое специфическим субъектом, истолкованном либо в социально-историческом, либо в трансценденталистском ключе. Анализ необходимости репрезентаций, приведенный ниже, будет ограниченным, поскольку не включает все возможные предикаты научности.

Присутствие репрезентаций в науке, во-первых, определяется поиском реальности, которая проблематична, сложна, порой невидима и может быть обнаружена только в результате использования различных техник. Нет такого научного объекта, как РНК в биологии, галактики в астрономии, элементарные частицы в физике без сложных устройств репрезентации, без процедур «делания видимым» [Coorman, 2014, p. 5]. Вот как описывает отношение реальности и научной репрезентации историк биологии Х.Й. Райнбергер: «Эмпирический процесс образования научных объектов движим <...> не связью между неким отображением и неким воображаемым референтным объектом как вещью в себе. Скорее, дело обстоит так, что совпадение или несовпадение различных отображений, которые в идеале создаются независимо друг от друга, <...> вызывает у тех, кто занимается данной работой, ощущение, что они напали на “след” некоей реальности, – ощущение, без которого никто, наверное, вообще не стал бы пускаться в такие лабораторные авантюры. Реальность функционирует здесь как понятие “второго порядка”, которое возникает как атрибут на стыке альтернативных отображений» [Райнбергер, 2007, с. 289–290].

Репрезентация в своей первой необходимой функции создает научный факт в определенной форме и статусе действительного, а не только возможного. Остановка на одной репрезентации служит условием работы с объектом, использования его в дальнейших исследованиях и практической деятельности в качестве стабилизированного технического, но не проблематичного эпистемического⁴.

Для того чтобы быть научным объектом, факт должен быть репрезентирован не только в качестве реального, но и в качестве достоверного⁵. Приобретение достоверности является вторым элемен-

⁴ Эти термины вводит Райнбергер в своих исследованиях истории такого научного объекта, как цитоплазматические частицы. «Эпистемическая вещь» – это то, что еще не известно, находится в процессе познания (экспериментального и теоретического), технический объект – стабилизированная эпистемическая вещь [Rainberger, 1997, с. 28–30]. Можно сказать: **техническая вещь – объект, определенный окончательно выбранной репрезентацией.**

⁵ Мы, вслед за Кантом, различаем реальность факта и его достоверность как убежденность для всех в существовании [Кант, 1993, с. 457]. Различие между тремя видами объективной достоверности восходит к идеям иезуитов XVII в., вводящим этот термин: физическая достоверность непосредственного чувственного опыта, метафизическая достоверность, определяемая математической или логической формой суждения, и моральная достоверность заслуживающего доверие свидетелства. См. об этом [Deag, 1992]. Новоевропейская метафизика от Декарта



том, определяющим необходимость репрезентаций в исследовании. Непосредственные данные, так называемая физическая достоверность чувственного опыта, казалось бы, представляет собой нечто несомненное. Однако эта несомненность, как и то, что представлено ощущением, ускользает, не оставляя убежденности в реальности объекта. Репрезентация, воспроизводящая опыт, призвана освободить научный объект от связи с чувственностью субъекта, или скрыть эту связь, придавая представленному научному факту статус того, в чем может быть убежден каждый. Так, пульс человека, изображенный на графике «прибором самописцем», скорее окажется достоверным научным объектом, чем запись врача, доверяющего при определении пульса только своим рукам и опыту интерпретатора [Дэстон, 2007, с. 63]. Здесь репрезентация приводит к достоверности, воспроизводя чувственный опыт с помощью механических посредников. Стремлению к объективной достоверности в ее полноте способствует также представление предположительной закономерности в математической или логической форме и привлечение свидетелей, способных подтвердить имевший место факт.

Если эти свидетели обнаруживают сходный интерес к представленному объекту, речь может идти о третьей необходимой функции репрезентации – формировании научного субъекта. Репрезентация является условием сборки сообщества, разделяющего общее понимание (способы представления) некоторого факта. В пределе речь идет о сообществе всех разумных существ. Так об этом пишет Кант: критерием того, что некое утверждение имеет характер убеждения, а не только верования, «служит возможность передать его и найти, что признание его истинности имеет значение для всякого человеческого разума» [Кант, 1993, с. 457]. К. Линней ставит подобную цель, закладывая основания Международного кодекса ботанической номенклатуры. Определить объективный способ именованя растений – значит гарантировать, что в любой точке земного шара, любой человек, увидев конкретное растение, назовет его определенным именем и никаким иным. Это закрепление правил именованя – репрезентации в словах – создает сообщество посвященных ботаников⁶. Определенный способ репрезентации объекта (схемы, формулы, тексты и их прочтение) – одно из важнейших оснований дисциплинарных различий в науке.

до Канта пользуется впрямую этой терминологией, описывая условия возможности науки и ее предметности. Акцент на концепте достоверности (*certitudo*), определяющем предмет метафизики и науки, в дополнение к понятию реальности (формальной и актуальной), становится важен с XVII в., когда предметом метафизики становится *понятие* сущего, базовая проблематика фокусируется вокруг вопросов познания, обеспечивая право научного обращения с вещами мира.

⁶ См. об этом [Дэстон, 2007].



Эти три взаимосвязанных пункта создают минимальный набор характеристик научного исследования: в процессе репрезентации любое научное исследование конструирует реальное в качестве своего объекта, обеспечивает достоверность этого предмета и формирует общество, разделяющее его конкретное понимание⁷. Определенность как объекта, так и субъекта впервые возникают в акте репрезентации данных научным сообществом, которое, будучи заинтересовано в познании мира и действии в нем, необходимым образом создает для себя картины фактов.

Три определенности кризиса репрезентаций и возможности его разрешения

Картина – факт.
Л. Витгенштейн

Проясним теперь, почему необходимое использование репрезентаций порождает кризис. В определении ситуации кризиса и раскрытии ответов на него мы будем следовать установленной тройственной функции репрезентаций в науке.

В первом смысле репрезентация необходима как придание формы реальности и учреждения ее в качестве актуальной. Кризис возникает при смешении ее с реальностью, замещении реальности репрезентаций, что происходит в случае утверждения власти одной единственной репрезентации. Становление научного объекта, стабилизированного с помощью одной репрезентации, как правило, сопровождается отсутствием внимания к реальной неисчерпаемости вещи. Скажем, если в конечном итоге «окажется», что природа человеческого сознания достаточным образом репрезентируется в терминах нейрофизиологии, если в «состязании сил» математическое естествознание победит социально-исторический подход к человеку, последний станет стабилизированным, легитимно управляемым и практически используемым научным объектом. Можно возразить, что человек – исключительный случай сложного, принципиально не стабилизируемого научного объекта. Сомнительно, что такое возражение вызовет согласие представителей естественных наук. Элементарные частицы под полным контролем, настолько же проблема-

⁷ Данные характеристики не описывают достаточным образом научную деятельность. Например, М. Вартовский рассматривает роль репрезентаций (моделей) в связи с такой функцией научного исследования, как предвидение или практическая ориентация, определяя модели как способы действия, создающие будущее [Вартовский, 1988, с. 124–125].



тичны, насколько незтичен планируемый генотип или управляемое сознание. Есть надежда (или опасение), что «неисчерпаемая вещь» рано или поздно вырвется из-под контроля единой репрезентации, если до тех пор не перестанет существовать. Может быть, стоит отказаться от репрезентаций в науке вообще? Однако цена этого отказа – неопределенность предмета и как следствие вечное откладывание практических действий в его отношении!

Во втором смысле репрезентации необходимы в науке в качестве способа удостоверения реальности. При этом репрезентация присутствует в теоретическом статусе обоснованного объяснения мира, но оказывается более значимой, чем данная в практическом взаимодействии с ней реальность. Посредством репрезентации мир становится достоверно известным, и вместе с уверенностью в достигнутой «прозрачности» мира потенциальная неисчерпаемость репрезентируемой реальности игнорируется; в результате этому достоверному «миру как представлению» порой недостает реальности. Развернутая критика такого положения дел, отсылающая еще к Канту и Шопенгауэру в философии, в современной эпистемологии имеет следствием отказ от понимания науки как теоретической деятельности в пользу науки как практической рациональности [Кнорр-Цетина, 2004]. «Меньше слов – больше самого мира» – таков лозунг и современного нон-репрезентативизма [Vanini, 2015]. Кажется, что наука может утвердиться как «взаимодействие с реальностью», но не как «репрезентация ее» [Rorty, 1991, p. 9], как «вмешательство», но не как «представление» (Я. Хакин). Однако возникает естественный вопрос, на каком продуманном теоретическом основании будет осуществляться это взаимодействие, это вмешательство? Если наука откажется от претензии на создание объективного дескриптивного языка о мире, от обоснованного объяснения, которое должно лежать в основании практических действий, не будет ли этот язык изобретаться иной властной инстанцией, не считающей в отличие от науки своим долгом включать сомнение и критику в способы работы с объектами?

В-третьих, кризис репрезентации связан с собираемым ею научным сообществом. Это сообщество имеет как минимум две возможности собственной определенности. Первая – убедить всех в том, что его способ представлять мир и есть голос самих вещей, и начать действовать от их имени – писать единый объективный учебник по истории, нести консервативную или либеральную правду в общественное сознание, изменять ландшафты по установленному плану. Вторая возможность – устранить репрезентации как необходимое основание собственной деятельности и способ идентификации, попытавшись провозгласить вслед за Р. Рорти, что солидарность должна быть единственной ценностью науки и диалог ученых ценен сам по себе безотносительно к его предметному содержанию [Rorty, 1991, p. 23].



Можно ли эти крайние возможности – власть над голосом вещей и беспредметную игру смыслами – истолковывать как следование научным ценностям или необходимо искать срединный путь?

Таким образом, заданы три элемента кризиса репрезентации, три пространства принятия решения в ее отношении. Каким оно может быть?

Полный отказ от репрезентаций не может быть практически оправдан и теоретически обоснован, поскольку они необходимы в науке; их «отмена» – либо жертва научностью, либо сокрытие их действительного присутствия. Предполагается возможным, разрешая кризис, говорить о репрезентации в слабой или рефлексивной форме, избирать *срединный путь*, уклоняясь от крайностей репрезентации в сильной форме или ее отсутствия. Высказывание Л. Витгенштейна «картина – факт» будет метафорической репрезентацией возможного успешного выхода из кризисной ситуации.

Первая определенность кризиса – альтернатива: доминирование единственной репрезентации, выдающей себя за настоящую вещь или неопределенность предмета, в отношении которого невозможно действие. Если картина факта тоже факт, то как факт она когда-то возникает из *пространства возможностей*, где может быть и иной. В известном комментарии В. Библихина на первый тезис “Логико-философского трактата” он говорит о кубике, у которого шесть граней, но в качестве факта он всегда выпадает одной. Разрешение кризиса репрезентаций состоит не в том, чтобы озаботиться поиском всех возможных репрезентаций, как бы пробрасыванием кубика во всех вариантах, выслушиванием напрямую всех вещей, приглашенных на вече⁸. Мир в любом своем объекте неисчерпаем, потому слушания эти никогда не закончатся и деятельность, ожидающая их завершения и определенности объекта, никогда не начнется. Кроме того, не всякий раз можно себе позволить выстроить дополнительную репрезентацию, организовать технически оснащенный бросок кубика, экспериментально проверяющий альтернативную гипотезу. Срединный путь – не в специальном умножении репрезентаций. При работе с конкретной репрезентацией необходимо удерживать множественность в качестве возможной в будущем, а также принимать во внимание существующие или существовавшие ранее альтернативные способы репрезентации предмета. Действие в отношении предмета может и должно *уже* иметь место, несмотря на то, что

⁸ О.В. Хархордин, комментируя идею Латура о контроле над правильностью репрезентации вещей, пишет: «Возможно, проблемы научной репрезентации можно решать не путем переустройства ее по модели парламентской репрезентации, а путем отказа от механизма репрезентации как такового? Тогда не сможет ли общий мир людей и вещей жить как в классических республиках, где нет представительских механизмов <...> В этом, возможно, заключается более перспективный подход: не Парламент вещей, как это предлагается Латуром, а вече, где вещают и люди, и вещи» [Хархордин, 2006, с. 49].



вещь признается неисчерпаемой. Роль ученого при этом заключается в том, чтобы быть открытым новизне, быть готовым продолжить исследование, если это окажется необходимым, всегда полагать референт своей репрезентации – одной из множества возможных – в качестве реального, т. е. способного проявить себя в будущем неожиданным образом [Райнбергер, 2007, с. 316].

Вторая определенность кризиса – альтернатива: репрезентация в качестве теоретического основания, оторванного от реальности или недостаточно обоснованная реальность научной практики? Когда «законы физики лгут» (Н. Картрайт), единственный ли выход остаться эмпириком-практиком? Если картина факта – тоже факт, то как факт она как-то возникает или создается, и срединный путь состоит в том, чтобы демонстрировать генетическую связь картины с референтом как реальную практику. Манипуляции, трансформации, селекции, все действия, которые когда-то привели к возникновению репрезентации, должны оставаться явными [Latour, 2014]. Важен акцент на деятельной стороне репрезентации, а не на ее объективированном результате. Это означает не пренебрежение дескриптивным языком-представлением о мире, но сохранение памяти о конкретном становлении этого языка. Генезис репрезентации в качестве реальной практики должен дополнить понимание репрезентации как образа реальности. Следует отметить, что сохранение памяти о генезисе репрезентации или описание репрезентации как реального акта – дело иной науки, не той, которая использует эти репрезентации в качестве принципа удостоверения своих объектов⁹. Это удержание определенного способа возникновения картины является условием терпимости к возможному возникновению иной картины того же самого, неопределенного референта.

Третья определенность кризиса – альтернатива: сильная репрезентация, сплотившая властное сообщество или отсутствие репрезентации, т. е. отсутствие претензии сообщества на познание реальности? Если картина – тоже факт, то фактом является и конкретное авторство репрезентации, которое предполагает ответственность за цели ее возникновения и осознание всегда присутствующей ограниченности способностей для ответа на вопрос о вещах мира. Эта ответственность хранит как от абсолютизации властных претензий, так и от возможности забыть о том, что научное исследование всегда является ответом на вопрос о познании мира и, в этом смысле, репрезентацией.

Итак, репрезентация является фактом, если она считается случившейся, но никогда не единственной и окончательной, если сохраняется в памяти ее построение и авторская ответственность за нее

⁹ Это дело историка науки или исторического эпистемолога, в фокус внимания которого с необходимостью попадают биографии научных объектов, пути становления их предметами исследования. [Daston, 2000].



членов научного сообщества. Если соблюдены эти три необходимые, но не достаточные условия, то научная репрезентация имеет право стать фактом еще в одном смысле этого слова – производить реальные воздействия, и по требованию известного классика изменять мир, а не только объяснять его.

Кризис наукометрической репрезентации науки

Следует теперь спросить, что *представляет собой* наука, которая производит репрезентации и предполагает, что на их основании должен изменяться мир? Каким образом сама научная деятельность становится научно репрезентированной в качестве реального и достоверного факта? Эти вопросы становятся оправданными с того момента, когда наука оказывается в фокусе различного рода исторических, социологических, психологических и иных научных исследований, не последнее место среди которых занимают работы основателей «науки о науке» Дж. Бернала, Д. Прайса и В.В. Налимова. В разных смыслах – открытия или обоснования, объективированного третьего мира или исторически определенной деятельности людей – наука становится объектом исследований [Кузнецова, 2012; Latour, 1987]. При этом открываются или творятся различные образы научной деятельности, репрезентации, определяющие формы ее существования и актуальные проблемы, приводящие к достоверности смысл научных исследований, объединяющие исследователей науки в сообщества или противопоставляющие в ситуации научных войн тех, кто разными путями «следует за учеными».

Проблема репрезентации самой науки связана не только с отсутствием единства различных ее исследователей, но с необходимостью репрезентации науки для так называемых аутсайдеров, т. е. для общественных субъектов, не имеющих непосредственного отношения к научной деятельности, связанных с ней исключительно системой общественного разделения труда. Какой способ научной репрезентации оказывается востребованным при этом в первую очередь? Такого рода субъекты оценивают науку по внешним результатам, по «превращенным формам», в которых «затух» конкретный труд ученого. Результаты, сколь бы специализированным ни был их характер, должны быть представлены в форме, понятной любому внешнему потребителю, имеющему отношение к науке через финансирование и пользование ее результатами. Такую форму предоставляет количественный язык статистики и экономический язык эффективности, определяющий различие между затратами и доходами, в увеличение которого вносит свой вклад научная инновация. Историк науки Т. Портер, исследую-



ший распространение «языка чисел» как способа репрезентации науки в процессе ее легитимации, связывает эту тенденцию с демократическими настроениями, с борьбой с замкнутостью и элитарностью научных сообществ, предпочитающих лишь внутреннюю экспертизу, которой, однако, недостаточно обществу субъекту для оправдания финансирования науки [Porter, 1995]. Особое место среди субъектов, заинтересованных в измеримой науке, занимают управляющие структуры – от государства до администрации научных институтов, – планирующие и проводящие в жизнь научную политику, распределяющие финансирование, оценивающие научную результативность.

На благодатную почву «доверия цифрам» и необходимости управления наукой попадают возникающие с 60-х г. прошлого века науковедческие исследования, создающиеся системы учета потоков публикаций и цитирования научной литературы. Математическая (научная) репрезентация «сетей научных работ» (Д. Прайс) кажется единственным объективным способом репрезентации результативности научной деятельности и удобным инструментом ее оценивания для управляющих и финансирующих науку структур. В отношении этой репрезентации науки и становится явным кризис, который можно истолковать, используя схему предложенных решений кризиса научных репрезентаций в целом.

Первый симптом кризиса состоит в том, что наукометрическая репрезентация подменяет собой реальность научной деятельности. Чрезмерное увлечение наукометрическими показателями со стороны менеджмента, его сопутствующее невнимание к реальным заботам ученых вызывает сопротивление со стороны научного сообщества, с сомнением относящегося к возможностям измерять научное творчество. В многочисленных публикациях подвергаются критике основные недостатки данной репрезентации. Невозможность оценки инновационного значения исследования и его содержательных характеристик¹⁰; проблематичность учета субъективных факторов, влияющих на цитирование [Wesel, 2014]; возникновение различного рода «игр» с показателями, в которые начинают включаться сами ученые, работающие в условиях действия принципа «публикуйся или умри». [Игра в цифры, 2011; Elliott, 2013]. Это далеко не полный список признаков того, что реальность научного исследования порой оказывается симулированной наукометрией.

Следует ли в этом контексте критики отрицать значение элементов наукометрического анализа: научных статей как способов репрезентации идей, цитирования как проявления внимания к публикации, журналов как центров, объединяющих дисциплинарные научные со-

¹⁰ Например, сложность репрезентации через наукометрию специфики гуманитарных исследований связана с проблематичностью их перевода в формат журнальной стилистики [Мотрошилова, Nederhof, 2006].



общества, баз данных как ресурсов, облегчающих поиск необходимой информации? Следует ли, критикуя эту репрезентацию, оставлять научную деятельность без внешнего выражения вообще?

Конструктивная критика направлена, как правило, против абсолютизации значения квантитативной репрезентации науки. Потому разрешение кризиса, обнаруживающего науку в альтернативе между наукометрией как властной репрезентацией и отсутствием определенного образа, состоит, во-первых, в разработке и популяризации также альтернативных научных репрезентаций, например, создаваемых в рамках STS. Во-вторых, в практическом осуществлении самими учеными различных способов репрезентации их науки, не укладываемых с легкостью в количественные показатели – через монографии, публичные выступления, популяризирующие науку, участие в свободных научно-образовательных проектах. Этому же ограничению власти наукометрии может служить, в-третьих, подчеркивание самими авторитетами в этой области вторичного характера измерительных процедур по отношению к экспертной оценке¹¹. Наука истолковывалась по-разному на протяжении ее долгой истории и это истолкование должно быть открыто возможной новизне.

Второй аспект кризиса репрезентации связан с альтернативой: мир науки как достоверное представление «сетей научных публикаций», исчисляемое специалистами по наукометрии и используемое научным менеджментом, или исключительное значение непосредственного человеческого взаимодействия. Стоит, однако, спросить: будет ли в этом втором варианте управления как «вмешательства в науку без представления» у научного сообщества гарантия объективности отношения к ним субъектов власти, если существующее обоснованное основание этого отношения будет отброшено, а иное не будет предложено самими учеными? Разрешению кризиса может служить удержание в памяти генезиса этого «представления сетей». Приведем два примера.

Индекс научного цитирования (SCI), разработанный и выпускаемый Ю. Гарфилдом с 1964 г., возникает не на пустом месте. По мнению Гарфилда, его появление было вписано, в том числе, в работу по визуализации истории науки [Garfield, 2009]. Дж. Бернал увидел роль индекса цитирования «в том, чтобы показать отношение любой статьи ко всем другим статьям <...> везде и ко всей науке» [Garfield, 2007]. То есть позитивная роль SCI, задуманная его основателями, состояла в том, чтобы оказать поддержку научной коммуникации, создать общее поле научной информации. В этом пространстве заинтересованный ученый может обнаружить непредсказуемый и неожиданный эффект собственных идей, дополнительное обоснование тезиса, развивающий его исследования критический вопрос. Гарфилд отмечает, что SCI не был «запланирован как рабочий инструмент для тех, кто оценивает нау-

¹¹ См. об этом знаменитый Лейденский манифест наукометрии [Hicks, 2015].



ку. Скорее он <...> был предназначен для улучшения распространения и распределения знания, для поиска необходимой информации» [Garfield, 2007]. То есть отвечал в первую очередь интересам самих ученых.

Второй пример связан с наукометрическими исследованиями В. Налимова, которые возникают в работе над информационной моделью (репрезентацией) науки [Мульченко, Налимов, 1969]. Они были связаны непосредственно с необходимостью определения способов оптимального управления наукой. Здесь следует отметить, что отечественные наукометрические исследования получают сильный импульс развития именно в 60-е гг. прошлого века, когда становится возможным предлагать их в качестве конструктивного дополнения, если не замены командно-административным методам научной политики, очевидно проблематичным в своей объективности [Грановский, 2000]. Понятно, что использование наукометрии в управлении наукой тогда было бы исключительно в интересах научного сообщества.

Сохранение в памяти таких существенных обстоятельств генезиса измеряемого образа науки может восстановить ученого в правах субъекта производства (дополнения и совершенствования) тех процедур, которые он в сегодняшней повседневности воспринимает по преимуществу как пассивный объект. Сохранение в памяти генезиса наукометрии как репрезентации научной деятельности позволит научному сообществу осознать себя автором собственных репрезентации и, в этом смысле, не только избежать третьей определенности кризиса, но и утвердить в этом отдельно взятом действии собственную автономию.

Список литературы

Вартовский, 1988 – *Вартовский М.* Модели. Репрезентация и научное понимание. М.: Прогресс, 1988. 507 с.

Грановский, 2000 – *Грановский Ю.В.* Можно ли измерять науку // Интернет-журн. Науковедение. 2000. № 1. URL: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/NALIMOV2.HTM> (дата обращения: 30.08.2016).

Дэстон, 2007 – *Дэстон Л.* Научная объективность со словами и без слов // Наука и научность в исторической перспективе / Под ред. Д. Александров, М. Хагнер. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2007. С. 37–71.

Игра в цифирь, 2011 – *Игра в цифирь, или как теперь оценивают труд ученого.* М.: МЦНМО, 2011. 72 с. URL: <http://www.mccme.ru/free-books/bibliometric.pdf> (дата обращения: 10.09.2016).

Кант, 1993 – *Кант И.* Критика чистого разума. СПб.: ИКА «Тайм-Аут», 1993. 478 с.

Касавин, 2015 – *Касавин И.Т.* Как возможна политическая философия науки // Epistemology & philosophy of science / Эпистемология и философия науки. 2015. Т. 45. № 3. С. 5–15.



Кнорр-Цетина, 2004 – *Кнорр-Цетина К.* Наука как практическая рациональность // *Ионин Л.Г.* Философия и методология эмпирической социологии. М.: ГУ ВШЭ 2004. С. 318–330.

Кузнецова, 2012 – *Кузнецова Н.И., Розов М.А., Шрейдер Ю.А.* Объект исследования – наука. М.: Новый хронограф, 2012. 560 с.

Мотрошилова, 2012 – *Мотрошилова Н.В.* Система РИНЦ применительно к философским наукам // Высш. образование в России. 2012. № 3. С. 3–17.

Мульченко, Налимов, 1969 – *Мульченко З., Налимов В.* Наукометрия. М.: Наука, 1969. 192 с.

Райнбергер, 2007 – *Райнбергер Х.Й.* Частицы в цитоплазме: пути и судьбы одного научного объекта // Наука и научность в исторической перспективе. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2007. С. 284–316.

Хархордин, 2006 – *Хархордин О.В.* Предисловие редактора // Латур Б. Нового времени не было. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 5–56.

Coopmans, Vertesi, Lynch, Woolgar (eds.), 2014 – Representation in Scientific Practice Revisited / Ed. by C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar. Cambridge (Mas); L.: The MIT Press, 2014. 366 p.

Daston, 2000 – *Daston L.* The coming into Being of Scientific Objects. Introduction // Biographies of Scientific Objects / Ed. by L. Daston. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2000. P. 1–14.

Daston, Galison, 2010 – *Daston L., Galison P.* Objectivity. N.Y.: Zone Books, 2010. 501 p.

Dear, 1992 – *Dear P.* From Truth to Disinterestedness in Seventeenth Century // Social Studies of Science. 1992. No. 22. P. 619–631.

Elliott, 2013 – *Elliott D.B.* Salami slicing and the SPU: Publish or Perish? // Ophthalmic and Physiological Optics. 2013. No. 33(6). P. 625–626. DOI: 10.1111/opo.12090.

Garfield, 2009 – *Garfield E.* From the science of science to Scientometrics visualizing the history of science with HistCite software // Journal of Informetrics 2009. No. 3. P. 173–179.

Garfield, 2007 – *Garfield E.* Tracing the influence of J.D. Bernal on the World of Science through Citation Analysis. URL: <http://garfield.library.upenn.edu/papers/bernalDublin0907.pdf> (дата обращения: 18.09.2016).

Hicks, 2015 – *Hicks D., Wouters P., Waltman L., Rijcke S., Rafols I.* Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics // Nature. 2015. Vol. 520. No. 7548. P. 429–431. doi:10.1038/520429a

Knuuttila, 2005 – *Knuuttila T.* Models, representation, and mediation // Philosophy of Science. 2005. Vol. 72. No. 5. P. 1260–1271.

Latour, 1987 – *Latour B.* Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge (Mas): Harvard University Press. 1987. 282 p.

Latour, 2000 – *Latour B.* On Partial Existence of Existing and Nonexisting Objects // Biographies of Scientific Objects / Ed. by L. Daston. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2000. P. 247–269.

Latour, 2014 – *Latour B.* The more Manipulations, The Better // Representation in Scientific Practice Revisited / Ed. by C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar. Cambridge (Mas); L.: The MIT Press, 2014. P. 347–350.



Nederhof, 2006 – *Nederhof A.J.* Bibliometric monitoring of research performance in the Social Sciences and the Humanities: A review // *Scientometrics*. 2006. Vol. 66. No. 1. P. 81–100.

Porter, 1995 – *Porter T.M.* Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press, 1995. 325 p.

Rheinberger, 1997 – *Rheinberger H.J.* Towards a History of Epistemic Things. Stanford: Stanford University Press, 1997. 326 p.

Rorty, 1991 – *Rorty R.* Objectivity, Relativism and Truth. N.Y.: Cambridge University Press, 1991. 226 p.

Vanini (ed.), 2015 – Non-Representational Methodologies. Re-envisioning Research / Ed. by Ph. Vannini. N.Y.; L.: Routledge, 2015. 194 p.

Wesel, 2014 – *Wesel M., Wyatt S., Haaf J.* What a difference a colon makes: how superficial factors influence subsequent citation // *Scientometrics*. 2014. Vol. 98. Is. 3. P. 1601–1615.

References

Daston L. “The coming into Being of Scientific Objects. Introduction”, L. Daston. (ed.) *Biographies of Scientific Objects*. Chicago & L.: The University of Chicago Press, 2000, pp. 1–14.

Daston L., Galison P. *Objectivity*. New York: Zone Books, 2010. 501 pp.

Dear P. “From Truth to Disinterestedness in Seventeenth Century”, *Social Studies of Science*, 1992, no. 22, pp. 619–631.

Daston L. “Nauchnaja objektivnost so slovami i bez slov” [Scientific objectivity with words and without words], in: *Nauka i nauchnost' v istoricheskoy perspective* [Science in historical perspective]. Saint Petersburg: Aleteia, 2007, pp. 37–71. (In Russian).

Elliott D.B. “Salami slicing and the SPU: Publish or Perish?”, *Ophthalmic and Physiological Optics*, 2013, vol. 6, no. 33, pp. 625–626.

Garfield E. “From the science of science to Scientometrics visualizing the history of science with HistCite software”, *Journal of Informetrics*, 2009, no. 3, pp. 173–179.

Garfield E. *Tracing the influence of J.D. Bernal on the World of Science through Citation Analysis*. [<http://garfield.library.upenn.edu/papers/bernaldublin0907.pdf>, accessed on 18.09.2016]

Granovskiy Ju.V. “Mozhno li izmerjat' nauku?” [Can science be measured?], in: *Internet-zhurnal “Naukovedenie”*, no. 1, 2000. [<http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/NALIMOV2.HTM>, accessed on 30.08.2016]. (In Russian).

Harhordin O.V. “Predislovie redaktora” [The Afterword of the editor], in: Latour B. *Novogo vremeni ne bylo* [We were never modern]. Saint Petersburg: EUSPb, 2006, pp. 5–56. (In Russian).

Hicks D., Wouters P., Waltman L., Rijcke S., Rafols I. “Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics”, *Nature*, 2015, vol. 520, no. 7548, pp. 429–431.

Igra v cyfir', ili kak teper' ocenivajut trud uchenogo [A numbers game]. Moscow: MCNMO, 2011. 72 pp. [<http://www.mccme.ru/free-books/bibliometric.pdf>, accessed on 10.09.2016] (In Russian)



Kant I. *Kritika chistogo razuma* [Kritik der reinen Vernunft]. Saint Petersburg: IKA "Taim-Aut", 1993. 478 pp. (In Russian).

Kasavin I.T. "Kak vozmozhna politicheskaja filosofija nauki?" [How is political philosophy of science possible?], in: *Epistemology & philosophy of science*, 2015, vol. 45, no. 3, pp. 5–15. (In Russian).

Knorr-Cetina K. "Nauka kak prakticheskaja racional'nost'" [Science as practical rationality], in: Ionin L.G. *Filosofija i metodologija empiricheskoy sociologii* [Philosophy and methodology of empirical sociology]. Moscow: GU VShE, 2004, pp. 318–330. (In Russian).

Knuutila T. "Models, representation, and mediation", *Philosophy of Science*, 2005, vol. 72, no. 5, pp. 1260–1271.

Kuznetsova N.I., Rozov M.A., Shrejder Ju.A. *Objekt issledovanija – nauka* [Science is an object of study]. Moscow: Novyi khronograf, 2012. 560 pp. (In Russian).

Latour B. "On Partial Existence of Existing and Nonexisting Objects", in: L. Daston. (ed.) *Biographies of Scientific Objects*. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2000, pp. 247–269.

Latour B. *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1987. 282 pp.

Latour B. "The more Manipulations, The Better", C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar (eds.). *Representation in Scientific Practice Revisited*. Cambridge Mass. & L.: The MIT Press, 2014, pp. 347–350.

Motroshilova N.V. "Sistema RINC primenitel'no k filosofskim naukam" [Russian scientific citation index in reference to philosophy], in: *Vysshee obrazovanie v Rossii* [Higher education in Russia], 2012, no. 3, pp. 3–17. (In Russian).

Mul'chenko Z., Nalimov V. *Naukometrija* [Scientometrics]. Moscow: Nauka, 1969. 1092 pp. (In Russian).

Nederhof A.J. "Bibliometric monitoring of research performance in the Social Sciences and the Humanities: A review", *Scientometrics*, 2006, vol. 66, no. 1, pp. 81–100.

Vannini Ph (ed.). *Non-Representational Methodologies. Re-envisioning Research*. N. Y., L.: Routledge, 2015. 194 pp.

Porter T.M. *Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*. Princeton: Princeton University Press, 1995. 325 pp.

Rheinberger, H.J. "Chasticy v citoplazme: puti i sud'by odnogo nauchnogo objekta" [Cytoplasmic particles: the trajectory of a scientific object], in: *Nauka i nauchnost' v istoricheskoy perspective* [Science in historical perspective]. Saint Petersburg: EUSPb, Aleteia, 2007, pp. 284–316. (In Russian).

C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar (eds.). *Representation in Scientific Practice Revisited*. Cambridge Mass. & L.: The MIT Press, 2014. 366 pp.

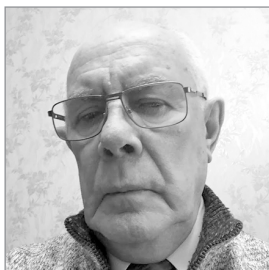
Rheinberger H.J. *Towards a History of Epistemic Things*. Stanford: Stanford University Press, 1997. 326 pp.

Rorty R. *Objectivity, Relativism and Truth*. N. Y.: Cambridge University Press, 1991. 226 pp.

Vartovskiy M. *Modeli. Rerezentacija i nauchnoe ponimanie*. [Models: representation and scientific explanation]. Moscow: Progress, 1988. 507 pp. (In Russian).

Wesel M., Wyatt S., Haaf J. "What a difference a colon makes: how superficial factors influence subsequent citation", *Scientometrics*, 2014, vol. 98, no. 3, pp. 1601–1615.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ*



**Коголовский Михаил Ру-
виминович** – кандидат техни-
ческих наук, заведующий
лабораторией. Институт
проблем рынка РАН. Рос-
сийская Федерация, 117418,
г. Москва, Нахимовский пр-т,
47; email: kogalov@gmail.com



Неволин Иван Викторович –
кандидат экономических
наук, ведущий научный
сотрудник. Центральный
экономико-математический
институт РАН. Российская
Федерация, 117418, г. Мо-
сква, Нахимовский пр-т, 47;
email: i.nevolin@cemi.rssi.ru



Паринов Сергей Иванович –
доктор технических наук,
заместитель директора по
научной работе. Централь-
ный экономико-математи-
ческий институт РАН. Рос-
сийская Федерация, 117418,
г. Москва, Нахимовский
просп., 47; e-mail: sparinov@
cemi.rssi.ru

Развитие информационных технологий существенным образом влияет на систему научных коммуникаций, трансформируя ее. Авторы полагают, что подобные процессы открывают новые возможности для совершенствования практики оценки научной результативности. В первом разделе статьи дается характеристика использующихся в России и некоторых европейских странах подходов и способов оценки результативности отдельных ученых и научных коллективов. Анализируются общие для них особенности и недостатки, среди которых выделяется невозможность отслеживать качество цитирований, учитывать конкурентоспособность каждого ученого, развитие его исследований. Отмечается, что информационные системы сбора данных, расчета и визуализации показателей научной результативности становятся площадкой для улучшения научных коммуникаций. Они помогают избежать дублирования исследований, искать возможности научной кооперации и т. д. Роль подобных систем, таким образом, оказывается двоякой – они не только обеспечивают текущий мониторинг научной деятельности, но и трансформируют ее. А эти трансформации в свою очередь открывают перспективы для совершенствования оценки научной результативности. Во втором разделе исследуются новые тенденции и перспективы развития научной среды и научных коммуникаций. Показывается, как они могут способствовать созданию принципиально новых инструментов оценки научной эффективности. В третьем разделе рассматривается российская научная информационная система Соционет, как конкретный пример нового технологического обеспечения научных коммуникаций. Обсуждаются возможные трансформативные эффекты и потенциал этой системы, а также перспективы, открывающиеся для практики оценки научной результативности.

Ключевые слова: оценка научной результативности, технология научных коммуникаций, научная информационная система Соционет

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 15-07-01294-а «Технологии открытого аннотирования контента в научных информационных системах».



SCHOLARLY COMMUNICATION DEVELOPMENT AS A MODERNIZATION BASIS FOR THE RESEARCH PERFORMANCE ASSESSMENT AND EVALUATION

Mikhail Kogalovsky – PhD in Technical Sciences, head of laboratory. Market Economy Institute, Russian Academy of Science. 47 Nakhimovsky prospect, Moscow, 117418, Russian Federation; e-mail: kogalov@gmail.com

Ivan Nevolin – PhD in Economics, leading research fellow. Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Science. 47 Nakhimovsky prospect, Moscow, 117418, Russian Federation; e-mail: i.nevolin@cemi.rssi.ru

Sergei Parinov – DSc in Technical Sciences, deputy director on scientific work. Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Science. 47 Nakhimovsky prospect, Moscow, 117418, Russian Federation; e-mail: sparinov@cemi.rssi.ru

The information technology development significantly influences on the scholarly communication system by means of transformation. Such processes open new opportunities for improvements of the research performance assessment. The first part of the article characterizes the approaches and methods of research performance assessment, adopted in Russia and some European countries to evaluate individual scientists and research teams. The common features and shortcomings are under discussion, while the most notable among them are the following: inability to track the citation motivation, inability to address to the competitiveness of the every individual scientist and the progress of current research. However, we conclude that the modern research information systems with new approaches to research performance indicators calculation and its visualization become a platform for the scholarly communication improvement. They help in preventing research duplication, finding opportunities for research collaboration, etc. The role of such systems, therefore, is dual – first, they provide current monitoring of research activities and, second, suggest transformation path. This transformation, in turn, provides opportunities for improvement of the research performance assessment. The article's second section analyzes new trends and prospects of the research environment development and scientific communication. We demonstrate how these trends can contribute to the creation of the fundamentally new tools for the research performance assessment. The third section discusses the Russian research information system Socionet, as a particular example of new technological environment for scholarly communication. The transformative impact and the potential of this system, as well as the created new opportunities for the research performance assessment – are all under discussion.

Keywords: research performance assessment and evaluation, scholarly communication technology, research information system Socionet

Отечественная и зарубежная практика оценки научной результативности и ее недостатки

В России внимание широкой общественности к оценке научной и образовательной деятельности обусловлено публикациями в СМИ, в которых, в том числе, обсуждаются реорганизация РАН¹, реструктуризация вузов²

¹ Реформа РАН 2013 года активно освещается в материалах «Троицкого варианта». Например, Троицкий вариант. № 13 (132) от 2 июля 2013 г.

² Например, [Журман, Петров, 2015].



и кадровые решения относительно профессорско-преподавательского состава³. В этих обсуждениях можно выделить ряд ключевых моментов и проблем.

Оценивание ученых внутри организаций не унифицировано, и руководство последних, главным образом, опирается на показатели публикационной и образовательной деятельности, важные для характеристики организации в целом. Данные показатели включают, помимо прочего, количество публикаций, наличие ученой степени, участие в стажировках и возраст. Оценка организаций инициируется Правительством РФ и является внешней по отношению к научному сообществу. Цели оценки отечественных научных организаций обозначены в ряде нормативных документов, а в качестве примера можно обратиться к следующим процедурам: а) мониторингу вузов Минобрнауки РФ; б) оценке претендентов на участие в программе 5–100; и в) оценке организаций ФАНО России. Оценка организаций проводится раз в пять лет, мониторинг – ежегодно, результаты размещаются в сети Интернет⁴.

Мониторинг вузов проводится с целью «информационной поддержки... государственной политики Российской Федерации в сфере образования, <...> усиления результативности функционирования образовательной системы, <...> а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании»⁵. Кроме того, одним из ожидаемых результатов мониторинга заявлена ориентация организаций не только на подготовку квалифицированных кадров, но и на развитие научно-технического потенциала. Данные, собранные в ходе мониторинга, используются Правительством РФ для структурных преобразований организаций и корректировки правил оплаты труда профессорско-преподавательского состава.

Программа оценки претендентов 5–100 призвана определить получателей дополнительного финансирования, которое должно способствовать вхождению пяти российских вузов в первую сотню международных рейтингов университетов. Для того чтобы стать участником программы, необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки претендентов включают показатели научной и образовательной деятельности. Решение о включении в программу той или иной организации принимается группой экспертов.

Одна из обсуждаемых российских систем оценивания разработана и используется ФАНО России на базе ряда постановлений Правительства РФ и предполагает последующую дифференциацию организаций, подведомственных ФАНО России, по трем группам⁶.

³ Например, [Арутюнов, Балашов, Карасев, Терешин, 2015].

⁴ Сайт оценки организаций [<http://www.sciencemon.ru/>] и сайт мониторинга ВУЗов [<http://indicators.miccedu.ru/monitoring/>].

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

⁶ На основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312.



Все рассмотренные выше процедуры оценки вызывают критику со стороны российского научного сообщества⁷. Одно из наиболее распространенных замечаний связано с недоверием к библиометрическим показателям, которые подталкивают ученых к их количественному выполнению и слабо коррелируют с качеством научных публикаций. Также критикуется практика применения оценок результативности. Часто пишут, что ранжирование организаций приводит к перераспределению ресурсов между ними, при том что сама оценка слабо связана с планированием и развитием научной деятельности, а также с повышением качества исследований.

Претензии к процедурам оценки научной результативности не являются уникальными для России. В Европе интерес к индикаторам и оценкам научной результативности усилился, начиная с 2000-х гг. Это связано с установлением новой парадигмы управления, нацеленной на результаты и производительность [Mahieu et al, 2014]. Она характерна не только для науки, но и для всех сфер государственного управления. Главной становится отчетность перед налогоплательщиками о расходовании бюджетных средств. Это порождает более высокую открытость принятия решений на государственном уровне, а также большее внимание к эффективности, качеству, контролируемости и ответственности, в чем бы они ни выражались. Результативность научной деятельности, выраженная неким интегральным показателем, в таком контексте становится, с одной стороны, инструментом расстановки приоритетов, а с другой – позволяет распределить ответственность за принимаемые решения между ведомствами и экспертами, вовлекаемыми в процедуру оценки.

Показатели оценки зависят от того, какая методика доминирует в национальном масштабе – количественная или качественная (экспертная). Публикационная активность – предмет анализа количественных процедур – присутствует и в экспертных системах. Однако здесь эти данные служат лишь «пищей» для экспертного анализа. Так, например, процедуры оценивания в Норвегии и в Великобритании содержат количественные показатели, в том числе о публикационной активности. Однако итоговая оценка формируется экспертным жюри, которое принимает решение по совокупности всей представленной информации, не только количественной, но и качественной. Напротив, в Чехии все результаты оцениваются в баллах, которые впоследствии корректируются с учетом предметной области [Measuring scientific performance..., 2013]. В Европейских странах также есть новшество, которого в России пока нет – оценка общественной значимости исследований. Известны ограничения этого подхода: все последствия реализации конкретной исследовательской программы принципи-

⁷ Примером реакции со стороны сообщества служит публикация [Георгиев, 2015].



ально невозможно охватить. Кроме того, тяжело проследить роль отдельного эффекта – на общество одновременно воздействует целый комплекс достижений науки и техники. Поэтому измерение нематериального эффекта, связанного с конкретной программой или проектом, остается трудной задачей [Enhancing Public Research..., 2009].

Межстрановое разнообразие процедур оценки показывает преимущества и недостатки различных подходов. Так, количественная оценка не учитывает качество исследований, плохо отражает важность результатов и побуждает научное сообщество к нечестной игре по «накрутке» показателей. Качественная, или экспертная, оценка в свою очередь медлительна, непрозрачна и сильно зависит от взглядов эксперта, их приверженности той или иной научной школе, что порождает новую проблему – отбор экспертов [Wilsdon et al, 2015]. Тем не менее, несмотря на свои недостатки, именно экспертная оценка является тем подходом, к которому склоняются многие государства, поскольку индикаторы не могут полностью охарактеризовать уровень исследований, а библиометрические показатели определяются культурой цитирования [Wilsdon et al, 2015].

Научное сообщество не согласно с однобоким представлением своей работы на базе количественных показателей, поскольку, во-первых, общество получает упрощенную картину и, во-вторых, исследователи вовлекаются в гонку за показателями. В качестве альтернативы научное сообщество пытается выработать свои, внутренние, а не исходящие в директивном порядке извне методы оценки научной результативности. Эти методы оперируют не показателями, а результатами, научными артефактами и организацией научной работы. Так, в Нидерландах система оценки научной результативности является инициативой группы университетов, а не государства. Отчет научных организаций включает описание целей и стратегии развития, SWOT-анализ⁸, академическую репутацию и значимость проводимых исследований. Именно этот отчет с обилием качественной информации попадает в руки эксперту – члену научного сообщества – для подготовки итогового заключения. Помимо оценки экспертное заключение также содержит рекомендации для самой организации и для вышестоящих ведомств [Measuring scientific performance..., 2013].

Университетами Великобритании разработана процедура составления индикаторов и последующего сравнения организаций, названная Snowball Metrics⁹. Результаты оценки используются внутри университетов, и задача процедуры показать место конкретной организации либо при парном сравнении, либо в общем рейтинге.

⁸ Анализ сильных, слабых сторон организации, а также возможностей и угроз внешней среды (от англ. Strong, Weak, Opportunities, Threats)

⁹ См.: [http://www.snowballmetrics.com/].



Итак, широко используемая в России в последнее время оценка научной результативности на основе данных публикационной активности ученых и цитирования их работ в общем случае имеет сомнительное качество. Она не учитывает мотивы цитирований, что в принципе не позволяет различать, чем вызваны высокие значения таких показателей: работы ученого активно опровергаются и критикуются или они действительно стали основой для большого количества новых результатов. Отсюда следует, что существенно повысить качество оценки научной результативности возможно, перейдя к фиксации и измерению того, как именно и с какой целью ученые используют результаты друг друга. Такой подход достаточно легко реализуется, когда ученые находятся в прямом контакте друг с другом, т. е. работают в одном проекте, исследовательской лаборатории или организации: методом опроса можно получить качественные сведения о характере использования тех или иных научных артефактов. Но в рамках научного сообщества в целом этот подход не может быть использован без изменения механизма научных коммуникаций.

Развитие научной среды и научных коммуникаций, способствующих модернизации оценки научной результативности

Только практика – использование результата научной деятельности в процессе создания нового научного знания – позволяет получить достоверные данные о значимости этого результата. Факт использования некоторого научного артефакта может проявляться как в виде получения на его основе нового научного знания, так и в виде его применения для решения прикладных задач в интересах развития экономики и общества. В обоих случаях этот факт становится наблюдаемым и может анализироваться, если в научной литературе появляются ссылки (цитирование) на использованный научный результат. Однако учитывать мотивы цитирования оказывается крайне сложно. Известны попытки автоматизировать выявление мотивов цитирования путем компьютерного анализа контекста ссылок в полных текстах научных статей [Ward, Kircz, 2008]. Данный подход пока не получил широкого распространения в силу достаточно приблизительных результатов в оценивании мотиваций цитирования, что связано со сложностями анализа текстов на естественных языках. Решение обозначенной проблемы становится возможным, если необходимые сведения каким-то образом фиксируются и отчуждаются самими учеными в процессе использования результатов, полученных другими исследователями.



Сбор качественной информации о причинах и характере использования одними учеными результатов работы других ученых в процессе самого этого использования можно реализовать в рамках глобальной системы научных коммуникаций, основанной на современных информационных технологиях и обеспечивающей циркуляцию в научном сообществе создаваемых результатов исследований (РИ) и их доведение до потребителя. Подобная система в идеале должна выполнять следующие функции:

- 1) доводить РИ до потребителя, отличая потребителей РИ от простых читателей научных текстов;
- 2) предоставлять потребителю разнообразные инструменты для использования всех доступных РИ в своих исследованиях и для создания собственных РИ, т. е. поддерживать достаточно полный набор режимов использования РИ;
- 3) автоматически фиксировать факты и качественные характеристики использования РИ для создания нового научного знания, т. е. переводить максимально возможный набор качественных и количественных параметров процесса научного использования РИ в автоматически регистрируемые и статистически фиксируемые показатели;
- 4) автоматически уведомлять авторов обо всех фактах использования их РИ, включая сведения о качественных параметрах использования, предоставлять авторам возможности обратной связи, в общем случае – средства научных коммуникаций с потребителями их РИ;
- 5) накапливать и публиковать в открытом доступе все генерируемые системой данные о фактах использования РИ, а также данные о характере реакции авторов на факты использования – для создания конкуренции между различными авторами за право наилучшего удовлетворения спроса потребителя на необходимые для его исследования РИ;
- 6) устанавливать и поддерживать научную кооперацию между авторами и потребителями РИ.

При наличии перечисленных выше функций система научных коммуникаций позволит собирать и накапливать данные, достаточные для автоматической генерации принципиально новых показателей научной результативности. Они позволят отличать использование РИ для научного вывода и создания нового научного знания от случаев упоминания РИ в качестве иллюстраций, примеров и т. п., а также выявлять случаи критики и опровержения научного содержания цитируемого РИ.

Поддержка обратной связи и коммуникаций между автором РИ и потребителем РИ, если эти коммуникации происходят до момента окончательной публикации потребителем его научного результата, могут оказать положительное влияние на качество окончательного текста. На этапе подготовки публикации подобные коммуникации делают возможным получение потребителем РИ помощи от его ав-



тора, которая позволит добиться большей эффективности его использования. Наличие в системе конкуренции авторов за удовлетворение спроса потребителя РИ (пункт 5) приводит к тому, что потребитель выбирает лучший РИ из имеющихся.

Некоторые функции такой идеальной системы уже практически реализованы и применяются в различных научных информационных системах. Например, в системах SpringerLink, ResearchGate и некоторых других авторы получают уведомления по электронной почте о фактах цитирования их статей (пункт 4), а в российской системе Соционет, как мы покажем далее, в той или иной степени реализованы все шесть пунктов идеальной системы научных коммуникаций.

Однако принципиальным барьером на пути реализации пункта 2 является традиционная система научных издательств и журналов, которая ограничивает наблюдаемые формы научного использования РИ традиционным цитированием публикаций без возможности явно указать мотивы цитирования.

Сравнивая существующую научную издательскую систему с перечисленными выше требованиями к идеальной системе коммуникаций, можно отметить некоторые важные отличия. Во-первых, потенциальные потребители РИ (читатели статей) имеют различные возможности доступа к содержанию журналов. Например, одни организации предоставляют своим сотрудникам бесплатный доступ к публикациям по корпоративной подписке, а другие – нет. В этих условиях автор статьи, как правило, не может обеспечить всем равный и немедленный доступ к опубликованным результатам своих исследований.

Во-вторых, при создании нового научного знания ученые оперируют (часто только мысленно) научными артефактами и отношениями между ними. Но для передачи этого знания научному сообществу, например, в целях проверки его корректности, авторам приходится тратить силы и время на выполнение требований издательств для придания своему научному результату формы статьи.

В-третьих, действующая система научных журналов не гарантирует авторам опубликованных результатов, что они узнают, кто, как и с какой целью использовал эти результаты. Более того, действующая система не обеспечивает коммуникации между производителем и потребителем РИ. Если бы такие коммуникации были, они могли бы способствовать улучшению качества результатов исследований обеих сторон – производителя и потребителя РИ, а также способствовать возникновению их продуктивной научной кооперации.

В-четвертых, более или менее точные представления о научной значимости опубликованных результатов выясняются по итогам серии своего рода «проб и ошибок», которые возникают, когда ученые пытаются использовать эти результаты в своих исследованиях. Каче-



ственные итоги подобного процесса «проб и ошибок» не могут быть выражены просто наличием цитаты соответствующего результата. В итоге эта важная информация не присутствует в индексе цитирования и не учитывается при оценке научной результативности ученых, основанной на показателях цитирования.

С точки зрения требований идеальной системы научных коммуникаций традиционная система научных журналов как способ коммуникаций между авторами научных результатов и их потребителями выглядит устаревшей и неэффективной. Она органически не способна дать более точные данные о научной результативности ученых.

Именно поэтому появляются различные научно-информационные системы¹⁰. Следующие шаги в направлении формирования новой системы коммуникаций, очевидно, должны быть следующими:

- 1) дать ученым возможность в момент чтения статей выделять в текстах заинтересовавшие их фрагменты (научные артефакты);
- 2) предоставить ученым средства для публичного использования этих артефактов в целях производства нового научного знания;
- 3) обеспечить научные коммуникации между потребителями и авторами соответствующих РИ.

Эти новые возможности не отменяют того, что далее ученые могут скомпоновать из артефактов и научных отношений между ними традиционные по форме публикации¹¹.

По нашему мнению, ученые будут согласны на публичную визуализацию части своего научного процесса и связанные с этим дополнительные затраты сил и времени. Взамен они получают возможность устанавливать прямые контакты в режиме «производитель–потребитель» РИ, включая возможности повышения качества своих исследований за счет возникновения кратко- или долгосрочной кооперации между авторами и пользователями РИ.

До момента публикации собственных РИ ученые смогут сверять правильность использования ими РИ других ученых, т. е. возникают регулярные предпубликационные научные коммуникации между потребителями и создателями РИ. Подобные научные коммуникации между заинтересованными сторонами на этапе подготовки публикаций будут выполнять функцию контроля качества результатов проведенного исследования. Фактически такие коммуникации могут выполнять ту же функцию, которую сейчас реализует система рецензирования рукописей в журналах.

¹⁰ См.: [<https://101innovations.wordpress.com/2015/06/23/first-1000-responses-most-popular-tools-per-research-activity>]

¹¹ «...публиковать фрагменты это – легко и быстро. Переплетать их в более широкую сеть научно-исследовательских коммуникаций, и время от времени прилагать больше усилий, чтобы рассказать более полную историю» [Neylon, 2010a].



Следствием появления пред-публикационных коммуникаций станет потеря институтом научных публикаций функции традиционного инструмента глобальных научных коммуникаций¹². Больше не будет необходимости готовить и добиваться публикации своих РИ в виде статей в журналах только для того, чтобы о них узнали и стали использовать.

Создание ученым научного произведения все более явно приобретает вид агрегации некоторого тематического набора артефактов, связанных научными отношениями как между собой, так и с внешними артефактами, не вошедшими в данный набор¹³. Развитие научных представлений и получение нового научного знания отражается в таких научных произведениях либо как простое добавление в этот набор новых артефактов и отношений, либо как полная переупаковка его содержания под новые цели [Neylon, 2010b].

Существенно повышается степень «повторного использования» отдельных элементов научного произведения. Ученый может оперировать уже готовыми группами артефактов и отношений, которые соответствуют: определению предметной области и конкретного объекта исследования, формулировке проблемы и конкретной задачи, методологии, описанию этапов решения задачи, изложению выводов и оценки важности результатов для развития проблематики и т. п.

Наличие типизированных научных отношений между артефактами позволяет в автоматическом режиме отслеживать важные события и уведомлять о них заинтересованных ученых. Подобная профессиональная сигнальная система может информировать авторов о необходимости ревизии их научных произведений, если среди РИ, использованных ими, например, для научного вывода, обнаружены ошибки или поставлена под сомнение их научная состоятельность.

¹² «Ученые публикуют по двум причинам: чтобы сообщить о своей работе своим коллегам, а также получить научный вес при приеме на работу, для продвижения по службе и финансирования» [Eisen, Vossnal, 2016].

¹³ «Для меня документ представляет собой агрегат (совокупность) объектов. Он содержит текст, разделенный на секции, часто со ссылками на другие части работы. Некоторые из этих ссылок являются внутренними, направленными к рисункам и таблицам, которые являются представлением данных в той или иной форме» [Neylon, 2010b].



Соционет – действующая виртуальная научная коммуникационная среда

Соционет – своеобразный экспериментальный полигон и одна из наиболее функционально развитых российских научных информационных систем, в которой нашли воплощение описанные выше требования к идеальной системе научных коммуникаций [Parinov, 2012; Parinov, Lyapunov, Puzyrev, Kogalovsky, 2015]. Ее разработка началась более 15 лет назад [Паринов, Ляпунов, Пузырев, 2003]. Сегодня Соционет предоставляет свободный доступ к большому массиву научных публикаций по различным дисциплинам, среди которых наибольшую долю занимают публикации социально-экономического характера. Количество публикаций по состоянию на май 2016 г. достигает 3,5 млн. Зарегистрированный пользователь может публиковать в системе свои материалы и информационные объекты различных типов, а также пользоваться ее разнообразными бесплатными сервисами¹⁴.

Информационные объекты системы Соционет

Система позволяет публиковать и предоставляет пользователям доступ к электронным информационным объектам различного рода (монографии и статьи из периодики, научные отчеты, тексты и презентации докладов, авторефераты диссертаций и полные их тексты, рабочие записки и многое другое). Кроме того, доступны сведения о персонах – авторах публикаций, а также об организациях, с которыми ученые аффилированы.

Большую часть данных система Соционет получает из внешних источников как агрегатор научных метаданных¹⁵.

Семантические связи между информационными объектами

В Соционет поддерживаются бинарные ориентированные связи двух видов между информационными объектами:

1) предопределенные, которые исходно включены в метаданные информационных объектов (например, связи между организацией и ее сотрудниками – авторами представленных в системе информационных объектов, между информационными объектами и их авторами и т. д.);

¹⁴ См.: [<https://socionet.ru/openscience.html>].

¹⁵ См.: [<https://socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:mqijxk:9>].



2) созданные пользователями системы независимо друг от друга интерактивно в онлайн-режиме (например, связи между родственными публикациями, комментарии или оценки публикаций и т. д.).

Автор связей второго вида явным образом декларирует их семантику. Он использует для этого встроенную в систему таксономию научных отношений. В системе Соционет она включает классы, которые характеризуют отношения между объектами – участниками связи, свойственные научной деятельности [Когаловский, Паринов, 2015]. Накапливание таких данных позволяет получить более содержательную статистику об использовании результатов исследований по сравнению с традиционным подходом, основанным на данных о цитированиях.

Описанные средства позволяют исследователям представить научному сообществу:

- свои мнения об отношениях между научными результатами, обсуждаемыми в некоторых публикациях, и результатами собственных работ или работ других авторов;
- свои оценки содержания публикаций, доступных в среде системы;
- информацию о характере использования источников, указанных в списках литературы своих публикаций;
- информацию о взаимосвязях между версиями собственных публикаций и/или их компонентами;
- свои мнения об оценках других исследователей относительно представленных в системе публикаций;
- рекомендации авторам прочитанных публикаций, представленных в системе, направленные на развитие и/или улучшение этих публикаций;
- оценки своего вклада в создание коллективных публикаций;
- свои комментарии, аннотирующие фрагменты собственных публикаций или публикаций других авторов.

Перечисленные возможности основаны на использовании таксономии научных отношений. Например, ученый может показать отношения развития и дополнения между двумя своими публикациями. Словарь позволяет выбрать следующие отношения между двумя публикациями:

- использует данные/метод/модель из;
- детализирует идею/метод/модель из;
- обобщает идею/метод/модель из;
- реализует идею/метод/модель из;
- анализирует результаты из;
- иллюстрирует результаты из;
- интерпретирует результаты из;
- исправляет ошибки в;



- уточняет результаты из;
- опровергает результаты из и т. п.

Также ученый может указать для своих публикаций связи между их компонентами и версиями:

- авторская версия (рукопись) для;
- версия с небольшими изменениями для;
- существенно переработанная версия для;
- пересмотренная или новая версия;
- идентичная копия для;
- презентация к;
- раздел/часть/глава из и т. д.

Другой словарь содержит варианты профессиональной оценки публикаций:

- инновационный результат;
- очень интересный результат;
- поворотный пункт для развития науки;
- наилучшая, наиболее релевантная работа по теме;
- оценивается позитивно;
- оценивается негативно;
- оценивается как ненаучная;
- содержит результаты, основанные на заблуждении;
- подозрения на плагиат и т. д.

Аналогичным образом ученый может предоставлять авторам публикаций полезные сведения, основанные на содержании своих публикаций. В этом случае словарь содержит:

- ваши результаты анализируются в моей публикации;
- ваша идея/метод/модель/результаты обобщаются в моей публикации;
- ваша идея/метод/модель/результаты детализируются в моей публикации;
- ваша идея/метод/модель/результаты иллюстрируются в моей публикации;
- ваши идея/метод/модель/результаты реализованы в моей работе;
- ваши результаты интерпретируются в моей публикации;
- данные/метод/модель в моей публикации лучше;
- в моей публикации обсуждается близкая проблема;
- в моей публикации опровергаются ваши результаты;
- в моей публикации получены те же результаты;
- в моей публикации отмечены и исправлены ваши ошибки и т. д.

Полный перечень словарей и их значений, представляющих научные отношения в Соционет, описаны в [Когаловский, Парин, 2015].



Научные коммуникации в среде системы

В Соционет развивается научная виртуальная коммуникационная среда для пользователей системы [Kogalovsky, Parinov, 2015].

Например, система инициирует коммуникации, когда автор публикации аннотирует ее абстракт или фрагмент ее полного текста, актуализируя или уточняя содержание работы. В этом случае система уведомляет авторов публикаций, интересы которых затрагивают подобные действия пользователя.

Сервисы уведомления также способствуют возникновению актов коммуникации. Проинформированные пользователи могут нужным образом реагировать на это событие. После этого снова срабатывают сервисы уведомления, и процесс коммуникаций продолжается.

В системе Соционет все действия такого рода в том или ином виде контролируются. Пользователи, которые своими действиями нарушают научную этику, блокируются, а созданный ими «негативный» контент удаляется из системы.

Статистическая оценка публикаций, научной результативности авторов и организаций

Соционет автоматически генерирует и ежедневно обновляет публичные статистические показатели, характеризующие отдельные публикации, каждого из зарегистрированных авторов публикаций (по совокупности его собственных публикаций и созданных им связей), а также организаций, с которыми авторы аффилированы.

Для каждой публикации генерируется статистика, характеризующая количество ее скачиваний и просмотров, а также всех ее входящих и исходящих связей, в том числе оценочных и описывающих способы использования в других работах, дифференцированно по классам таксономии связей¹⁶.

Для каждого зарегистрированного автора генерируются показатели его публикационной активности: количество публикаций, количество исходящих связей его профиля для каждого класса таксономии, агрегированная статистика входящих и исходящих связей его публикаций¹⁷ и т. п.

¹⁶ Пример статистики связей публикации: [<https://socionet.ru/stat-lnk.xml?h=repec:rus:mqijxk:31>].

¹⁷ Пример статистики связей автора: [<https://socionet.ru/stat-lnk.xml?h=repec:rus:hjqcgo:auth-05>].



Генерируется также статистика и для организаций, к которым принадлежат авторы публикаций с дифференциацией по классам связей¹⁸. Статистика агрегирована по всем авторам. Тем самым становится доступной многоаспектная статистическая информация о научной деятельности организации.

Заключение

В настоящее время формируются новые технологии развития научной среды и научных коммуникаций. Качественная информация о мотивах и характере использования учеными в своей работе результатов исследований других ученых начинает собираться специально сконструированными научными информационными системами. Это открывает возможность для качественных улучшений в подходах к оценке научной результативности и обещает получение показателей существенно более прозрачными способами.

Список литературы

Арутюнов, Балашов, Карасев, Терешин, 2015 – *Арутюнов А., Балашов М., Карасев Р., Терешин Д.* МФТИ: вопросы без ответов // Троицкий вариант. 2015. № 24(193). С. 5.

Георгиев, 2015 – *Георгиев Г.* Что губит российскую науку и как с этим бороться. Ч. II // Троицкий вариант. 2015. № 25(194). С. 6–7.

Журман, Петров, 2015 – *Журман О., Петров В.* Неэффективные ВУЗы к 2016 году будут закрыты // Рос. газ: Неделя. 2015. № 6720(149).

Когаловский, Паринов, 2015 – *Когаловский М.Р., Паринов С.И.* Таксономия семантических связей информационных объектов контента научной электронной библиотеки // НТИ. Сер. 2. Информационные процессы и системы. 2015. № 9. С. 15–23.

Паринов, Ляпунов, Пузырев, 2003 – *Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л.* Система Соционет как платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайн-сервисов // Рос. науч. электрон. журн. «Электронные библиотеки». 2003. Т. 6. Вып. 1. URL: <http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP> (дата обращения: 10.05.2016).

Eisen, Vosshall, 2016 – *Eisen M., Vosshall L.B.* Coupling Pre-Prints and Post-Publication Peer Review for Fast, Cheap, Fair, and Effective Science Publishing. Blog post. Published: January 21, 2016. URL: <http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1820> (дата обращения: 27.03.2016).

¹⁸ Пример статистики связей организации: [https://socionet.ru/stat-lnk.xml?h=repec:ru:ecoorg:kogalovsky_mikhail.42345-inst-1].



Enhancing Public Research..., 2009 – Enhancing Public Research Performance through Evaluation, Impact Assessment and Priority Setting / OECD Working Party on Innovation and Technology Policy. 2009. URL: <https://wbc-rti.info/object/document/7862> (дата обращения: 06.03.2016).

Kogalovsky, Parinov, 2015 – *Kogalovsky M.R., Parinov S.I.* Scholarly Communication in a Semantically Enrichable Research Information System with Embedded Taxonomy of Scientific Relationships. Research Information System with Embedded Taxonomy of Scientific Relationships // The Communications in Computer and Information Science series. Vol. 518 / Ed. by P. Klinov and D. Mouromtsev. B.; Heidelberg: Springer, 2015. P. 87–101.

Measuring scientific performance..., 2013 – Measuring scientific performance for improved policy making (Case studies). Technopolis, May 31, 2013. URL: https://www.snowballmetrics.com/wp-content/uploads/IPOL-JOIN_ET2014527383_EN.pdf (дата обращения: 08.07.2016).

Neylon, 2010a – *Neylon C.* What would scholarly communications look like if we invented it today? Science in the Open Blog, September 2, 2010. URL: <http://cameronneylon.net/blog/what-would-scholarly-communications-look-like-if-we-invented-it-today/> (дата обращения: 25.03.2016).

Neylon, 2010b – *Neylon C.* The future of research communication is aggregation, Science in the Open Blog, April 10, 2010. URL: <http://cameronneylon.net/blog/the-future-of-research-communication-is-aggregation/> (дата обращения: 24.03.2016).

Parinov, 2012 – *Parinov S.* Towards a Semantic Segment of a Research e-Infrastructure: necessary information objects, tools and service // Metadata and Semantics Research, Communications in Computer and Information Science / Ed by. J.M. Dodero, M. Palomo-Duarte, P. Karampiperis. B.; Heidelberg: Springer. 2012. Vol. 343. P. 133–145.

Parinov, Lyapunov, Puzyrev, Kogalovsky, 2015 – *Parinov S., Lyapunov V., Puzyrev R., Kogalovsky M.* Semantically Enrichable Research Information System SocioNet // Ed. by P. Klinov and D. Mouromtsev. The Communications in Computer and Information Science series. Vol. 518. B.; Heidelberg: Springer, 2015. P. 147–157.

Waard, Kircz, 2008 – *Waard A, Kircz J.* Modeling Scientific Research Articles – Shifting Perspectives and Persistent Issues, Proc. of ELPUB 2008 Conf. on Electronic Publishing. Toronto, Canada, June 2008. URL: http://elpub.scix.net/data/works/att/234_elpub2008.content.pdf (дата обращения: 05.03.2016).

Wilsdon et al, 2015 – *Wilsdon J.* The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. 2015. URL: <http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/Year/2015/metrictide/Title,104463,en.html> (дата обращения: 05.07.2016).

References

Arutyunov A., Balashov M., Karasev R., Tereshin D. “MFTI: voprosy bez otvetov” [MPhTI: questions without answers], in: *Troitskii variant*, 2015, no. 24 (193), p. 5. (In Russian)



Eisen, M., Vosshall, L.B. *Coupling Pre-Prints and Post-Publication Peer Review for Fast, Cheap, Fair, and Effective Science Publishing*, January 21, 2016. [<http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1820>, accessed on 27.03.2016].

“Enhancing Public Research Performance through Evaluation, Impact Assessment and Priority Setting”, *OECD Working Party on Innovation and Technology Policy*, 2009. [<https://wbc-rti.info/object/document/7862>, accessed on 06.03.2016].

Georgiev G. “Chto gubit rossiiskuyu nauku i kak s etim borot'sya. Chast' II” [What destroys Russian science and how to oppose this? Part 2], in: *Troitskii variant*, 2015, no. 25 (194), pp. 6–7. (In Russian)

Kogalovsky M.R., Parinov S.I. “Scholarly Communication in a Semantically Enrichable Research Information System with Embedded Taxonomy of Scientific Relationships. Research Information System with Embedded Taxonomy of Scientific Relationships”, P. Klinov and D. Mouromtsev (eds.). *Knowledge Engineering and Semantic Web. 6th Intern. Conf. KESW 2015. Moscow, Russia, September 30 – October 2, 2015. The Communications in Computer and Information Science series*, vol. 518. B., Heidelberg: Springer, 2015, pp. 87–101.

Kogalovsky M.R., Parinov S.I. “Taksonomia semanticheskikh svyazey informazionnykh ob'ektov kontenta naychnoi elektronnoi biblioteki” [Taxonomy of semantic linkages of information objects of a scientific digital library], in: *NTI. Seria 2. Inforamzionnye processi sistemy*, 2015, no. 9, pp. 15–23. (In Russian)

Measuring scientific performance for improved policy making (Case studies). Technopolis, May 31, 2013. [https://www.snowballmetrics.com/wp-content/uploads/IPOL-JOIN_ET2014527383_EN.pdf, accessed on 08.07.2016].

Neylon C. “The future of research communication is aggregation”, *Science in the Open Blog*, April 10, 2010. [<http://cameronneylon.net/blog/the-future-of-research-communication-is-aggregation/>, accessed on 24.03.2016].

Neylon C. “What would scholarly communications look like if we invented it today?”, *Science in the Open Blog*, September 2, 2010. [<http://cameronneylon.net/blog/what-would-scholarly-communications-look-like-if-we-invented-it-today/>, accessed on 25.03.2016]

Parinov S. “Towards a Semantic Segment of a Research e-Infrastructure: necessary information objects, tools and services”, J.M. Doderó, M. Palomo-Duarte, P. Karampiperis. (eds.). *Metadata and Semantics Research, Communications in Computer and Information Science*, 2012, vol. 343. B.; Heidelberg: Springer. pp. 133–145.

Parinov S., Lyapunov V., Puzyrev R., Kogalovsky M. “Semantically Enrichable Research Information System SocioNet”, P. Klinov and D. Mouromtsev (eds.). *Knowledge Engineering and Semantic Web. 6th Intern. Conf. KESW 2015. Moscow, Russia, September 30 – October 2, 2015. The Communications in Computer and Information Science series*, vol. 518. B.; Heidelberg: Springer, 2015, pp. 147–157. (In Russian)

Parinov S.I., Lypunov V.M., Puzyrev R.L. “Sistema Socionet kak platforma dlya razrabotki nauchnykh informazionnykh resursov i onlinovykh servisov” [Socionet research information system as a platform for development of information resources and online services], *Electronnye biblioteki*, 2003, vol. 6, issue 1. [<http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal /2003/part1/PLP>, accessed on 10.05.2016].



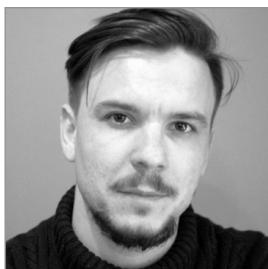
Waard A, Kircz J. “Modeling Scientific Research Articles – Shifting Perspectives and Persistent Issues”, *Proc. of ELPUB 2008 Conf. on Electronic Publishing*. Toronto, Canada, June 2008. [http://elpub.scix.net/data/works/att/234_elpub2008.content.pdf, accessed on 05.03.2016].

Wilsdon J. *The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management*. 2015. [<http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/Year/2015/metrictide/Title,104463,en.html>, accessed on 05.07.2016].

Zhurman O., Petrov V. “Neeffektivnye VUZy k 2016 godu budut zakryty” [Ineffective universities will be closed in 2016], in: *Rossiiskaya gazeta: Nedelya*, 2015, no. 6720 (149). (In Russian)

«КРИЗИС РЕПРЕЗЕНТАЦИИ» В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ НА РУБЕЖЕ 1980–1990-х ГГ.: КРИТИКА ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ

Руденко Николай Иванович – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник. Социологический институт РАН. Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д.25/14. Ассоциированный сотрудник. Европейский Университет в Санкт-Петербурге. Российская Федерация, 191187, г. Санкт-Петербург, Гагаринская ул., 3а; e-mail: nckrd@mail.ru



«Кризис репрезентации» – это дискуссия середины 1980–1990-х гг. в социальных науках, в ходе которой были поставлены под сомнение легитимность больших социологических теорий, проведена деконструкция научных текстов и раскритикован процесс научного познания, основанного на позитивистских принципах. В данной статье автор предлагает анализ интеллектуального контекста развития социальных наук (социологии и антропологии), который привел к данному кризису, а также характеризует сам кризис в двух измерениях. Прежде всего, кризис коснулся процесса познания в социальных науках, основанного на принципе единства методов и понятий: ряд социальных исследователей продемонстрировал роль языка в конструировании, а не отражении, реальности. Другие авторы указали на неявное моральное и политическое измерение научной работы, наконец, третьи подвергли деконструкции фигуру ученого и представления о том, что такое реальность в социологических исследованиях. Кроме того, кризис проявился в критике построения научных текстов, в которых были обнаружены имплицитные смыслы и риторические фигуры. На взгляд автора, интерес в реконструкции кризиса репрезентации состоит в необходимости более рефлексивного подхода к собственной научной деятельности сегодня.

Ключевые слова: кризис репрезентаций, социальные науки, научное познание, научный текст, постструктурализм, постмодернизм, критическая теория

“THE CRISIS OF REPRESENTATION” IN THE SOCIAL SCIENCES IN THE MIDDLE OF 1980-1990s: CRITICS OF THE PROCESS OF COGNITION AND SOCIOLOGICAL NARRATIVES

Nikolai Rudenko – PhD in sociology, senior research fellow. Sociological Institute, Russian Academy of Science. 25/14 7-Krasnoarmeiskaya Str., Saint Petersburg, 190005, Russian Federation. Associated research fellow. European University at Saint Petersburg. 3a Gagarinskaya Str., Saint

“The Crisis of representation” – a discussion that was held from the middle of 1980 to the middle of 1990 s in social sciences, when the legitimation of the big social theories was questioned as well as the deconstruction of scientific texts and the process of knowing, based on positivistic principles, were done. In this article the author offers the analysis of intellectual context of the development of social sciences (sociology and anthropology) in the crisis. The latter are analyzed in three aspects. Firstly, the crisis concerned the process of knowing, based on principle of the unity of methods and concepts: some authors argued the



Petersburg, 191187, Russian Federation; e-mail: nckrd@mail.ru

influential role of language in the construction of reality. Other authors referred to implicit moral and political dimensions while the third provided deconstruction of the scholar figure and the notion of reality. In a similar vein, the crisis was articulated in the critics of scientific texts where implicit meanings and rhetorical devices were found. To the author's view, the need of reconstruction of the crisis of representation can be explained by the want of more reflexive approach to the practices of social sciences today.

Keywords: the crisis of representation, social sciences, scientific process of knowing, scientific text, poststructuralism, postmodernism, critical theory

Введение

Эта статья – попытка обозначить особенности кризиса научной репрезентации в социальных науках, важного научного события, которое породило многочисленные интеллектуальные новации (публичную социологию, постмодернистскую этнографию, концептуальные повороты 1990–2000-е гг.). В рамках кризиса были серьезно поставлены вопросы этики, политики, эстетики в научной работе. Кризис репрезентации проявился в трех основных аспектах: эпистемологии научного познания, практиках написания текстов и построении социальной теории. В ходе кризиса был подвергнут резкой критике позитивизм (в разных вариациях) и продемонстрировано риторическое измерение социальных наук. Наконец, кризис выразился в критике теорий об обществе как идеологических и замкнутых самих на себя.

В статье мы коснемся лишь истории кризиса репрезентации в социологии и антропологии, оставив вне своего внимания другие социальные науки, например, историю или географию¹. История кризиса социологии и антропологии менее известна. Кроме того, он был вызван набором единых проблем, приведших к кризису старой позитивистской парадигмы. Речь будет идти в основном об англо-американской социологии и антропологии, где кризис репрезентации проявил себя наиболее ярко, чем в других странах.

¹ См. об истории кризиса репрезентации в истории: [Потапова, 2015]; в географии: [Thrift, 2007].



матики производил впечатление объективного исследования [Brown, 1977, p. 14]. Структурный функционализм и массовые опросы критиковались как «господствующая идеология правящего класса» [ibid.]. «Моя концепция социальных наук», пишет в предисловии к одной из самых известных социологических книг того времени «Социологическое воображение» критический теоретик Чарльз Миллз, «противостоит представлению о социальной науке как набору бюрократических техник, которые препятствуют социальному познанию своими “методологическими претензиями”, которые переполняют эту работу мракобесными концепциями или которые тривиализируют ее, затрагивая неважные и нерелевантные для публики проблемы» [Mills, 1959, p. 20]. Именно это, т. е. набор тривиальных техник социального познания, на взгляд Миллза, приводит к кризису в социальных науках [ibid.]. Согласно Миллзу, аполитизм социологической науки ужасающим образом проявляет себя на фоне таких важнейших событий в человеческой истории, как экономические кризисы, война и деколонизация. В 1970-м г. канадский социолог Джон О’Нил в статье «Социология как торговля телом» (“Sociology as a skin trade”) также отмечает, что социология переживает рост политизации общества и предлагает отказаться от «сциентизма, ценностной нейтральности и профессионального социологизма» [O’Neill, 1970, p. 102].

Нужно сделать шаг в сторону и отметить, что политизация в социальных науках привела к популяризации качественных этнографических исследований в социологии и антропологии 1970–1980-х. Один взгляд на первые номера начавшего выходить в 1972 г. журнала “Journal of Contemporary Ethnography” дает представление о наборе тем, которые стали репрезентироваться в научном дискурсе: проституция, преступность, ограбления, сопротивление полиции, гомосексуализм, расовые отношения, сексуальность и т. д. [JCE, 1973]. Совершенно очевидно, что эти темы были сложны для «объективного» анализа: это касается и процесса сбора информации, и интерпретации. Стоит прибавить сюда вполне леволиберальную риторику, с которой были написаны эти работы, чтобы понять, что кризис репрезентации и связанные с ними проблемы авторского голоса и голосов информантов, этические вопросы, феминистское и постколониальное измерение, – это вполне понятный результат эволюции качественной этнографии. Несмотря на связь со стилем Чикагской школы (полевые этнографические исследования, долгое пребывание в поле, включенное наблюдение), невозможно не отметить уход в сторону большей рефлексивности и отказа от однозначности используемых описаний.

Стоит также отметить роль микросоциологических традиций в артикуляции кризиса позитивизма. Это можно однозначно сказать о символическом интеракционизме, который в 1970–1980-х гг. нуждался в обновлении эпистемологии и методологии. Именно интеракцио-



нисты стали одними из тех, кто принял тезис о социальном конструировании реальности, поскольку он коррелировал с их собственными представлениями о социальной жизни. Главный методолог и отец-основатель символического интеракционизма Герберт Блумер балансировал между реализмом (его позиция, что нужно проводить исследования внутри естественных условий, чтобы ближе подойти к исследуемой реальности) и конструктивизмом (с его идеей, что разные социальные миры создаются разные, плюральные вселенные смыслов) [Hammersley, 1992, p. 44–45], но его ученики уже были в целом конструктивистами. Именно интеракционисты стали искать связей с критическими культурными исследованиями [Becker, McCall, 1990], выдвинув тезис о том, что культура и знание не могли быть отделены от социальных, а значит, и политических отношений. Они также стали говорить о важности неопределенности, эмерджентности, гибкости и текучести социальной жизни: темах, которых станут популярными в 1990–2000-х гг. [Fujimura, 1991, p. 208]. И именно интеракционист Н. Дензин стал ведущим идеологом привлечения постструктурализма в социологию, а также главным редактором журнала постмодернистской этнографии “Qualitative Inquiry” [QI, 2016].

Этнометодология с ее фокусом на ситуативных и локально-производящихся порядках также сыграла важную роль в критике эпистемологии позитивизма [Frisby, 1983, p. xlii]. Этнометодология радикализует тезис о релятивности реальности (вслед за А. Шюцом, Л. Витгенштейном и П. Винчем) и бросает вызов реализму [Hammersley, 1992, p. 46–47]. Неудивительно, что создатель акторно-сетевой теории – главного теоретического прорыва в 1990-е гг., Бруно Латур, выдвинувший тезис о локальном и партикулярном характере любой структуры, – черпал вдохновение для своих книг именно в работах Г. Гарфинкеля [Latour, 1979].

В оставшейся части статьи мы обратимся к двум основным измерениям кризиса в социальных науках в 1980–1990-е гг.: это кризис научного познания в виде проблематизации позитивистской модели исследования, это кризис научных текстов в виде неактуализированности их имплицитной риторики.

Кризис репрезентации в научном познании

Позитивизм (или схожие с ним реализм, сциентизм, объективизм) в 1980-е гг. **продолжал оставаться основной мишенью для критики в социальных науках.** При этом единого определения, что это такое, не существовало. Питер Халфпенни в своей монографии, посвященной разным определениям позитивизма в социологии, выделяет двенадцать



разновидностей этого подхода, начиная прогрессистским определением родоначальника социологии Огюста Конта и заканчивая фальсификационизмом Карла Поппера [Halfpenny, 2014]. Среди разнообразия этого подхода существует некоторое популярное определение позитивизма, привязанное к трем составляющим: единству (монизму) метода (прежде всего, взятого из формальной логики или математики), признанию единства природных законов (связанных причинно-следственными связями с конкретными явлениями) и представлению о возможности взаимодействия (наблюдения) с объектами как они есть (реализм). Именно это определение позитивизма и было во многом раскритиковано в ходе кризиса репрезентации.

Позитивизму были «предъявлены» обвинения с трех основных сторон: со стороны критической теории (которая продолжала свою наступательную критику, начатую еще Франкфуртской школой), постструктурализма и постмодернизма. О претензиях критической теории с ее акцентом на важности интересов и власти в познании мы уже сказали в предыдущем параграфе. С той же позиции выявления властных интересов внутри познания и языка описания позитивизм был раскритикован постструктуралистски- и постмодернистски-ориентированными исследователями. Первые, и среди них в социальных науках можно отметить Дензина, Йоханесса Фабиана, Клиффорда Гирца, Рикку Эдмондсон, вслед за Жаком Деррида делали упор на непроговариваемых, но значимых смыслах в концептуализации и репрезентации общества. Однако постструктуралистские идеи оказались не очень успешными в применении для социальных ученых.

Постмодернизм сделал более удачную «карьеру» в социальных науках³. В этом смысле большую известность получил Мишель Фуко. Его идеи, касающиеся ситуативности дискурса и проникновения власти в познание стали одними из важнейших в социальных науках 1980-х гг., поскольку предполагали связь репрезентации и конституирования реальности, в том числе в отношении маргинальных групп. Если любой дискурс относительный, в том числе в выстраивании собственных категорий истины-ложности, тогда позитивистский социологический дискурс, отмечает в своем введении к книге «Постмодернистский поворот. Новые перспективы в социальной теории» Стивен Сейдман, является в той же степени относительным, но при этом старающимся навязать себя как абсолютный и обязательный для всех [Seidman, 1994, p. 122]. Тем самым он превращается буквально в «полицию социологического мышления», навязывая всем

³ Здесь мы пользуемся различием социолога Бена Эггера в своей статье отделяет постструктурализм от постмодернизма: он показывает, что первый повлиял на акцентуацию научной работы как литературной и риторической, в то время как второй сделал упор в основном на культурные и социальные практики, сделав их дискурсивными, локальными и контингентными [Agger, 1991, p. 120–121].



остальным исследователям свои категории. Схожие идеи выражает и Браун, отмечая, что социальные науки всегда конструируют определенную модель мира и отвергают другие альтернативы [Brown, 1994]. Важность Фуко состояла в том, что он сделал явными социальные и политические контексты научной работы: речь идет не о познании реальности, а о производстве определенного типа знания внутри социальных практик [Agger, 1991, p. 117]. Здесь важно слово «производство», которое, например, использует антрополог Джеймс Клиффорд: нарративы о тех или иных темах, народах, культурах, группах не просто пишутся, они именно производятся, что указывает на более широкие социальные, политические и даже институциональные условия создания данных текстов [Clifford, 1986, p. 13]. Данный ход социального конструктивизма сделал возможным поставить вопрос как экономические и политические факторы (в т. ч., например, академические карьеры антропологов) играют роль в том, какие тексты, в конце концов, создаются внутри социальных наук.

Связующей идеей всех трех критик позитивизма стало то, что язык является инструментом конституирования реальности. Эта идея часто связывает с лингвистическим поворотом. Именно данный поворот повлиял на становление постмодернистской качественной социальной науки, поскольку показал, что суждения (читай – репрезентации) нужно рассматривать не в их отношении к истине (на что претендовал позитивизм), а в их отношении к производимым самодостаточным различиям, которые позволяют социальной реальности существовать. Дензин отмечает, что лингвистический поворот сделал проблематичным допущение, что «теоретики и исследователи имеют непосредственный доступ к “живому” опыту; такой опыт, скорее, создается в самих текстах, которые пишут исследователи» [Denzin, 1995, p. 38]. Дензин, а вслед за ним и другие исследователи, связывают эту идею с кризисом репрезентации [Sparkes, 1995, p. 158–160].

Подобная критика была существенной, но не единственной. Кризис репрезентации не предполагал единства как в оценке, так и предложении вариантов выхода. Помимо постмодернистских идей можно указать на более классические прагматические идеи, которые также высказывались в этот период. Вслед за Ричардом Рорти, который вместо эпистемологической категории «истины» предлагал прагматическое понятие «солидарности» в виде постоянно ведущегося коллективного обсуждения, в котором представления о том, что реально и объективно, меняются [Rabinow, 1986, p. 236], ряд социальных исследователей высказались за отказ от стандартных социологических теорий и процессов получения знания в пользу более прагматических, полезных для общества и эмансипаторных проектов. Марк Готтдинер выступает за то, чтобы «социология обеспечивала общество полезным знанием», которое было бы «прагматическим, применяемым и



релевантным» для публичных дискуссий и проблем [Gottdiener, 1993, p. 660–666]. Ему вторит Сейдман, который озвучивает идею отказа от больших социологических теорий в пользу выработки социального знания под конкретные кейсы для нужд публичных дискуссий [Seidman, 1994].

Сейдмен предложил еще одну критику позитивизма: модель незаинтересованного исследования предполагает, что объект исследования и его внутренние проблемы совершенно не важны для исследователя. Однако более близкое знакомство последнего с «полем» ставит перед ним этические и моральные вопросы: каким образом исследование может способствовать улучшению жизни изучаемых групп? Не пострадают ли они в ходе публикации исследования? Что делать с существующим неравенством, характерным для определенных групп населения? Эти вопросы трансформируют позитивистское исследование, насыщая его моральным измерением. Поэтому Сейдмен предлагает с самого начала ввести мораль и этику в осмысление целей и практик научного исследования. Он выступает за «нарративную деонтологию» – рассказывание историй об определенных группах с точки зрения определенной моральной установки [Seidman, 1991]. Отголоски этих идей можно увидеть в том, что сегодня многие учебники по качественным методам полны глав об этических вопросах, а крупнейшие университеты создают этические комитеты, которые решают, насколько то или иное исследование соответствует нормативным этическим категориям.

В осмыслении кризиса были и более классические решения. Например, британский антрополог М. Хаммерсли сосредоточил свое внимание на кризисе реализма. «До какой степени этнографические нарративы могут легитимно утверждать, что репрезентируют независимую реальность?» – вот один из главных вопросов, которыми задается Хаммерсли. Первая проблема здесь состоит в том, что собирание данных в этнографическом поле связано с субъективностью исследователя и его преференциями в отношении собираемого материала [Hammersley, 1992, p. 9]. Вторая проблема заключается в том, что описание поля должно быть близким к конкретной реальности и одновременно отражать некоторые общие черты всей человеческой социальной жизни (выражаться через общие категории) [Hammersley, 1992, p. 10]. Хаммерсли полагает, что эти проблемы могут быть решены так, чтобы не уйти в ритористский релятивизм, который после Деррида предлагают Клиффорд, Маркус и Гирц, а именно в понимание, будто все, что имеет смысл в этнографическом тексте – это убедительность автора в демонстрации других культур и народов [Geertz, 1988]. Его альтернатива – это неокантианский подход: существует множество, почти бесконечное, способов описания одной и той же реальности, и этнограф должен эксплицитно



осознавать те основания (вслед за Риккертом Хаммерсли говорит о ценностях), на которые опирается его собственное описание. Такое описание, пропущенное через отрефлексированные категории, не будет сконструированным или искусственным, оно будет реальным, но реальность будет ему придаваться за счет внутренних для данных описаний оснований валидности, в которых мы должны быть уверены [Hammersley, 1992, p. 15].

В итоге кризис научного познания был актуализирован социальными исследователями конца 1980-х – начала 1990-х гг. в следующих категориях: сам язык концептуализации, наблюдения и методов был раскритикован как конструирующий свои собственные категории истинности и содержащий непроговариваемую модель реальности; понятие истины было переопределено через коллективное прагматическое определение солидарности или полезности для публики или сообщества; объективность познания была деконструирована как скрывающая моральные и этические выборы исследователя; наконец, реализм был раскритикован как опосредованный субъективными ценностями исследователя. Каждая из критик, как мы попытались показать, исходила от разных авторов и подпитывалась разными теоретическими рамками: неомарксизмом, постструктурализмом, прагматизмом, конструктивизмом, неокантианством. Однако все вместе они продемонстрировали несостоятельность существующего положения в социальных науках и предложили альтернативы по их изменению.

Кризис репрезентации в научных текстах

Позитивизм в период кризиса представлялся как в качестве определенных принципов, на которых основывается процесс научного познания, так и принципов написания научных текстов. Как отмечает Клиффорд, после XVII в. европейская наука исключила в качестве ненаучных три составляющих своих текстов: риторику, фикцию и субъективность ради объективного, правдивого и прямого (plain) описания мира [Clifford, 1986, p. 5]. Однако анализ текстов социальных наук, предпринятый в 1980-е гг. **разными авторами, продемонстрировал тот факт, что все эти ненаучные аспекты всегда присутствовали в текстах об обществе, но были завуалированы и спрятаны.**

Уже упоминавшийся Ричард Браун не только поставил диагноз социологии своего времени, но и обратился к инструменту, который станет очень популярным в рамках кризиса репрезентации десятилетие спустя: риторике. Несмотря на то, что Браун хочет предложить более универсальный язык говорения о любых теоретических традициях в социологии, его ход несомненно критический,



поскольку тем самым от отмечает, что никакая социологическая теория не претендует на истину, это определенный язык, в котором есть правила и паттерны, которые нужно вскрыть. Например, метафора или ирония, характерные для многих социологических текстов [Clifford, 1986, p. 5].

Эксплицитно критический ход в отношении социологических текстов делает Эдмондсон в книге «Риторика в социологии». Для нее важно вскрыть несоответствие между тем, что заявляется в социологических учебниках и параграфах про методологию исследования, и самим нарративом-описанием поля. Эдмондсон отмечает, что как бы автор-социолог ни желал спрятать свои личные политические интересы, эстетические вкусы и отношение к тем или иным информантам или проблемам, объективности не получается. Авторы намеренно или нет пользуются риторикой – набором практик для организации текста, чтобы сделать его более понятным читателю и предложить свою интерпретацию поля. Она выделяет одиннадцать риторических фигур в социологических текстах, например, юмор, аргумент от авторитета, использование примера или гипотипозиса (живого и красочного изображения какого-либо события, словно оно происходит перед глазами читателя) [Edmondson, 1984, p. 38]. Эдмондсон на нескольких примерах показывает, насколько многие социологические тексты риторичны и направлены на организацию читательского внимания. **И это ставит вопрос о том, а чем тогда отличаются художественный и научный тексты?**

Попытку ответа на этот вопрос можно найти в книге Роберта Нисбета «Социология как форма искусства». В ней Нисбет пытается продемонстрировать то, что до XIX в. не существовало разделения между объективным научным текстом социальных наук и субъективным произведением искусства. В XIX в. Нисбет находит множество схожих черт в том, как социальная реальность изображается классиками социальных наук: Дюркгеймом, Зиммелем, Вебером, Марксом, и тем, как она изображалась сквозь призму живописи или буржуазных художественных романов [Nisbet, 1967]. Анализ Нисбета не только имел своей целью раскритиковать слишком «объективные» социальные науки, но и убедить их в том, чтобы обратиться к литературе за ресурсами для своего письма и мышления.

Брауна, Эдмондсон и Нисбета можно назвать сторонниками риторического поворота в социологии, который убедительно показал, что текст отнюдь не нейтральный инструмент передачи знаний о некоторой социальной реальности, он предполагает одновременно акты интерпретации, риторического убеждения и подчеркивает большую роль исследователя в отборе и изображении реальности. Любопытно, что анализ риторики текстов социальных наук был проведен ими еще до того, как стали популярны идеи Деррида или Фуко.



Риторическое измерение можно назвать одним из аспектов кризиса научных текстов. Другой важный аспект – это используемые ими нарративные структуры. Построение и рассказывание историй – это уже определенные стратегии в организации читательского внимания, который отражает не только на структуре, но и на содержании рассказываемого. Часто подобные стратегии определяются институциональными условиями. Джон ван Маанен, один из классиков организационной этнографии, указывает на совокупность социальных конвенций в способе письма, которые к концу 1980-го г. были приняты этнографическим сообществом. Он выделяет три вида таких конвенций: реалистскую, которая предполагает создание авторитарного авторского голоса и репрезентацию явлений, словно роль автора в этом минимальна и он занимает позицию незаинтересованного наблюдателя; исповедальную (*confessional*), когда «этнограф обращается к личным склонностям, недостаткам характера, плохим привычкам как способам построения автопортрета, с которым читатель мог бы себя идентифицировать» и импрессионистскую, которая «когда читателям рассказывают незнакомую историю, заставляя их словно бы слышать, видеть и чувствовать то, что происходило вокруг полевика, который это описывает» [Van Maanen, 2011, p. 103]. Пишущие этнографы находятся под воздействием своих собственных авторитетов, научных руководителей, а также более общих социальных факторов. Они пишут для определенной аудитории и примерно знают, как нужно написать, чтобы аудитория приняла их письмо. В таком конструктивистском повороте важно как подчеркивание роли социальных факторов, так и отказ от постановки вопроса в эпистемологическом ключе.

Наконец, одна из самых влиятельных критик текстов социальных наук состояла в проблематизации авторитарного авторского голоса. Какой бы из нарративных стратегий, описанных ван Мааненом, ни пользовался исследователь, он всегда описывает разворачивающийся перед ним мир, в котором он, будучи главным героем видит, слышит и фиксирует данные, имплицитно или эксплицитно. «Этнографический реализм», пишет антрополог Коул, «соответствует научным конвенциям, которые конструируют власть и объективность, используя пассивный голос, дистанцируя автора от данных... исследователь конструируют себя и свою позицию как инструмент кодирования и декодирования других» [Cole, 1991, p. 39]. «Многоголосность», отметит Клиффорд, «была ограничена в традиционных этнографиях, давая голос только автора, а другие, информанты, только цитировались. Но как только диалогизм и полифония осознаются как способы текстуального производства монофоническая власть ставится под вопрос, давая возможность существованию науки, которая может репрезентировать культуры» [Clifford, 1986, p. 15].



Заклучение

Дискуссии о позитивизме пронизывают развитие социальных наук со времени их основания. В данной статье мы сфокусировались на одном периоде, середине 1980-х – начале 1990-х гг., в котором эти дискуссии разгорелись как никогда ярко и в рамках которого были раскритикованы все составляющие позитивизма: единство метода, легитимность теоретической позиции, объективность наблюдения и возможности текстуальной репрезентации. Этот период получил название кризиса репрезентации, хотя, как следует из статьи, кризис был не один, их было множество, в зависимости от того, какие авторы, из какой теоретической рамки, и что проблематизировали в социальных науках этого периода. В ходе исследования мы обнаружили как минимум три критических позиции в отношении научного познания: во-первых, ряд авторов после лингвистического поворота деконструировал представление о языке как нейтральном передатчике смыслов; во-вторых, был раскритикован субъект познания и понятие реальности с прагматических позиций; в-третьих, была актуализирована роль моральной и этической позиции исследователя в ходе познания. Кроме того, мы выявили риторическую критику научных текстов: ряд исследователей обнаружил, что тексты социальных наук полны используемых риторических фигур, определенных нарративных стратегий, управляющих вниманием читателя, и властного авторского голоса.

Список литературы

- Кун, 1970 – *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 1970. 605 с.
- Потапова, 2015 – *Потапова Н.Д.* Лингвистический поворот в историографии. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2015. 384 с.
- Agger, 1991 – *Agger B.* Critical theory, poststructuralism, postmodernism: Their sociological relevance // *Annual review of sociology.* 1991. Vol. 17. P. 105–131.
- Becker, McCall, 1990 – *Symbolic interaction and cultural studies / Ed. by H.S. Becker, M.M. McCall.* Chicago; L.: University of Chicago Press, 1990. 296 p.
- Brown, 1977 – *Brown R.H.* A poetic for sociology: Toward a logic of discovery for the human sciences. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1977. 318 p.
- Brown, 1994 – *Brown R.H.* Rhetoric, textuality, and the postmodern turn in sociological theory // *The Postmodern Turn. New perspectives on Social theory / Ed. by S. Seidman.* Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 229–242.
- Clifford, 1986 – *Clifford J.* Introduction: Partial Truths // *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / Ed. by J. Clifford, G. Marcus.* Berkeley: University of California Press, 1986. P. 1–27.



- Denzin, 1995 – *Denzin N.* The Poststructural Crisis in the Social Sciences: Learning from James Joyce // Postmodern Representations. Truth, Power, And Mimesis in the Human Sciences and Public Culture / Ed. by R.H. Brown. Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 1995. P. 38–60.
- Edmondson, 1984 – *Edmondson R.* Rhetoric in Sociology. L.; Basingstoke: The Macmillan press LTD, 1984. 190 p.
- Frisby, 1983 – *Adorno T., Adey G., Frisby D.* The positivist dispute in German sociology. L.: Heinemann London, 1983. 351 p.
- Halfpenny, 2014 – *Halfpenny P.* Positivism and Sociology: Explaining Social Life. L.; N.Y.: Routledge, 2014. 122 p.
- Hammersly, 1992 – *Hammersley M.* What's Wrong with Ethnography? Methodological Explorations. L.; N.Y.: Routledge, 1992. 230 p.
- Fujimura, 1991 – *Fujimura J.* On methods, ontologies, and representation in the sociology of science: Where do we stand // Social organization and social process: Essays in honor of Anselm Strauss. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991. P. 207–248.
- Geertz, 1988 – *Geertz C.* Works and lives: The anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press, 1988. 168 p.
- Gottdiener, 1993 – *Gottdiener M.* Ideology, foundationalism, and sociological theory // The Sociological Quarterly. 1993. Vol. 34. No. 4. P. 653–671.
- JCE, 1973 – *Journal of Contemporary Ethnography*. URL: <http://jce.sagepub.com/content/by/year/1973> (дата обращения: 30. 11. 2016).
- Lamont, 1987 – *Lamont M.* How to become a dominant French philosopher: The case of Jacques Derrida // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 93. No. 3. P. 584–622.
- Latour, 1979 – *Latour B., Woolgar S.* Laboratory life: The social construction of scientific facts. Los Angeles: The SAGE, 1979. 272 p.
- Mills, 1959 – *Mills Ch.* Sociological Imagination. N.Y.: Oxford University Press, 1959. 234 p.
- O'Neil, 1970 – *O'Neil J.* Sociology as a Skin Trade // Sociological Inquiry. 1970. Vol. 40. No. 1. P. 101–104.
- Rabinow, 1986 – *Rabinow P.* Representations are social facts: Modernity and post-modernity in anthropology // Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley (LA.); L.: University of California Press, 1986. P. 234–261.
- QI, 2016 – *Qualitative Inquiry*. URL: <http://qix.sagepub.com> (дата обращения: 30. 11. 2016).
- Seidman, 1991 – *Seidman S.* Postmodern Social Theory as Narrative with Moral Intent // Post-modernism and Social Theory / Ed. by S. Seidman, D. Wagner. Oxford: Blackwell, 1991. P. 47–81.
- Seidman, 1994 – *Seidman S.* Introduction // The Postmodern Turn. New perspectives on Social theory / Ed. by S. Seidman. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 1–27.
- Sparkles, 1995 – *Sparkes A.C.* Writing people: Reflections on the dual crises of representation and legitimation in qualitative inquiry // Quest. 1995. Vol. 47. No. 2. P. 158–195.
- Szelenyi, 2015 – *Szelenyi I.* The Triple crisis of sociology. URL: <https://contexts.org/blog/the-triple-crisis-of-sociology> (дата обращения: 30.11.2016).



- Thrift, 2007 – *Thrift N. Non-Representational Theories: A Primer*. L.; N.Y.: Routledge, 2007. 336 p.
- Van Maanen, 2011 – *Van Maanen J. Tales of the field: On writing ethnography*. Second Edition. Chicago; L.: University of Chicago Press, 2011. 232 p.
- Vidich, Lyman, 1994 – *Vidich A.J., Lyman S.M. Qualitative methods: Their history in sociology and anthropology // The SAGE handbook of qualitative research / Ed. by N. Denzin*. L.: The Sage, 1994. P. 37–84.

References

- Adorno T., Adey G., Frisby D. *The positivist dispute in German sociology*. London: Heinemann London, 1983. 351 pp.
- Agger B. “Critical theory, poststructuralism, postmodernism: Their sociological relevance”, *Annual review of sociology*, 1991, vol. 17, pp. 105–131.
- Becker H.S., McCall M.M. (eds.). *Symbolic interaction and cultural studies*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1990. 296 pp.
- Brown R.H. *A poetic for sociology: Toward a logic of discovery for the human sciences*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1977. 318 pp.
- Brown R.H. “Rhetoric, textuality, and the postmodern turn in sociological theory”, Seidman S. (ed.) *The Postmodern Turn. New perspectives on Social theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp. 229–242.
- Clifford J. “Introduction: Partial Truths”, Clifford J., Marcus G. (eds). *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press, 1986, pp. 1–27.
- Denzin N. “The Poststructural Crisis in the Social Sciences: Learning from James Joyce”, Brown R.H. (ed.) *Postmodern Representations. Truth, Power, And Mimesis in the Human Sciences and Public Culture*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1995, pp. 38–60.
- Edmondson R. *Rhetoric in Sociology*. London and Basingstoke: The Macmillan press LTD, 1984. 190 pp.
- Fujimura J. “On methods, ontologies, and representation in the sociology of science: Where do we stand”, *Social organization and social process: Essays in honor of Anselm Strauss*. Transaction Publishers, 1991, pp. 207–248.
- Geertz C. *Works and lives: The anthropologist as author*. Stanford: Stanford University Press, 1988. 168 pp.
- Gottdiener M. “Ideology, foundationalism, and sociological theory”, *The Sociological Quarterly*, 1993, vol. 34, no. 4, pp. 653–671.
- Halfpenny P. *Positivism and Sociology: Explaining Social Life*. London and New York: Routledge, 2014. 122 pp.
- Hammersley M. *What's Wrong with Ethnography?: Methodological Explorations?* London and New York, Routledge, 1992. 230 pp.
- Journal of Contemporary Ethnography*. [<http://jce.sagepub.com/content/by/year/1973>, accessed on 30.11.2016].
- Kuhn T. *Struktura nauchnyh revoljucij* [Structure of scientific revolutions]. Moscow: AST, 2003. 605 pp. (In Russian)
- Lamont M. “How to become a dominant French philosopher: The case of Jacques Derrida”, *American Journal of Sociology*, 1987, vol. 93, no. 3, pp. 584–622.

«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

Кузнецова Наталия Ивановна – доктор философских наук, профессор. Российский государственный гуманитарный университет. Российская Федерация, 125993, г. Москва, Миусская площадь, д. 6. Главный научный сотрудник. Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Российская Федерация, 117861, г. Москва, ул. Обручева, 30а; e-mail: cap-cap@inbox.ru

Теория социальных эстафет М.А. Розова является результатом обобщения массива эмпирического материала, опирается на солидную базу фактов истории науки. Центральным понятием данной теории является понятие «эстафета», которое использует в своей известной работе «Слово и объект» Куайн, объясняя связь слова и денотата. Перечислены и другие авторы, которые аналогичным образом пытались объяснить способ бытия семиотических объектов. Утверждается, что в постановке ключевых задач и основных чертах теория социальных эстафет близка к акторно-сетевой теории Бруно Латура.

Ключевые слова: теория социальных эстафет, способ бытия семиотических объектов, акторно-сетевая теория, эпистемология, история науки



“WONDERLAND” OF THEORETICAL EPISTEMOLOGY

Natalia Kuznetsova – DSc in philosophy, professor. Russian State University for Humanities. 6 Miusskaya sq., GSP-3, Moscow, 125993, Russian Federation. Head research fellow. S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of Russian Academy of Sciences. 30a Obrucheva Str., Moscow, 117861, Russian Federation; e-mail: cap-cap@inbox.ru

Author argues that the social relay theory by Mikhail Rozov is the result of the deep analysis of the number of empirical facts and of the facts from the history of science. “Relay” is the core notion of this theory that was used by Quine for the clarification of the connection between the word and denotatum in the “Word and Object”. The author enumerates the other philosophers who have explained this connection the same way. It’s claimed that the theory of social relay is close to Bruno Latour’s actor-network theory in the problem definition.

Keywords: social relay theory, mode of existence of the semiotic objects, actor-network theory, epistemology, history of science



Публикуемый текст «Что такое теория социальных эстафет» М.А. Розова находился в папке «Начатые работы» и датируется 2002 г. Безусловно, то была попытка набросать книгу, специально посвященную теории, на разработку которой он потратил, вероятно, более тридцати лет. Однако специальной книги по ТСЭ (как ему хотелось, достаточно компактной, небольшой по объему) так и не получилось. Разнообразные проблемы эпистемологии, подготовка в конечном итоге большой монографии «Научное познание (основы теории и истории науки)» – по замыслу примерно 50–60 а.л. – занимали все творческое время Михаила Александровича, отнимали все силы. Увы, этот мощный проект также не был реализован, остались только фрагменты отдельных тем и анализ множества историко-научных фактов.

Архив Розова, вообще говоря, огромен: 40 томиков дневников (с 1974-го по 2010 г.), написанных еще от руки, довольно мелким почерком, куда записывались знаковые события: важные для его мышления разговоры, довольно забавные эпизоды «житейской социальности», а также плодотворные (или, напротив, ошибочные) ходы собственной теоретической мысли. По приблизительным оценкам, объем каждого томика – около 15 а. л. Кроме того, имеются рабочие тетради и записные книжки, а также – уже в компьютере (со второй половины 1990-х гг.) – конспекты лекций, наброски будущих монографий и статей. Он часто говорил своим друзьям и ученикам: «Я люблю не писать, а думать». Так оно и было. Поэтому столь многое осталось нереализованным, не опубликованным. Это нелюбовь к написанному тексту Михаил Александрович иронически выразил в своей (к счастью, опубликованной!) книге: «И я, вероятно, долго еще не писал бы эту книгу, ибо думать и искать гораздо интересней, чем писать и подводить итоги. Окончательным толчком послужила басня Козьмы Пруткова:

Однажды нес пастух куда-то молоко,
Но так ужасно далеко,
Что уж назад не возвращался.
Читатель! он тебе не попался?

Я вдруг понял, что басня эта про меня и что нельзя нести свое “молоко” до бесконечности. И читатель меня так и не встретит, да и молоко прокиснет» [Розов, 2008, с. 342].

Именно теория социальных эстафет теперь прочно связана с именем М.А. Розова, она явилась его наибольшим теоретическим вкладом в развитие современной эпистемологии и философии науки. Публикуемый текст очень лапидарен, однако, как представляется, он хорошо отражает и основные мотивы, и амбиции автора ТСЭ.

Если кратко проследить узловые пункты этой архивной публикации, то следует отметить следующее: основная проблема в анализе знания возникает и осознается как проблема семиотическая, а имен-



но – как поиск ответа на вопрос, каков способ бытия содержания текста (слова, статьи, романа...)? Это стартовый пункт. Если понимание текста само по себе представляет загадку, то, вслед за автором, можно попытаться выразить ее суть в метафоре «ззеркалья». Знаниевые тексты предъявляют нам мир (как природный, так и социальный), поэтому их можно сравнить с «зеркалом». Исследовательский вопрос состоит в том, чтобы проанализировать механизм этого «зеркального отображения», следовательно, эпистемолог должен отправиться в «ззеркалье» и установить социальные механизмы, позволяющие открыть «устройство зеркала». Сами «отображения», какими бы волнующими они ни были, теперь нас не интересуют. Метафора, казалось бы, простая, но далеко ведущая – тут, действительно, вспоминается Алиса Льюиса Кэрролла, ее удивительное и опасное (для здравого смысла) путешествие.

Заметим по ходу: работы Розова трудны для восприятия (как ни горько было автору, но широкого обсуждения его идей никогда не получалось!) не потому, что написаны замысловато и непрозрачно, но потому, что требовалось расстаться с привычными, со студенческих лет усвоенными гносеологическими представлениями, последовать какой-то непонятной, необычной рациональности. Когда-то давно один из коллег сказал в откровенном разговоре: «Если ты прав, Миша, то всем нам, гносеологам, надо переучиваться... а это нереально!» И этот диагноз был абсолютно справедлив.

Второй ключевой пункт ТСЭ – понятие социальной памяти. Знание – феномен надличностного мира. Так называемого субъективного (индивидуального) знания в картине Розова просто нет, и это роднит его мысль с идеями «третьего мира» Карла Поппера. При этом Михаил Александрович ясно объясняет, что социальные «свойства» (идет ли речь о смысле знака или текста, роли президента или ректора, или о таком феномене, как социальный институт, будь то университет или парламент и т. п.) всегда неатрибутивны в том плане, что свойства эти «записаны» не в материале исследуемого феномена, а в общей социальной памяти. Действительно, никакой анализ *материала* знака или социальной роли не может открыть тайну их функционирования. Если свойство сахара «быть растворимым в воде» атрибутивно и объясняется атомно-молекулярным строением сахара, то свойство ректора «управлять университетом» никак не может определяться особенностями человеческого материала, на котором реализуется данная роль (или функция). Иначе говоря, социальные свойства – неатрибутивны. И это, конечно, всем нам хорошо знакомо, но рассуждать подобным образом, делать далеко идущие выводы из столь обычных фактов – непривычно. Любопытно, каким схожим образом пытается выразить специфику социальных свойств такой авторитетный философ, как Ром Харре: «Социальный мир представляет собой некий эфемерный



атрибут потока символических интеракций между активными людьми, сведущими в условностях определенной культурной среды» [Харре, 2006, с. 119]. «Эфемерный атрибут» – ведь это неатрибутивность.

Очень принципиален тезис о том, что базовый механизм социальной памяти – непосредственное воспроизведение образца поведения или деятельности. Здесь очевидна переключка с идеей «неявного знания» (tacit knowledge) Майкла Полани. Впрочем, Полани не претендовал на столь глобальное обобщение, как социальная память в целом. Речь шла исключительно о понимании знания, его экстралингвистических компонентах. Он писал: «Стать знатоком, так же как и стать умельцем, можно лишь в результате следования примеру в непосредственном личном контакте; здесь не помогут никакие инструкции» [Полани, 1985, с. 88–89]. И это положение полностью соответствовало исходным представлениям ТСЭ, которая утверждает, что в основе сложно организованных действий, включая научное познание, всегда лежит воспроизведение непосредственно предъявляемых образцов деятельности.

Такие переключки, иногда буквальные совпадения идей и подходов к пониманию природы социального, и семиотических объектов в частности, толкали Михаила Александровича к попыткам написать статью-обзор «Все дороги ведут в Рим», и небольшой раздел с таким говорящим заголовком имеет место в его опубликованной книге [Розов, 2008, с. 57–75]. Наброски подобного обзора, сохранившиеся в архиве, гораздо более обширны и детальны.

Непосредственное воспроизведение образца (подражание) – это предельно элементарный «ген», на котором покоятся все остальные, куда более сложные формы, в том числе вербализация образца и письменный текст. И, что крайне важно, с самого начала придется постулировать, что повторить дважды один и тот же образец не удастся: изменится и материал действия, и копировать придется не исходник, а тот образец, который непосредственно предшествовал совершаемому действию. «Одну и ту же картошку не очистишь дважды», – постоянно говорилось на домашних семинарах Розова. В этом плане подражание – динамический процесс, а потому появляется понятие «эстафеты» как выражающее суть дела. И это уже не просто метафора, как может показаться на первый взгляд.

Опять «все дороги ведут в Рим»: термин «эстафета» (relay) встречается в знаменитой работе Куайна «Слово и объект». Подчеркнем, что термин этот Розов ввел совершенно самостоятельно, однако был сильно воодушевлен, встретив его в размышлениях американского философа. Куайн неоднократно говорит об эстафетном механизме (relay mechanism) словоупотребления. Приведем достаточно пространное его рассуждение, чтобы подчеркнуть удивительное совпадение, переключку ходов мысли. Обсуждая, в частности, вопрос о



том, какими связями «удерживает» слово свой денотат, Куайн писал: «Преимущество норм заключается еще и в том, что благодаря им становится возможной бесконечно продолжаемая эстафета (*indefinitely prolonged relay*). Сообщение может передаваться из уст в уста через лингвистическое сообщество и через поколения, с тем лишь условием, что каждая передача не будет неузнаваемо искажать звуки по сравнению с существующими в это время неточностями. Каждый человек исправляет неточности своего предшественника, прежде чем заменить их своими собственными неточностями, и ошибки, таким образом, не накапливаются <...> Словесная эстафета без письменной поддержки между передачами должна опираться только на память. Тут снова действуют нормы: сообщение, если оно вообще запоминается дословно, запомнится в соответствии с какими-то фонетическими нормами; другие детали если и запоминаются, то факультативно. Память фактически является эстафетой, в которой передача происходит от себя к себе. Письменные записи уменьшают нашу зависимость от эстафеты, позволяя, в свою очередь, осуществить дальнейшую передачу: текст может неоднократно копироваться и всякий раз омолаживаться, поскольку существуют нормы записи, в соответствии с которыми его следует исправлять» [Quine, 1964, с. 88]. Действительно, совпадение впечатляющее. Отмечено и то обстоятельство, на которое не раз указывал Розов: непосредственное воспроизведение образца деятельности (в том числе – словоупотребления) со временем трансформируется в связи с возможностями опираться на письменность. Это существенный шаг в усложняющейся жизни социальных эстафет.

Образ эстафеты (*relay*) динамичен – это первое достоинство; второе преимущество – указание на уже известный естествознанию объект, свойства которого неатрибутивны, т.е. не записаны в материале. Таким объектом является волна, причем очевидно, что локализовать волну для того, чтобы изучить ее строение, просто невозможно, при попытке локализации она перестает существовать. Но не подобным ли образом обречены на неудачу попытки установить строение единичного слова с целью фиксации его смысла и значения?.. Волновая аналогия не раз встречалась в социо-гуманитарных науках. Попытку создать «волновую социологию» представил еще в конце XIX в. Габриэль Тард [Тард, 1892]. Известный отечественный литературовед Б.И. Ярхо писал: «Открытие “закона волн” в литературе было бы венцом точного литературоведения» [Ярхо, 1969, с. 526].

Отметим еще одно достоинство эстафетной онтологии. Один из постулатов ТСЭ гласит: «Образец не задает поля реализаций». Несмотря на соблюдение социальных норм, деятельность все время изменяется, подвержена совершенно спонтанным мутациям, т.к. меняется материал действия (его, как уже указывалось, просто нельзя сохранить), исходный образец приходится применять в изменившихся



условиях, а со временем появляется возможность при решении сложных задач «монтировать» разнообразные образцы. Сборку образцов со временем начинают культивировать, и сознательный социо-культурный монтаж становится одним из неперенных условий быстрого общественного прогресса во всех аспектах жизнедеятельности.

Вообще говоря, здесь затрагивается *проблема контингентности*, которую неоднократно и весьма бурно обсуждали в западной философии науки в 1990-е гг. и позднее. Суть проблемы в том, чтобы объяснить, каким образом социум, который определен традициями и нормами, *обречен* постоянно производить новации. Где, как говорится, *коренятся* новации социальной жизни, культуры и науки? Ведь привычная категоризация «возможного» как потенции и «действительности» как реализации потенциального здесь не работают. Мы не можем всерьез утверждать, что будущая теория «предсуществует» в исходной теории – например, гелиоцентрическая система мира есть потенция геоцентрической концепции, хотя одна теория и сменила другую, а феодальная формация потенциально содержалась в рабовладельческой, хотя очевидно, что одна система социальных отношений сменила другую. Недаром же говорят, что истории всегда *случаются*, и *окказионализм* – почти необходимая компонента исторического подхода. В таких общих терминах обсуждают до сих пор проблему истории как «открытого потока» в дискуссиях, связанных с акторно-сетевой теорией Бруно Латура и его сторонников. Теория социальных эстафет, как можно видеть в публикуемом тексте Розова, также утверждает: «все мы постоянно играем определенные роли, и не одну, а много, но не существует “пьесы” развития Истории».

Впрочем, тщательный сопоставительный анализ АСТ Латура и ТСЭ Розова еще только предстоит провести. Очевидно, однако, что многие и многие мотивы обобщения АСТ также удивительным образом совпадают с мотивами создателя ТСЭ. Увидеть параллели можно в подчеркнута дескриптивной (а не нормативной) установке авторов «Лабораторной жизни» [Latour, Woolgar, 1986], в понятии «актантов», куда входят люди (акторы) и «нечеловеки» (вещи, приборы, реагенты и т. п.), и в принципиальном утверждении «сетевой» природы любого научного результата [Латур, 2013]. В теории социальных эстафет можно видеть соответственно: 1) принцип «надрефлексивной позиции», которая позволит *изучать* процессы, происходящие в научной лаборатории (да и в любых других случаях научной практики), а не нормировать их; 2) идею «объектного поля» реализации научной деятельности, которая, бесспорно, включает «нечеловеков» в условия осуществления той или иной поставленной «актором» цели; 3) демонстрацию эстафетных структур, которые, как и волны, просто не помещаются в фиксацию отдельно взятого научного результата. Заметим также, что и проблема «способа бытия семиотических объектов»



(такая формулировка присуща ТСЭ) фактически всплыла для Латура в последние годы в виде вопроса о «модусах существования» феноменов реальности [Latour, 2013]. Кстати, некоторую нединамичность образа «сети», характерную для АСТ, подвергли критике, и автору пришлось в последние годы существенно поработать, чтобы компенсировать столь очевидный недостаток базового понятия.

Один из самых важных вопросов для ТСЭ – каким образом, анализируя «зазеркалье» (мир социальных эстафет), можно объяснить получение «зеркального отражения», т. е. каким образом из человеческой деятельности строится мир объектный? Иными словами, как из практики действий вывести рассказ о деяниях самой природы? Почему научное знание утверждает, скажем, что поваренная соль (NaCl) состоит из Na и Cl, а не просто фиксирует лабораторную практику получения NaCl? Для Розова это – загадка онтологизации. В своей книге он посвящает немалое место именно этой теме [Розов, 2008, с. 244–250].

Михаил Александрович, что всегда восхищало его учеников и коллег, по-настоящему глубоко знал историю науки, опирался на самый разнообразный историко-научный материал, умел его анализировать самым нетривиальным образом. Он писал в своих автобиографических заметках, какое сильное впечатление на него всегда производил образ великого труженика науки Чарлза Дарвина [Розов, 2015, с. 536–569]. Еще в студенческие годы Розов совершил собственное эпистемологическое путешествие на корабле «Бигль», собирая в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина сведения о различных научных дисциплинах, анализируя разнообразные траектории научных открытий (напомню, что одна из ярких его публикаций в журнале «Вопросы философии» так и называлась «Пути научных открытий (к критике историко-научной концепции Т. Куна)» [Розов, 1981, с. 138–147]). Все это стилистически очень напоминает мощные очерки Латура о том, сколько сложны и неоднородны «сети», в рамках которых формируются, фиксируются, приобретают общественное признание научные результаты [Латур, 2013; Латур, 2014; Латур, 2015].

* * *

В научном сообществе принято образно говорить, что теория происхождения видов Дарвина покоится на Монблане фактов. Аналогично тому, теория социальных эстафет опирается на грандиозный Монблан историко-научных фактов и обобщает колоссальный эмпирический материал. В архиве Михаила Александровича, в папке, где собирались подготовительные материалы для будущих книг, имеется список так называемых «камушков» или «болтливых фактов» (Розов очень любил этот слоган, принадлежащий отечественному генетику



Владимиру Яковлевичу Александрову). В этом списке ни много ни мало 368 пунктов, и «болтливые факты» истории науки относятся как к естествознанию, математике, так и к социо-гуманитарным дисциплинам, включая семиотику, паремиологию и литературоведение.

Можно только искренне порадоваться тому, что, благодаря рубрике «Архив», станет возможным знакомиться со «строительными лесами» отечественных эпистемологических концепций. Как представляется, нашему эпистемологическому сообществу необходимо более внимательно относиться к поискам и находкам собственных исследователей, не пытаясь принципиальные новации усматривать исключительно в западной литературе, оценивая все остальное как «отсебятину». Это приводит только к тому, что мы и западные результаты усваиваем с большим напряжением. М.А. Розов, как мне кажется, весьма удачно высказался по этому поводу: «Переводы, рефераты и анализ чужих точек зрения еще не порождают сами по себе механизмы собственного творческого поиска, и этот механизм очень трудно, если вообще возможно, заимствовать из чужих рук, из мозаичной картины чужих результатов. Мы не знаем той “кухни”, где все это создавалось, нас пускают только за праздничный стол, где хрусталь бокалов, белизна салфеток и искусный дизайн блюд полностью вытесняют кухонный чад. И если так будет продолжаться, то не будет у нас никогда собственной “кухни”» [Розов, 2012, с. 252].

Список литературы

- Латур, 2013 – *Латур Б.* Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. 414 с.
- Латур, 2015 – *Латур Б.* Пастер: война и мир микробов. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2015. 316 с.
- Латур, 2014 – *Латур Б.* Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: Издат. дом «Высш. шк. экономики», 2014. 384 с.
- Полани, 1985 – *Полани М.* Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. 344 с.
- Розов, 2015 – *Розов М.А.* Гносеология культуры. М.: Новый хронограф, 2015. 576 с.
- Розов, 1981 – *Розов М.А.* Пути научных открытий (к критике историко-научной концепции Т. Куна) // *Вопр. философии.* 1981. № 8. С. 138–147.
- Розов, 2008 – *Розов М.А.* Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М.: Новый хронограф, 2008. 352 с.
- Розов, 2012 – *Розов М.А.* Философия науки в новом видении. М.: Новый хронограф, 2012. 440 с.
- Тард, 1892 – *Тард Г.* Законы подражания. СПб.: Ф. Павленков, 1892. 370 с.
- Харре, 2006 – *Харре Р.* Материальные объекты в социальных мирах // *Социология вещей.* М.: Издат. дом «Территория будущего», 2006. С. 118–133.



Ярхо, 1969 – Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения (наброски плана) // Тр. по знаковым системам. Вып. 4. Тарту: Изд-во Тартус. Ун-та, 1969. С. 515–526.

Latour, 2013 – *Latour B. An Inquiry into Modes of Existence*. Cambridge (Mas): Harvard University Press, 2013. 520 p.

Latour, Woolgar 1986 – *Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts*. Princeton: Princeton University Press, 1986. 294 p.

Ouine, 1964 – *Quine W.V.O. Word and Object*. Cambridge: MIT Press, 1964. 294 p.

References

Harré R. “Material’nye ob’ekty v sotsial’nykh mirakh” [Material objects in the social worlds], in: *V. Vakhshstein (ed.). Sociology of things*. Moscow: Izdatel’skii dom “Territoriya budushchego”, 2006, pp. 118–133. (In Russian)

Latour B. *An Inquiry into Modes of Existence*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2013. 520 p.

Latour B., Woolgar S. *Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts*. Princeton, Princeton University Press, 1986. 294 p.

Latour B. *Nauka v deistvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vnutri obshchestva* [Science in action. How to Follow Scientists and Engineers through society]. Saint Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge. 2013. 414 p. (In Russian)

Latour B. *Paster: voina i mir mikrobov* [War and Peace of the Microbes]. Saint Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2015. 316 p. (In Russian)

Latour B. *Peresborka sotsial’nogo. Vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory]. Moscow: Izdatel’skii dom Vysshei shkoly ekonomiki, 2014. 384 p. (In Russian)

Polanyi M. *Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoj filosofii* [Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy]. Moscow: Progress, 1985. 344 p. (In Russian)

Rozov M. *Gnoseologiya kul’tury*. Moscow: Novyi khronograf, 2015. 576 p. (In Russian)

Rozov M. *Filosofiya nauki v novom videnii* [Philosophy of science from the new prospect]. Moscow: Novyi khronograf, 2012. 440 pp. (In Russian)

Rozov M. *Teoriya sotsial’nykh estafet i problemy epistemologii* [Social relay theories and the problems of epistemology]. Moscow: Novyi khronograf, 2008. 352 pp. (In Russian)

Rozov M. “Puti nauchnykh otkrytii (k kritike istoriko-nauchnoi kontseptsii T. Kuna)” [The ways of scientific discoveries (On the historic-scientific theory by T. Kuhn)], in: *Voprosy filosofii*, 1981, no. 8, pp. 138–147. (In Russian)

Tarde G. *Zakony podrazhaniya* [Les lois de l’imitation]. Saint Petersburg: F. Pavlenkov, 1892. 370 pp. (In Russian)

Yarkho B. “Metodologiya tochnogo literaturovedeniya (nabroski plana)” [Methodology of the precise literature studies (sketches)], in: *Trudy po znakovym sistemam* (Works on symbolic systems), vol. 4. Tartu: Izdatel’stvo Tartusskogo universiteta, 1969, pp. 515–526. (In Russian)

ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЭСТАФЕТ

Михаил Александрович Розов

Утверждается, что теория социальных эстафет выросла из глобальной проблемы способа бытия семиотических объектов (**the mode of existence of semiotic objects**), **включая знание**. Эта проблема обусловлена тем, что гуманитарные науки и эпистемология имеют дело с текстом, который выступает двояким образом: с одной стороны, это некоторое материальное образование, представленное звуковыми колебаниями, пятнами краски на бумаге и т. п., а с другой – нечто, несущее смысл и значение. Понимание текста определяется включенностью читателя в мир социальных норм, которые состоят из эстафетных структур. Теория социальных эстафет предлагает язык описания и анализа этого мира.

Ключевые слова: эпистемология, способ бытия, семиотические объекты, знание, социальные нормы, теория социальных эстафет

WHAT IS THE SOCIAL RELAY THEORY

Michael Rozov

The author claims that the social relay theory rose from the global problem of the mode of existence of semiotic objects (including knowledge). This problem is connected with the status of text in human studies and epistemology that is both the material phenomenon (sound oscillation, ink on paper) and something full of sense and meaning. Understanding of the text is determined by the reader's inclusion into the world of social norms which is built upon the relay structures. The social relay theory suggests the language for description and analysis of this world.

Keywords: epistemology, mode of existence, semiotic objects, knowledge, social norms, social relay theory

Теория социальных эстафет выросла из проблем эпистемологии или, точнее, из глобальной проблемы способа бытия знания и семиотических объектов вообще. Постановка этой проблемы обусловлена тем, что гуманитарные науки, и эпистемология в их числе, имеют дело с текстом, а последний выступает как бы в двух ипостасях: с одной стороны, это некоторое материальное, вещественное образование, представленное звуковыми колебаниями, пятнами краски на бумаге и т. п., а с другой – нечто несущее смысл, значение, нечто нами понимаемое. При этом бросается в глаза, что знание безразлично в широких пределах к материалу своего воплощения, к характеру звуков, красок, бумаги и т. д. Его содержание не зависит от того, записали мы наши мысли на камне или папирусе, произнесли вслух или занесли в электронную память вычислительной машины.

Возникают несколько парадоксальные вопросы такого типа: роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» может в виде книги лежать на столе или стоять на полке, но где и как при этом существует богатый мир его героев, давно ставший объектом специального изучения?



Имеет он чисто субъективное и индивидуальное бытие или представляет собой нечто социально значимое? И если верно последнее, то каковы механизмы его надындивидуального существования? Текст напоминает зеркало, при рассмотрении которого есть возможность углубиться в мир зазеркалья. И мы постоянно пользуемся этой возможностью безотносительно к тому, лежит перед нами художественное произведение или научная монография. Конечно, набор «действующих лиц» будет при этом различен, различно будет и наше к ним отношение, но в обоих случаях естественно встает вопрос об устройстве зеркала и о тех «законах оптики», которые обуславливают бытие самого «зазеркалья» как такового.

Отвлекаясь от общефилософских или чисто психологических постановок, проблему можно сформулировать так: что образует «тело» знания, его социальную «субстанцию», в рамках каких социальных «сил» текст как чисто вещественное образование становится знанием? Мы имеем здесь дело с одной из тех проблем, которые, допуская почти обыденную простоту и тривиальность постановки, затрагивают, тем не менее, фундаментальные основы соответствующей науки. Речь идет фактически о выявлении такой социальной реальности, которая позволила бы устранить дуализм материала текста и его смысла, объединить знаковую форму и содержание. Напрашивается мысль, что смысл, содержание – это диспозиция текста, некоторое его свойство. Текст может быть понят, может быть истолкован как знание. Но кем именно? Диспозиция предполагает отношение, предполагает нечто такое, по отношению к чему объект проявляет свои особенности. Кто же выступает в качестве понимающего? Очевидно, что этот некто должен владеть языком, на котором произнесен или написан текст, т. е. обладать способностью понимать тексты на данном языке. Иными словами, понимание одного текста предполагает понимание других. Строго говоря, в этом уже есть некоторая зацепка, но непосредственно мы не продвинулись ни на шаг вперед. А чем понимающий отличается от непонимающего? Состоянием нервных клеток? Может быть, но это опять-таки не приближает нас к удовлетворительному решению проблемы, ибо сразу возникает новый вопрос: чем обусловлено это состояние, позволяющее всем представителям данной культуры понимать текст в значительной степени одинаково, по крайней мере, на некотором уровне? Ясно, что истоки надо искать в некоторых социальных процессах, имеющих надындивидуальный характер. Проблемы эпистемологии сливаются здесь с социологическими проблемами.

К решению приводят довольно тривиальные соображения. Для понимания текста необходимо знать язык, а каким образом мы усваиваем этот последний, как он передается от поколения к поколению? Лингвисты давно пришли к пониманию того, что у ребенка нет ника-



ких других возможностей для овладения родным языком, кроме как подражать взрослым, т. е. воспроизводить образцы живой речи. Иначе чем объяснить, что в одном окружении ребенок начинает говорить по-русски, а в другом – по-китайски? Но не означает ли это, что и вся наша Культура в конечном итоге живет и передается от поколения к поколению на уровне постоянного воспроизведения непосредственных образцов поведения? Рассуждая таким образом, мы и приходим к представлению о социальных эстафетах как о некоторых исходных, базовых механизмах социальной памяти. Воспроизводя образцы живой речи, мы учимся говорить, на базе образцов рассуждения усваиваем правила логики, находясь в среде других людей, перенимаем формы их поведения, элементарные трудовые навыки, типы реакций на те или иные события. Все сказанное с некоторыми поправками можно отнести и к сфере творческой деятельности. Традиции в развитии материальной и духовной культуры давно стали объектом исследования, однако при этом чаще всего ограничивались простой констатацией традиционности тех или иных социокультурных явлений, не вдаваясь в механизм действия традиций.

Простейшую эстафету можно представить следующим образом: некто **А** осуществляет акцию Δ' , которую **Б** рассматривает как образец и воспроизводит в виде Δ'' . **А** и **Б** – это актуальные участники эстафеты, они могут быть представлены как разными людьми, так и одним человеком, который воспроизводит свои собственные образцы. Наряду с актуальными участниками, можно говорить и о потенциальных, к последним относятся те, кто имеет образец Δ' в поле своего зрения и способен к его реализации, но фактически по тем или иным причинам этого не делает. Все мы, например, являемся участниками эстафеты курения, актуальными или потенциальными.

Важно отметить следующее: мы предполагаем, что любая реализация всегда в чем-то отличается от образца, что и нашло отражение в приведенных обозначениях. Меняется при этом не только характер действий, но и предметы, с которыми мы оперируем. Допустим, например, что речь идет о такой акции, как проявление фотопленки. Очевидно, что одну и ту же пленку нельзя, да и не нужно, проявлять дважды, а это означает, что, воспроизводя существующие образцы, мы будем иметь дело со все новым и новым материалом: с новыми пленками, с новыми порциями проявителя и фиксажа... Строго говоря, меняться будет решительно все, включая используемую аппаратуру, но при наличии некоторых инвариантов, что и позволяет говорить об осуществлении одной и той же акции, о проявлении фотопленки.

Вспомним теперь, как мы, уже будучи взрослыми, изучаем иностранный язык. Имея некоторую фразу в качестве образца, мы сплошь и рядом пытаемся построить новые фразы, подставляя другие слова на место старых, но сохраняя грамматическую структуру.



Здесь происходит примерно то же самое, что и в случае практической производственной деятельности: в одном случае все время меняются предметные, вещественные составляющие этой деятельности, в другом – лексический материал. Воспроизведение образцов речи не следует поэтому понимать как буквальное повторение одной и той же клишированной фразы или выражения.

Для более полного понимания того, что такое социальная эстафета, полезно сопоставить ее с волной. Представьте себе одиночную волну, бегущую по поверхности водоема. Она может перемещаться на значительное расстояние, но это вовсе не означает, что частицы воды движутся вместе с ней в том же направлении. Иными словами, волна захватывает в сферу своего действия все новые и новые частицы, непрерывно обновляя себя по материалу. Эстафета в указанном плане напоминает волну, она тоже проявляет относительное безразличие к тому или иному конкретному материалу, постоянно меняя как своих участников, так и те объекты, с которыми они действуют. В мире социальных явлений мы постоянно сталкиваемся с объектами такого рода. Что собой представляет, например, такой феномен, как президент США? Бывает так, что сегодня это один конкретный человек, а завтра другой, через некоторое время – третий, меняется как сам президент, так и его окружение. Мы имеем здесь дело с некоторой сложной социальной программой, которая реализуется на периодически, а иногда и случайно меняющемся человеческом материале. Будем называть такие волноподобные объекты куматоидами (от греческого κύμα – волна). Социальная эстафета – это простейший пример социального куматоида.

Но какое отношение это имеет к знанию? Попробуем показать это с помощью аналогии. Успехи в изучении Природы всегда были существенно связаны с абстракцией от тех ментальных состояний, которые порождают в нас те или иные природные явления. На заре развития физики методологической основой такой абстракции была концепция так называемых первичных и вторичных качеств, восходящая еще к Демокриту. Трудно даже оценить гениальность его столь понятной для нас сегодня идеи: реально существуют только атомы и пустота, а цвета, запахи, звуки, вкусовые характеристики – все это результат воздействия атомов на наши органы чувств. Бегут века, и вот через две тысячи лет Галилео Галилей, рассуждая аналогичным образом, вплотную подходит к кинетической теории теплоты. За нашими восприятиями теплого и холодного он видит движение мельчайших частичек материи. Судите сами: «Мы уже видели, что многие ощущения, которые принято связывать с качествами, имеющими своими носителями внешние тела, реально существуют только в нас... Я склонен думать, что и тепло принадлежит к числу таких свойств. Те материи, которые производят в нас тепло и вызывают в нас ощущение



теплоты (мы называем их общим именем “огонь”), в действительности представляют собой множество мельчайших частиц, обладающих определенными формами и движущихся с определенными скоростями» [Галилей, 1987, с. 226]. А не следует ли и нам при анализе знания осуществить подобный переход? Нас должны интересовать не ментальные состояния, а та «материя», движение которой эти состояния в нас вызывает. Иными словами, не следует ли нам попытаться построить по аналогии с физикой «кинетическую» теорию знания? Именно эту задачу и решает теория социальных эстафет.

Мы читаем текст, и мы его понимаем. Понимание прежде всего – это некоторое переживание, некоторое ментальное состояние, нечто похожее на ощущение тепла. Но все обусловлено тем, что мы являемся участниками определенных социальных эстафет, и именно они определяют наши переживания. Допустим, речь идет о собственном имени «Марк», и вы являетесь участником эстафеты именованья, так как Марк – это ваш знакомый. Вы поэтому понимаете это слово и можете описать свое понимание, сказав, например, что «Марк» обозначает вашего знакомого. Сказав это, однако, вы просто описали содержание тех образцов использования данного имени, которые имеются в вашем распоряжении. Какие это образцы и как они связаны друг с другом? Ответить на этот вопрос уже не так просто, ибо, как правильно отмечал Л. Витгенштейн, простое остенсивное определение может быть истолковано самым различным образом. Если вам, например, указали на человека и произнесли слово «Марк», у вас есть все основания полагать, что это обозначение цвета его галстука, пола, национальности или занимаемой должности.

Итак, текст мы, с одной стороны, понимаем, а с другой, должны объяснить это понимание. Последнее – это только некоторая феноменология, за которой скрывается мир социальных эстафет, участниками которого мы являемся. Перед нами совершенно новая для семиотики и эпистемологии точка зрения. Из нее следует, в частности, что анализ строения знания, его структуры предполагает выявление образующих это знание эстафет и их связей. Ясна и цель этого анализа – объяснить возможности того или иного понимания. Знание, следовательно, состоит из эстафет, оно представляет собой некий волноподобный объект, социальный куматоид. Образно выражаясь, полученный результат – это «волновая» семиотика или «волновая» теория социо-культурных явлений.

Уже из сказанного видно, что, зародившись в рамках эпистемологической проблематики, теория социальных эстафет сразу же стала выходить за эти рамки, ибо она претендует на анализ исходных, базовых взаимодействий, определяющих механизмы социальной памяти и процессы воспроизведения социальной реальности вообще. В этом плане она напоминает генетику, которая изучает механизмы биологи-



ческой наследственности. Вообще нам представляется, что проводить аналогии между науками естественными и общественными, включая и гуманитарные науки, очень полезно в эвристическом плане. Правда, некоторые гуманитарии категорически против этого возражают, всячески подчеркивая специфику своей области. Один довольно видный историк как-то сказал автору: «Когда при мне начинают сравнивать историю и физику, я перестаю слушать». Думаю, он совершает ошибку, ибо познание едино, и никогда не вредно использовать опыт тех, кто на совсем другом материале преодолевал аналогичные трудности. В.Я. Пропп, например, неслучайно назвал свою знаменитую работу «Морфологией сказки», он исходил из вполне осознанной аналогии с биологической морфологией. Подобным же образом и теорию социальных эстафет можно было бы назвать социальной генетикой, хотя она и не заимствует из биологии никаких конкретных представлений.

Но перейдем теперь непосредственно к этой теории, ибо пока мы говорили не столько о ней, сколько о знании. Правда, мы ввели понятие социальной эстафеты и куматоида, но введение новых понятий еще не создает теории. О подражании говорят и пишут давно. Французский социолог Г. Тард в конце XIX в. построил глобальную концепцию Культуры, опираясь на идею подражания. В развитии общества, с его точки зрения, все сводится к изобретениям и подражаниям. Правда, речь у него идет не о воспроизведении непосредственных образцов поведения, а о подражании идеям. Э. Дюркгейм, в отличие от Г. Тарда, пытался выделить подражание как элементарный акт, но в итоге все свелось к психическому заражению, когда, например, зевок одного человека вызывает подобные побуждения у других. В обоих случаях, как нам представляется, никакой теории не возникло. Концепция Г. Тарда была слишком глобальной и недифференцированной, подход Э. Дюркгейма уводил в психологию. В основе теории социальных эстафет лежат несколько иные представления: мы будем рассматривать только элементарные акты воспроизведения непосредственных образцов, но эти последние будут нас интересовать не как побуждения к действию, а исключительно как единственный источник информации.

Что же мы можем сказать об эстафетах самих по себе? Можно выделить четыре узловых точки, вокруг которых структурируется теория социальных эстафет, это, если можно так выразиться, точки ее роста и одновременно точки опоры.

Во-первых, нетрудно показать, что фактически существуют не отдельные эстафеты, а более или менее сложные эстафетные структуры, в рамках которых эстафеты связаны и взаимодействуют друг с другом. Например, наблюдая за поведением человека, вы не сумеете понять, что именно он делает, т. е. **какова его цель, если не проследите, какие именно результаты его действий и как используются в дальнейшем им самим или другими.** Иными словами, для воспроиз-



водства деятельности вам нужны не только образцы производства, но и образцы потребления. Связь этих двух актов может быть, однако, чисто случайной, а может быть тоже занормированной, т. е. тоже воспроизводиться по образцам. Обнаружение эстафетных структур сразу обогащает картину, порождает новые задачи и дает надежду, что мы вскоре научимся теоретически конструировать такие структуры для объяснения эмпирически наблюдаемых явлений. Но для этого надо решить задачу тщательного изучения возможных связей эстафет. Это тем более важно, что речь идет о самых глубинных связях, определяющих функционирование социальной памяти.

Второй пункт еще более фундаментален. Простые соображения приводят к мысли, что отдельных эстафет вообще нет и не может быть, что они и существуют только в рамках сложных эстафетных структур. Суть в том, что отдельно взятый образец не задает никакого четкого множества возможных реализаций, ибо все на все похоже. Действительно, что вы должны делать, если вам указали на некоторый предмет и сказали, что это пепельница. Вы должны, вероятно, называть похожим словом все то, что как-то напоминает указанный предмет, но разве после этого у вас не появится желание назвать так блюдце, чашку, раковину моллюска или просто предмет из похожего материала? Иными словами, отдельно взятый образец просто не является образцом. Образцом в полном смысле слова он становится только в контексте множества других образцов, как-то с ним связанных. Например, если вы уже владеете такими понятиями, как «чашка» или «блюдце», то это может несколько снизить «агрессию» вновь введенного термина.

Все это приводит к мысли, что сам механизм подражания у человека, механизм воспроизведения образцов поведения социален по своей природе. Теория эстафет вовсе не постулирует его как нечто изначально присущее человеку и не ссылается на какие-либо биологические данные. Способность человека подражать в широких пределах определяется характером эстафетных структур, в рамках которых он действует. Конечно, человек – это биологическое существо, конечно, и у животных подражание играет существенную роль. Но количество информации, передаваемой по этому каналу в обществе, ее разнообразие и постоянные вариации абсолютно несопоставимы с тем, что имеет место в биологическом мире. Психолингвисты последнее время много писали о том, что ребенок не умеет подражать. Это парадоксально, но подтверждается фактами. Что, собственно говоря, подтверждается? Только то, что ребенок, усваивая язык, не способен воспроизводить отдельные образцы, пока он еще не включен в достаточно богатый социальный и языковой контекст. Его биологические способности здесь не срабатывают.

Сказанное означает также, что в рамках теории социальных эстафет не проходит элементаризм, согласно которому целое состоит из отдельных частей, и эти последние могут быть выделены и описаны



независимо от целого. Отдельно взятая эстафета не существует в силу полной неопределенности содержания образцов. Относительная определенность имеет место только в рамках целого, только в «контексте» других эстафет. Здесь коренится основной источник новаций в развитии культуры: воспроизводя образцы предыдущей деятельности, человек тем самым задает новые образцы, в чем-то отличные от предыдущих, и постоянно меняет тем самым общий «контекст» существования эстафет. Смена контекста – вот источник развития. Это порождает и одну из фундаментальных методологических проблем исторического исследования, проблему соотношения презентизма и антикваризма. Поведение людей прошлого мы воспринимаем в контексте современных образцов, что обуславливает трудности исторической реконструкции и почти неизбежную опасность модернизации.

Тот факт, что содержание образца определяется контекстом, приводит к явлению дополнительности при описании эстафет. Это третий узловой пункт теории. Н. Бор отмечал в свое время, что практическое использование понятия дополнительно по отношению к его точному определению. Дело в том, что в рамках практического употребления понятие вообще не имеет какого-либо однозначно заданного содержания, ибо все определяется образцами словоупотребления в том или ином ситуативном контексте. Давая определение, мы тем самым вводим новый универсальный контекст, контекст языка, создавая таким образом и новое содержание. Иными словами, фиксируя конкретную эстафету, мы не можем точно зафиксировать соответствующее содержание образцов, ибо его просто нет, а продуцируя это содержание, теряем возможность приписать его конкретной эстафете. Можно сформулировать это и несколько иначе: имея дело с конкретным образцом, мы не можем точно описать его содержания, а при попытке дать такое описание, не способны задать соответствующий образец, так как он просто не может быть практически реализован. Действительно, стоит вам точно определить, что такое прямой угол, и вы нигде не найдете прямого угла, хотя практически мы постоянно пренебрегаем этой точностью. Понимаемый таким образом принцип дополнительности позволяет рассмотреть с единой точки зрения широкий круг современных методологических проблем гуманитарного познания: соотношение понимания и объяснения, презентизма и антикваризма, проблему определения предмета науки, несоизмеримость теорий, проблему референции теории и природу так называемых идеальных объектов, соотношение теории и практики и многое другое.

Наконец, четвертая и последняя точка роста связана с тем, что на базе эстафет развиваются более сложные формы социальной памяти, включая научное знание. Одна из задач – проследить взаимодействие



этих форм. Здесь возникает проблема описания систем с рефлексией, ибо знание в простейшем случае – это описание деятельности, т. е. рефлексия над деятельностью. Например, ученый, поставив эксперимент, должен его описать. Сам он может при этом действовать по непосредственным образцам, но результат фиксируется вербально, т. е. происходит вербализация эстафет. Гуманитарная наука сталкивается с уникальной ситуацией, когда изучаемая система описывает сама себя. Действительно, возьмите любую научную монографию и вы, как правило, найдете там немало сведений о том, как работает ученый. А что тогда должен делать методолог или специалист по философии науки? Теория социальных эстафет позволяет детализировать эту ситуацию, выделить разные, взаимно дополнительные исследовательские позиции при ее изучении, обосновать возможность привилегированной «надрефлексивной» точки зрения. Последняя как раз и связана с пониманием дополнительности вербального описания и практического действия по образцам.

Вербальное описание деятельности порождает явление рефлексивной симметрии. Она связана с полифункциональностью человеческих акций, что позволяет их осознавать и описывать в свете различных целевых установок. Два акта деятельности, которые отличаются друг от друга только фиксацией цели, называются рефлексивно симметричными. С рефлексивной симметрией мы сталкиваемся буквально на каждом шагу. К чему, например, стремится научный работник, ставя эксперимент, – к продвижению по служебной лестнице или к получению научного результата? Надеясь на первое, он может получить второе и наоборот. Это опять-таки очень простая закономерность, позволяющая, тем не менее, рассмотреть с единой точки зрения очень широкий круг явлений. Различные виды такой симметрии и их нарушение лежат в основе многих социальных явлений, в том числе в основе дифференциации и взаимодействия научных дисциплин. Например, можно описывать современный рельеф, ссылаясь на прошлые тектонические движения как на средство объяснения (геоморфология), а можно современную картину использовать как средство для реконструкции прошлого (тектоника).

И в завершение еще несколько слов о глобальных претензиях теории социальных эстафет. Волноподобие социальных явлений ставит достаточно серьезную преграду на пути редуccionистских поползновений со стороны естествознания: Культура – это «волна», а волновую картину на поверхности океана нельзя понять, отталкиваясь от свойств воды. Нам не грозит поэтому физический или биологический редуccionизм. Естественные и гуманитарные науки – это два относительно самостоятельных «универсума знания». Физика есть признанный лидер естествознания, ибо она изучает исходные, базовые взаимодействия. Кто может претендовать на аналогичную роль в науках социально-гуманитарных? Разумеется, не история, которая



напоминает не физику, а скорей, географию или геологию с их конкретностью, региональностью, проблемами районирования и периодизации. Аналогичным образом не могут претендовать на эту роль этнография, литературоведение, философия науки и даже лингвистика и семиотика, хотя последние ближе всего из всех перечисленных дисциплин подходят к анализу базовых социальных взаимодействий. Лидера пока нет, нет «социальной физики» в указанном выше смысле этого слова. Задача в том, чтобы сформировать соответствующий раздел социо-гуманитарного знания. Теория социальных эстафет и представляет собой одну из возможных попыток в этом направлении, ибо изучает, несомненно, базовые взаимодействия. Она есть теория социальной памяти, т. е. теория механизмов, обеспечивающих постоянное воспроизводство Социума, теория социальных норм, с которыми сталкивается в равной степени и лингвист, и историк, и правовед. В этом плане, как мы уже отмечали, теория социальных эстафет напоминает генетику или молекулярную биологию, претендуя и на аналогичную роль в составе социо-гуманитарного знания.

Разумеется, однако, что каждая теория имеет свои границы. И концепция социальных эстафет или социальных куматоидов претендует на многое, но не на все. Любые два шахматиста, например, играют в соответствии с правилами, одни из которых вербализованы, а другие нет, но исход партии вовсе не определяется правилами в том смысле слова, что любой участник может как выиграть, так и проиграть или сделать ничью. В такой же степени исход битвы при Ватерлоо не был занормирован, хотя все сражение разыгрывалось в рамках определенных социальных «программ» своего времени. Иными словами все мы постоянно играем определенные роли, и не одну, а много, но не существует «пьесы» развития Истории. Теория социальных эстафет – это теория социальной памяти, это анализ ее механизмов, но она вовсе не претендует на объяснение всех тех событий, которые разыгрываются на сцене Социума в рамках тех или иных эстафетных структур.

Текст подготовлен к публикации *Н.И. Кузнецовой*

Список литературы

Галилей, 1987 – *Галилей Г. Пробирных дел мастер* / Пер. Ю.А. Данилова. М.: Наука, 1987. 272 с.

References

Galileo Galilei. *Probirnykh del master* [The Assayer]. Moscow: Nauka. 1987. 272 pp. (In Russian)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАВОВЕДЕНИЕ: К ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ ДИАЛОГА РАВНЫХ*

Тухватулина Лиана Анваровна – младший научный сотрудник. Аспирант. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail: spero-meliora@bk.ru

Данная рецензия представляет обзор книги правоведа и судьи Федерального апелляционного суда США Гвидо Калабреззи «Будущее права и экономики» (М.: Институт Гайдара, 2016). Рассматриваются теоретические аспекты модели двустороннего взаимодействия между экономической теорией и юридической наукой, предложенной в рамках направления «право и экономика» (**law and economics**). **Анализируются различия** между предшествующей традицией экономического анализа права, отстаивавшей необходимость методологической экспансии экономической теории в область правоведения, и проектом «право и экономика», ориентированным на установление равноправного диалога между двумя областями социального знания. Оба метода, в свою очередь, противопоставляются формалистскому подходу в правоведении. Осмысливается понятие «мериторного блага» (**merit good**) и оценивается перспективность его рецепции философией права.

Ключевые слова: право и экономика, экономический анализ права, Калабреззи, юридическая теория, эпистемология, формализм

ECONOMIC THEORY AND LEGAL STUDIES: TOWARDS THE BILATERAL DIALOGUE

Liana Tukhvatulina – junior research fellow/ PhD student. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya St., Moscow, 109240, Russian Federation; e-mail: spero-meliora@bk.ru

This is a review of the book “The Future of Law and Economics” by American legal philosopher and judge Guido Calabresi (Moscow: Institut Gaidara, 2016). Author considers the theoretical aspects of the bilateral relations between the economic theory and legal studies developed by Calabresi. The author analyzes the differences between the previous tradition of the economic approach to law, which was based on the principle of epistemological expansion of economic theory into the field of legal studies, and the common program of “law and economic”, which is aimed to find the basis for the bilateral dialogue between these sides of social knowledge. Both programs assume some alternatives for the formal analysis of law. The author discusses the concept of merit good and evaluates the prospects for the reception of this concept in legal philosophy.

Keywords: law and economics, economic approach to law, Calabresi, legal theory, epistemology, formalism

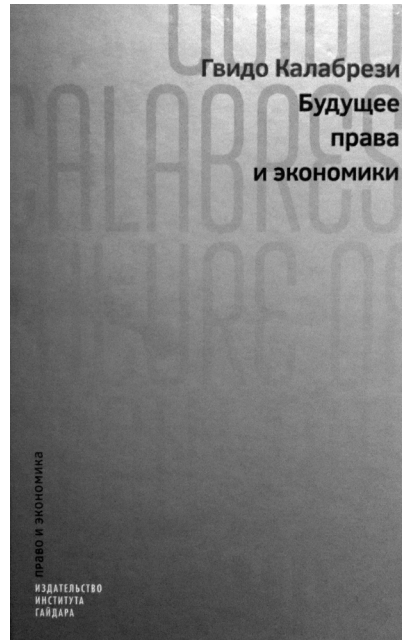
Перевод на русский язык книги старшего судьи Федерального апелляционного суда США Гвидо Калабреззи «Будущее права и экономики» («The Future of Law and Economics») был издан в 2016 г. – что примечательно, в один год с выходом оригинальной версии работы в

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ (РГНФ), проект № 17-03-00722 «Социальная теория и власть: современная российская перспектива».



издательстве Йельского университета. Столь скорое издание книги в России создает почву для надежды на то, что анализ эпистемологических проблем правоведения выйдет за рамки юридической науки и обретет в отечественной научной и философской мысли по-настоящему междисциплинарный статус. На необходимость подобного поворота указывает история развития западной юридической науки, прошедшей за один XX в. путь от герметичных позитивистских концепций Г. Кельзена и Дж. Остина до современных междисциплинарных направлений анализа права, существующих на стыке различных социально-научных дисциплин. Столь интенсивный методологический поиск, отражающий и основные вехи развития современной философии науки, имел целью выработку наиболее целостной концепции права, способной учитывать не только проблемное поле науки о праве, но и более общие философско-правовые вопросы. Решение этой амбициозной задачи потребовало большей открытости правоведения, отказа от доминировавшего принципа дисциплинарного суверенитета во имя решения собственных методологических проблем.

Успешным примером подобной методологической пластичности, по мнению Калабреззи, может служить история Йельской школы права (к которой, кстати, принадлежит и сам автор). Ввиду сильной конкуренции с лидером в этой области – Колумбийской школой права, руководство факультета права Йельского университета еще в конце XIX в. приняло решение о реформировании научно-образовательных программ с упором на междисциплинарные исследования. Мотивом подобных преобразований, бесспорно, было стремление заинтересовать потенциальных студентов и преподавателей гибкостью академической политики факультета, а также возможностью проводить исследования, выходящие за рамки жесткого дисциплинарного канона. Стоит отметить, что этот решительный шаг впоследствии оказался оправданным, поскольку именно Йельская школа права стала центром развития одного из перспективных междисциплинарных направлений – так называемого «права и экономики». Хотя у истоков этого направления стояли как экономисты, так и правоведаы Чикаг-





ского университета (Р. Коуз, Г. Беккер, Р. Познер). Однако неверно было бы сводить причины подобного поворота лишь к академической конъюнктуре. Здесь следует прежде всего учитывать место и колоссальную роль правовых отношений в американском обществе. Ведь если право является прочно укоренившимся (а отнюдь не формальным, сугубо внешним) элементом регуляции общественной жизни, то и вопрос о способности правовой системы применяться к многообразию реальных социальных взаимоотношений выходит за рамки теоретической повестки – он становится злободневным общественным запросом. Гвидо Калабреззи полагает, что именно «право и экономика» дает юристу те необходимые ресурсы, которые позволили бы приблизиться к разрешению столь актуальной задачи.

В рамках данного обзора хотелось бы заострить внимание на эпистемологических новациях, которые несет данное направление. Подобная установка ограничивает возможность описания содержательной фактуры книги, однако, как представляется, позволяет заострить внимание на специфике междисциплинарного анализа права, который все еще представляет собой желанную цель для социальной науки в России. А потому следует для начала оговорить причины, по которым правовой науке следует искать союза с экономикой.

Методологический поворот в Йельской школе права, о котором говорилось выше, может быть охарактеризован как переход от формалистского правоведения к одной из разновидностей «мягкого натурализма» (soft naturalism) в юриспруденции. Целью этого перехода являлся поиск путей взаимодействия юридической науки с какой-либо «успешной социальной или естественной наукой» [Leiter, 2014]. И хотя утверждение об «успешности» экономики вызывает бесконечные споры, одно преимущество данной дисциплины представляется несомненным: современная экономическая наука в значительной степени ориентирована на выявление и математическое описание социально значимого поведения индивидов. Иными словами, экономика, как представляется, сумела выработать достаточно эффективный математизированный язык для описания мотивов и действий людей. Стоит, кстати, отметить, как незаметно способность к математическому выражению знания – исконная ценность ‘hard science’ – становится значимым критерием эпистемологической состоятельности для концепции, выстраиваемой в парадигме ‘soft science’. По крайней мере, именно эта особенность экономической науки выражает ее преимущества в глазах правоведов.

Признавая данное преимущество, вероятно, следовало бы заключить, что союз экономики и правоведения не может выстраиваться на принципах паритета. Так, предшествовавший проект экономического анализа права, у истоков которого стоял И. Бентам, «изучает мир с точки зрения экономической теории и в результате этого исследова-



ния одобряет правовую реальность, подвергает ее сомнению и часто стремится реформировать. Фактически он действует в качестве архимедовой точки, на которую можно встать и где установить рычаг, который бы позволил ученому в случае необходимости привести доводы в пользу изменения этой правовой реальности» [Калабреззи, 2016, с. 12–13]. Экономический анализ права предполагал, таким образом, оценку правовой реальности с точки зрения ее соответствия критериям, формулируемым в рамках экономической теории. Подобная оценка отсылает к мнимой очевидности приоритета экономического анализа, а главное – утверждает вторичность, несамостоятельность правовой реальности. Специфика современного проекта «права и экономики» предполагает обнаружение твердой почвы для реального методологического сотрудничества между двумя областями знания. Вопрос о взаимодействии здесь рассматривается через признание общего горизонта: «Основа экономического подхода к праву – допущение о том, что люди включены в правовую систему как рациональные существа, нацеленные на достижение максимального удовлетворения своих стремлений» (“as rational maximizers of their satisfactions”) [Posner, 1997, p. 761]. Подобная трактовка очевидным образом вновь отсылает к ключевой идее утилитаристской (бентамовской) антропологии: «природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, *страдания* и *удовольствия*. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать... Они управляют нами во всем, что мы делаем, что мы говорим, что мы думаем». (Цит. по: [Беккер, 2003, с. 36]). Ценностным ориентиром в реализации стремлений для человека является представление о полезности (согласно классическому бентамовскому определению, «полезным называется то, что обещает благо» [Бентам, 2006, с. 18]). Существенно здесь то, что идея полезности не может быть сведена исключительно к экономической целесообразности, которая подразумевает прямую материальную выгоду. Эта идея в современной неинституциональной теории охватывает широчайший круг факторов, влияющих на мотивацию человеческого поведения – а они – хотя и зачастую превосходят сугубо меркантильные резоны, – тем не менее, не вступают в противоречие с принципом полезности.

Идея максимизации полезности подразумевает также идею минимизации издержек, которые неминуемо возникают на пути к желаемому. Эти издержки могут иметь денежное или психологическое выражение, их порой бывает не так-то легко увидеть и понять стороннему наблюдателю [Беккер, 2003, с. 34–35], но именно их наличие и влияние на предпочтения и действия людей делает человеческое поведение доступным для экономического анализа и прогноза. «Предпосылка стабильности предпочтений (основывающаяся на идее максимизации полезности и минимизации издержек. – *Л.Т.*) обеспечивает основу



для предсказания реакций на самые разнообразные изменения» и, тем самым, обеспечивает экономике (в ее неоинституциональной версии) преимущества по сравнению с другими науками о человеке и обществе. [Беккер, 2003, с. 35]. Однако данные преимущества не исключают сотрудничества с другими областями знания – они лишь выступают в качестве фундамента, на котором основывается это взаимодействие. Ведь если полезность предлагается в качестве универсальной ценности и критерия анализа предпочтений, то именно экономика обретает все привилегии в социальном анализе, тогда как остальные социальные дисциплины будут рассматриваться в качестве вспомогательных. Так, один из классиков чикагской школы, нобелевский лауреат по экономике Гэри Беккер, отдавая должное другим областям знания, считал, тем не менее, что именно «экономический подход предлагает плодотворную унифицирующую схему для понимания *всего* человеческого поведения» (курсив мой. – *Л.Т.*), именно он должен быть «всеобъемлющим» [Беккер, 2003, с. 47]. **Беккер, таким образом, не сомневался** в потенциале экономической науки и разделяет позитивистскую веру в то, что потенциал этот будешь со временем нарастать. Напротив, правовед и действующий судья Гвидо Калабреззи полагает, что тотальная экспансия экономической теории должна смениться более гибкой рефлексивной моделью взаимодействия, в которой некоторые юридические «практики и правила, которые экономическая теория не в состоянии объяснить», заставляют экономистов задаться вопросом: «можно ли развить экономическую теорию, можно ли расширить ее или уточнить [...], дабы она могла объяснить реальный мир права таким, какой он есть?» [Калабреззи, 2016, с. 15]. Калабреззи не отрицает самостоятельности правовой реальности, однако полагает, что она может вполне успешно исследоваться в том числе и при посредничестве экономической теории, выступая не только в качестве предмета анализа, но и в качестве средства критики самой экономической теории. И именно попытка выстроить модель двусторонних отношений между правом и экономикой отличает направление, которое представляет Калабреззи, от концепции экономического анализа права, где все предпочтения отдавались экономической теории. Так в чем же суть этих двусторонних отношений?

Основа этих отношений заложена уже в самом определении права, которое используется представителями направления «права и экономика»: «правовая система нацелена на поиск наиболее оптимального способа аллокации (размещения. – *Л.Т.*) ресурсов» [Posner, 1997, p. 760]. Можно сказать, что в этом определении правовая система мыслится едва ли не единой с экономической, поскольку последняя также занимается проблемой размещения ресурсов и доступа к ним – только не на законодательной уровне, а на уровне рыночной саморегуляции. Представление о единстве экономики и



права исходит из самого ядра неоинституционализма. Ведь последний выстраивается вокруг анализа влияния институциональной организации общества на характер сопутствующих экономической деятельности издержек (главным образом, транзакционных издержек, связанных, помимо прочего, с затратами на правовое сопровождение экономической деятельности). Центральным для неоинституциональной теории является вопрос о том, каким образом должны быть устроены социальные институты, чтобы эти издержки сокращались. При такой постановке проблемы становится понятным особый интерес экономической науки к области правоведения, ведь право является социальным институтом *par excellence*, посредством которого могут производиться преобразования во всех прочих институтах (речь, разумеется, идет о «нормальной», а не «революционной» ситуации в обществе, когда правовые механизмы воздействия замещаются прямым принуждением). Суть этого преимущества с точки зрения экономической теории заключается в особой способности права «регулировать стимулы» (*to alter incentives*), определяющие поведение людей [Posner, 1981, p. 75]. Право в сравнении со всеми прочими институтами, регулирующими нормативную систему общества (религией, моралью, обычаями и традициями и проч.), является, по-видимому, более гибким и мобильным механизмом социальных преобразований. Однако успешность этого института прямо пропорциональна его адекватности реалиям (запросам, вкусам и предпочтениям индивидов, составляющих общество). Ведь для всякой системы, регулирующей общественные отношения, существует угроза «нормативной слепоты», когда обратной стороной ее автономии и внутренней устойчивости оказывается неспособность схватывать и своевременно отвечать на изменения в социальной среде.

И здесь на помощь праву приходит экономика. Ведь именно она, по мнению Калабреззи, является той наукой, которая агрегирует *реальные* интересы людей. «“О вкусах не спорят” – в экономике это едва ли не символ веры» [Калабреззи, 2016, с. 232]. Экономическая теория, осмысляющая эти самые вкусы, может, таким образом, помочь правовой системе учитывать их, дабы сила долженствования, выражаемого в норме, упрочивалась своей отнесенностью к *реалиям* общественных предпочтений.

Другой стороной подобной гибкости права оказывается возможность быстрого получения «обратной связи» от общества, реагирующего на различные (в том числе и экономические) институциональные преобразования. В качестве главного средства подобного реагирования Калабреззи выделяет судебные иски. Реальная практика судопроизводства является, по его мнению, своеобразным зеркалом, которое наиболее быстро и наглядно отображает реакцию общества на проведение тех или иных изменений. Юридическая практика ока-



зывается своего рода эмпирическим «фальсификатором» экономической теории, в которой последняя крайне нуждается. Калабреззи полагает, что во многом именно правовая практика позволила выявить такой экономический феномен, как «эффект безбилетника». Так, «право прекратить нарушение покоя, но только в том случае, если тот, кто им воспользуется, выплачивает компенсацию тому, кто нарушает покой, [...] почти никогда не встречается в апелляционных делах» [Калабреззи, 2016, с. 47]. Причина тому – отказ людей затевать судебные тяжбы с надеждой на то, что это сделают другие. Экономическая теория едва ли может с достоверностью просчитать, какие выгоды (и, соответственно, какие издержки этих выгод) являются более предпочтительными для людей в тех или иных конкретных ситуациях. Только статистика судопроизводства по подобным делам позволила выявить то, что не могло быть выявлено на уровне теории. Прогностический потенциал теоретического моделирования в социальных науках всякий раз предполагает большую или меньшую погрешность, возникающую из-за переменчивости настроений и предпочтений людей. В случае с «эффектом безбилетника» временные и материальные затраты на судебную тяжбу оказываются в ряде случаев более значимыми, чем полученная по решению суда компенсация ущерба, которая, скорее всего, покрыла бы издержки судопроизводства для истца. Именно подобный выбор едва ли мог быть просчитываемым в экономической теории заранее, поскольку явным образом противоречит логике *Homo economicus*, однако стремление неоинституциональной теории к самокоррекции может быть поддержано благодаря взаимодействию с правоповедением.

Одним из центральных понятий, демонстрирующих реальность этого взаимодействия, является понятие «мериторных благ» (*merit goods*). Специфика этой разновидности благ заключается в том, что их «оценивание само по себе вызывает уменьшение их полезности для значительной группы людей. Это своего рода «бесценное сокровище», по крайней мере, мы стремимся считать их подобным бесценным сокровищем, коммодификация которого *сама по себе* приводит к издержкам» [Калабреззи, 2016, с. 54]. Издержки же в данном случае являются моральными (ибо рыночное распределение подобных благ вызывало бы в нас «душевные страдания») [там же, с. 56]. Однако и альтернатива рынка – командное распределение – отнюдь не снижает эти издержки. Так, общество в целом не считает приемлемым подвергать «коммодификации» (оцениванию с точки зрения предполагаемых издержек) жизни мигрантов, терпящих кораблекрушение в проливе на пути в Европу. Точно так же граждане не хотели бы видеть в лице государства единственного арбитра, определяющего приоритеты в случаях ценностных коллизий (например, когда речь идет о рассекретивании военных документов, публикация которых может по-



влечет уголовную ответственность для бывших солдат, выполнявших неправосудные приказы вышестоящих командиров). Необходимость выбора между ценностями свободы слова и человеческими жизнями влечет колоссальные моральные издержки. «Командификация» (политическое регулирование) в данном случае угрожала бы потерей доверия между обществом и властью. Спасительным здесь оказывается, по мнению Калабреззи, институт деликтного права, регулирующий обязательства, возникающие в результате причинения вреда. Несмотря на то, что функционирование этого института является весьма дорогостоящим, его существование снижает то самое моральное напряжение, которое в некоторых случаях возникает из-за прямого рыночного или административного регулирования. Благодаря подобному аргументу Калабреззи стремится показать, что экономическое понятие «мериторного блага» позволяет обосновать существование конкретного правового института – деликтного права. Общество, как полагает американский правовед, соглашается нести затраты на работу этого дорогостоящего института ради возможности диффузного распределения ответственности (и, тем самым, совокупной минимизации моральных издержек) при необходимости разрешения ценностных конфликтов. Для американской правовой системы подобный пример является актуальным, поскольку сам принцип ее устройства предполагает существенную роль личного судейского усмотрения по делу. Недаром авторитетное направление в американской правовой мысли XX века – американский правовой реализм – видело прикладное значение правоведения в предсказывании судейских решений.

Однако нельзя ли расширить подобный аргумент, сказав, что нормативное вменение всякой правовой нормы благодаря тому, что оно отсылает к некоей высшей реальности закона/справедливости/универсальных ценностей, попутно снимает моральную ответственность с общества, принимающего, скажем, решение о смертной казни или пожизненном заключении преступника? Формальная нормативность правовой системы и без идеи «мериторного блага» работает по принципу апелляции к автономному (в неокантианском смысле) миру ценностей, которые опосредованно (превращаясь в конкретные правовые нормы и подвергаясь юридической интерпретации) регулируют социальные отношения. Также эти ценности являются и основой признания верховенства правовой системы, поскольку мы признаем право в качестве легитимного института принуждения во многом потому, что оно обеспечивает сохранность социального порядка, устроенного более или менее в соответствии с нашим представлением о должном. Общий принцип формальной справедливости, который воплощает собой этическое измерение права, обеспечивает, таким образом, минимизацию «моральных издержек» прямого регулирования, поскольку результат правоприменения в пределе своем обосновывается не личной волей



конкретных участников процесса, а интересами защиты и реализации общезначимых ценностей. А потому аргумент Калабреззи, на мой взгляд, не столько выявляет исключительную специфику деликтного права, сколько иллюстрирует функционирование общего принципа формально-нормативного регулирования на уровне конкретной отрасли права. Однако наряду с этим хотелось бы отметить, что рецепция понятия «мериторного блага» представляется продуктивной как для науки о праве, так и для философии права, поскольку оно позволяет фиксировать этические ценности и издержки их реализации, являющиеся объективно значимыми для конкретного общества. А значит, его использование может способствовать анализу классической проблемы, связанной с соотношением морали и права, не только в рамках философии, но и в более узких границах науки о праве.

В фокусе этой рецензии были методологические новшества, предложенные Гвидо Калабреззи в рамках направления «право и экономика». Однако хотелось бы отметить, что книга американского правоведа представляет интерес также с точки зрения разнообразия эмпирической фактуры, которой дополняются эпистемологические соображения. Данное преимущество книги позволяет сделать вывод, что «право и экономика» не является очередной теоретической программой, эффективность которой обосновывается лишь умозрительно. Эта программа представляет собой уже работающий методологический проект, имеющий прикладное значение для юристов и экономистов в США. Подобно обстоятельству позволяет надеяться, что знакомство с этой книгой в России будет способствовать становлению полноценного междисциплинарного анализа права.

Список литературы

Беккер, 2003 – *Беккер Г.* Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / Пер. с англ., сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшниковой, предисл. М.И. Левина. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 672 с.

Бентам, 2006 – *Бентам И.* Тактика законодательных собраний. Челябинск: Социум, 2006. 208 с.

Калабреззи, 2016 – *Калабреззи Г.* Будущее права и экономики. Очерки о реформе и размышления / Пер. с англ. И.В. Кушнаревой; под науч. ред. М.И. Одинцовой. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 304 с.

Leiter, 2014 – *Leiter B.* Naturalism in Legal Philosophy // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2014 Edition) / Ed. by E.N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/lawphil-naturalism/> (дата обращения: 12.10.2016).

Posner, 1981 – *Posner R.* The Economics of Justice. Cambridge, L.: Harvard University press, 1981. 415 p.



Posner, 1997 – *Posner R.* The Future of Law and Economics: Looking Forward // *The University of Chicago Law Review.* 1997. Vol. 64. No. 4. P. 1129–1165.

References

Becker G. *Chelovecheskoe povedenie: ekonomicheskii podkhod. Izbrannye trudy po ekonomicheskoi teorii* [Human behavior: economic approach]. Moscow: GU VShE. 2003. 672 pp. (In Russian)

Bentham J. *Taktika zakonodatel'nykh sobranii* [Theory of Legislation]. Chelyabinsk: Socium. 2006. 208 pp. (In Russian)

Calabresi G. *Budushchee prava i ekonomiki. Esse o reforme i razmyshleniya* [The Future of Law and Economics. Essays in Reform and Recollection]. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gaidara. 2016. 304 p. (In Russian)

Leiter B. “Naturalism in Legal Philosophy”, E.N.Zalta (ed.). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2014 Edition). [<https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/lawphil-naturalism>, accessed 12.10.2016].

Posner R. *The Economics of Justice*. Cambridge, L.: Harvard University press, 1981. 415 pp.

Posner R. “The Future of Law and Economics: Looking Forward”, in: *The University of Chicago Law Review*, 1997, vol. 64, no. 4, pp. 1129–1165.

Памятка для авторов

- Автор гарантирует, что текст, представленный для публикации в журнале, не был опубликован ранее или сдан в другое издание. При использовании материалов статьи в последующих публикациях ссылка на журнал «Эпистемология и философия науки» обязательна.
- Автор берет на себя ответственность за точность цитирования, правильность библиографических описаний, транскрибирование имен и фамилий.
- Рукописи принимаются исключительно в электронном виде в формате MS Word (шрифт – Times New Roman; размер – 12; междустрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,9; выравнивание – по левому краю; поля – 2,5 см) по адресу электронной почты журнала: journal@iph.ras.ru
- Объем статьи – от 0,75 до 1,3 а.л. (включая ссылки, примечания, список литературы, аннотацию). Объем рецензии – до 0,5 а.л. знаков (рецензия должна сопровождаться фотографией рецензируемого издания, двуязычной аннотацией и ключевыми словами)
- Примечания оформляются как постраничные сноски со сквозной нумерацией. Библиографические сведения, отсылающие к Списку литературы, даются в основном тексте и в примечаниях в квадратных скобках; например: [Сидоров, 1994, с. 25–26]. На все источники из цитируемой литературы должны быть ссылки в тексте статьи.
- Помимо основного текста статьи рукопись должна включать в себя следующие **сведения на английском и русском языке**:
 - 1) ФИО автора; ученую степень и ученое звание; место работы; полный адрес места работы (включая страну, индекс, город); адрес электронной почты автора;
 - 2) название статьи;
 - 3) аннотацию (1000–1500 знаков);
 - 4) ключевые слова (до 10 слов и словосочетаний);
 - 5) список литературы.
- Рукописи на русском языке должны содержать два варианта списка литературы:
 1. «**Список литературы**», выполненный в соответствии с требованиями ГОСТа. В начале списка в алфавитном порядке указываются источники на русском языке, затем – на иностранных языках.
 2. Список «**References**», составленный в соответствии с требованиями международных библиографических баз данных (Scopus и др.). Все библиографические ссылки на русскоязычные источники приводятся в латинском алфавите по следующей схеме:
 - автор (имена отечественных авторов – в транслитерации латиницей, имена зарубежных авторов – в оригинальном или англоязычном написании);
 - заглавие статьи (транслитерация);
 - [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках];

-
- название русскоязычного источника (транслитерация);
 - [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках];
 - выходные данные на английском языке (включая общее количество страниц в источнике или номера страниц, на которых размещен текст в: сборнике/журнале/монографии).
- Для транслитерации необходимо использовать сайт <http://translit.net/> (формат BGN)
 - Подробные рекомендации по оформлению текстов содержатся на странице журнала: http://iph.ras.ru/eps_contributors.htm
 - К рукописи также должна прилагаться фотография автора.
 - Рисунки и формулы должны быть продублированы в графическом режиме и записаны отдельным файлом. Тексты, содержащие специфические символы и неевропейские шрифты, должны быть продублированы в формате pdf.
 - Решение о публикации материала принимается в соответствии с решениями членов редколлегии, главного редактора и рецензентов в течение трех месяцев с момента поступления текста в редакцию.
 - Плата за публикацию материалов не взимается, гонорар авторам не выплачивается.
 - Адрес редакции: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, оф. 315. Тел.: +7 (495) 697-95-7; e-mail: journal@iph.ras.ru; сайт: <http://journal.iph.ras.ru>

Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки
2017. Том 51. Номер 1

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-57113 от 03 марта 2014 г.

Главный редактор *И.Т. Касавин*
Зам. главного редактора: *И.А. Герасимова, П.С. Куслий*
Ответственный секретарь: *Л.А. Тухватулина*

Художник *Ч.Р. Кантов*
Технический редактор *Ю.А. Аношина*
Корректор *А.А. Гусева*

Подписано в печать с оригинал-макета 31.01.17
Формат 60x100 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Times, Calibri
Усл. печ. л. 15,75. Уч.-изд. л. 15,84. Тираж 1 000 экз. Заказ 01

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН
Компьютерная верстка: *Ю.А. Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1

Информацию о журнале «Эпистемология и философия науки»
см. на сайте: <http://journal.iph.ras.ru>